Александр ШУЙСКИЙ • Нина ХЕЙМЕЦ • Лора БЕЛОИВАН
Мария СТАНКЕВИЧ • Марина ВОРОБЬЕВА
Илья ДАНИШЕВСКИЙ • Вера КУЗМИЦКАЯ

18+

Составитель:

МИКС ФРИК

АВИАМОДЕЛЬНЫЙ КРУЖОК ПРИ ШКОЛЕ №6

проект textus

Наталия РЕЦЦА • Юлия ТКАЧЕВА • Александра ЗВОЛИНСКАЯ
Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ • Константин НАУМОВ • Анна ЛИХТИКМАН
Екатерина ПЕРЧЕНКОВА • Ася ДАТНОВА • Сап СА ДЭ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Название этой книги придумал Константин Наумов и любезно разрешил использовать его для сборника рассказов разных авторов, возможность работать с которыми составитель считает одной из самых больших удач в своей жизни.

Что скрывается за этим названием? Торжество деперсонализации, все вот эти драгоценные пограничные состояния между памятью и забвением, осознанием и страхом, жизнью и смертью, неведомые территории, откуда мы, храбрые летчики, настоящие бойсы, иногда возвращаемся не просто живыми, а с добычей.

Наша добыча – вот она.

Книга публикуется в авторской редакции

- Авиамодельный кружок при школе № 6 (сборник)
  -
  - Наталия Рецца
  - Юлия Ткачева
  - Юлия Ткачева
  - Александра Зволинская
  - Татьяна Замировская
  - Татьяна Замировская
  - Константин Наумов
  - Анна Лихтикман
  - Екатерина Перченкова
  - Екатерина Перченкова
  - Ася Датнова
  - Александр Шуйский
  - Александр Шуйский
  - Александр Шуйский
  - Нина Хеймец
  - Нина Хеймец
  - Мария Станкевич
  - Мария Станкевич
  - Марина Воробьева
  - Лора Белоиван
  - Лора Белоиван
  - Илья Данишевский
  - Илья Данишевский
  - Вера Кузмицкая
  - Вера Кузмицкая
  - Сап Са Дэ

- Макс Фрай
- Макс Фрай
  - Kyrie
  - O Felix templum jubila
  - Beauté Parfaite
  - Ut Te Per Omnes Celitus
  - Gloria
  - Un fior gentil
  - Venetia, mundi splendor
  - Albane, Misse Celitus
  - O Rosa Bella
  - De toutes flours
  - O Padua, sidus praeclarum
  - Ligiadra Donna
  - Una Panthera
  - Doctorum Principem

Авиамодельный кружок при школе № 6 (сборник)
сост. Макс Фрай

© Макс Фрай, текст
© Марина Алеф, иллюстрация на обложку, форзацы, внутренние иллюстрации
© ООО «Издательство АСТ», 2016

Наталия Рецца
И они превращаются в звезды

Все – как предсказано.

Вот долина, вот снег. Вот вдалеке белое небо сходится с белой землей, а между ними вьюга. Вот битва. Вот я, в руке топор, в бороде ветер. Вот каркает ворон, размеренно, словно подсчитывает: пал еще один храбрый воин. И еще один, и еще. А вот копье в моем сердце. Старая Гунхильд говорила мне: ты не доживешь до рождения сына.

Держать, держать топор, не разжимать кулак. Старая Гунхильд говорила: последний зов горна услышат лишь те, кто умер с оружием в руках. Я не страшусь смерти. Я знаю, что достоин небесного чертога. Но что мне там делать, если там не будет Ингвильд. Ингвильд похожа на снег – мягкая и искристая и пахнет одновременно и жизнью, и смертью. А глаза – синие, каким бывает мир, когда небо, покинутое солнцем, еще не стемнело до черноты, но уже замерцало золотом звезд. Каркает ворон. Считает тех, с кем я выйду на самый последний бой этого мира, когда зазвучит горн. Я больше никогда ее не увижу. И никогда не увижу сына. Вьюга заметает свет. Белое небо над головой, белый снег под головой. Я храбро сражался. Рядом лежит тот, чье копье торчит из моей груди. Как я узнаю сына, когда он вырастет, и пойдет биться, и погибнет с топором в руке? Как я узнаю его в небесном дворце, если не видел его лица? Только боги знают все наперед. Боги, бессмертные и всемогущие. Вечные, и огромные, и непостижимые боги, наши отцы. Белые, как свет. Светлые, как снег. Снежные, как смерть. Каркает ворон. Глаза моего сына будут такими же, как у Ингвильд. Хотел бы я увидеть, как он растет. Хотел бы увидеть, как появятся первые морщины на лице Ингвильд. Как золото разбавится серебром, как серебро превратится в белый свет, белый снег. Руки немеют, но я не разожму кулак и не выпущу топор. Никогда. Никогда… Только белый свет, и снег, и ветер, и каркает ворон. Откуда здесь ворон, в этой чертовой рыжей пустоте? И ветра здесь нет. Это гудит в голове от усталости. И не ворон это каркает, а сдохший двигатель. Без толку, ясно уже – не заведется. И надеяться не на кого. Спохватятся завтра – утром мне надо выходить на связь для отчета, а я, получается, не выйду. Суточные объемы на шахте сами о себе не доложат. Прилетят парни с четвертой базы, поедут искать, найдут меня тут, окоченевшего внутри скафандра.

И поделом. Завьялова предупреждала: не отъезжай от базы дальше того расстояния, которое сможешь осилить пешком до заката. Скафандр не выдержит ночные минус сто двадцать по Цельсию, – сказала Завьялова. А закат уже близится. Небо, днем такое же рыжее, как земля под ногами, сейчас розовеет. Крыша

базы золотом бликует на горизонте. Красиво, хотя положение от этого еще более нелепое. Пройти пятилетнюю подготовку, поставить семью под угрозу развода, проторчать в корабле полгода, припереться за семьдесят миллионов километров – и замерзнуть посреди рыжей пустыни, сжимая в руке камень для Лехи. Дурак у тебя папка, Леха. И за это его взяли живым на небо, где он и отбросит свои космонавтские ботинки. Сколько я уже иду – два часа? Три? Сумерки здесь длиннее, чем дома, но я все равно не успею. Небо совсем потускнело, и через повисшую в атмосфере пыль уже просвечивает чернота. Не успею. Ведь мог же взять любой осколок, сколько их вокруг базы валяется. Пятилетнему пацану обломок кирпича можно было бы подсунуть – главное, что папка космонавт подарил, кто там проверять будет. Лиля так и скажет – довыпендривался. Так ведь знала, за кого вышла. Другие мужья сидят сейчас в своих конторах, перекладывают бумажки, галстуками пот трудовой утирают, а я тут, в неуклюжем скафандре, на рыжей планете, с камнем в руке бреду к базе. Права будет Лиля: довыпендривался. Прямо вижу ее сердитое лицо. Ее и разозлит-то не то, что я окочурюсь, а то, каким образом. Поперся к старому карьеру, где была снята самая первая – историческая – фотография местного ландшафта. Зачем поперся? А чтобы можно было потом ткнуть пальцем в ту фотографию: вот, вот этот камень, видишь? И достать жестом фокусника из кармана. А Завьялова говорила: там вышка давно не обслуживается и связь не берет. И двигатель сдох. Космос – папаня, а хаос, значит, дедушка, и чувство юмора у него не фонтан. Не успею, сына, извини. Небо уже почернело, и замаячили над головой звезды. Красиво, черт бы их побрал. Не увидимся, получается, никогда. Надеюсь, поисковые догадаются камень этот чертов забрать отсюда вместе со мной, главное сейчас – держать его, не выронить, не разжимать кулак. Гудит в голове. Семьдесят миллионов километров, мать их за ногу. Кажется, до базы рукой подать, вон же она. Даже в тяжеленном скафандре успел бы, хватило бы пары часов, если бы не зашло солнце. Недостающие два часа перерастут в вечность, за которой все так гоняются. А утро, когда можно было бы включить передатчик и услышать голос сына, превратится в никогда. Никогда. Но это все мелочи, главное теперь – не разжимать кулак. Гудит в голове, и каркает ворон. Вон он, на дереве, за окном. Не дает мне уснуть. Обычно я на него сержусь, потому что если сразу не уснуть, кажется, что сон-час не закончится никогда. А сегодня, когда мы улеглись, я увидела на одеяле жука. И спрятала его в кулак. Если засну, то жук уползет, а мне надо его показать Борьке. Делать нечего – надо лежать, и молчать, и рассматривать

рисунок, который нарисован трещинками на потолке. И гудит не в голове – это лампы. Дома лампы никогда так противно не гудят, а здесь всегда. Только обычно их не слышно. А в сон-час слышно.

В сон-час вообще все другое. Обычно тут у нас шумно и все разноцветное. А в сон-час все становится тихим и белым. Кровати белые, подушки белые, одеяла белые, а все остальное, хоть и не белое, будто белеет. И стены и пол. И потолок становится еще белее обычного. Борька говорит: в одном часе примерно сто минут, а мне иногда кажется, что не сто, а гораздо больше. Каждый раз, когда не сплю на сон-часе, кажется, что это не кончится никогда-никогда: кровати, потолок, и ворон за окном. А потом Елена Васильевна всех будит, и время снова идет, как обычно. Просто сегодня мне нельзя засыпать. У меня в кулаке жук, и мне надо показать его Борьке. Елена Васильевна сказала: нельзя вставать во время сон-часа, а кто встанет, того она в угол поставит. А если она меня в угол поставит, то и жука может забрать. Если бы можно было встать, я бы положила жука в пенал с карандашами. Но вставать нельзя, и засыпать тоже, потому что Борька любит книжки про солдат, которые раньше жили на Севере, а у жука на голове рога, как у такого солдата. У Борьки книжки с картинками, там эти солдаты нарисованы. Борьке понравится жук. А когда сон-час, и не спишь, и гудят лампы, время тянется медленно. Хорошо, что каркает ворон: не дает уснуть. Борька говорит, что ворон – волшебный, это тоже в книжках написано. Может, и волшебный. Большим виднее. Борька уже большой, он в этом году пойдет в школу. Это еще нескоро. До осени так далеко, что я почти не могу вспомнить, как она выглядит. Борька почти такой же большой, как мама, а мама очень большая. Мама часто говорит, что время летит очень быстро. Думаю, это потому, что большие знают так много. Мама знает все – как печь пирожки с брусникой, и какая будет погода завтра, и куда мы поедем через неделю. Интересно, как время летит для жука, которого я держу в кулаке? Мама придет, когда стемнеет, и заберет нас – меня отсюда, а Борьку из старшей группы. Главное, чтобы жук не уполз. Из пенала не уползет, а из кулака может, если я усну. Поэтому я лежу, и слушаю, как гудят лампы, и смотрю на трещинки на потолке, и чувствую, как жук в моем кулаке шевелит лапками, и хочу, чтобы окна поскорее стали синими, а у уличных фонарей, если прищуриться, отрастают лучи, и они превращаются в звезды.

Юлия Ткачева
Ворон

Я помню, с чего все началось. В тот день белая колесница, что зимней порой в самые страшные бури проносилась сквозь наш

лес в снежном вихре, впервые несла на себе двоих. Те из лесных жителей, что были смелее и любопытнее прочих, выбрались тогда своих из нор и гнезд, чтобы лучше разглядеть небывалое. Рядом с женщиной, правившей колесницей, сидело человеческое дитя. Ребенок заворожено глядел в глаза своей спутнице, а она ласково улыбалась ему в ответ. Светлые волосы мальчишки были ничем не покрыты, снег лежал на плечах, ресницы опушил иней – но его это как будто ничуть не волновало.

Много времени спустя, когда стихла метель и улеглась снежная пыль, мы собрались, чтобы обсудить увиденное.

Я сказал:

– Ничего хорошего из этого не выйдет. Для чего бы ей ни понадобился этот ребенок, уверен, он понадобился для злых дел.

– Все бы тебе каркать, – возразила мне белка, – может быть, она пощадила и взяла с собой этого мальчика потому, что у нее в сердце впервые шевельнулась любовь. Ты видел ее улыбку? Так улыбается мать над колыбелью.

Остальные загалдели, соглашаясь с белкой, – заяц, и олень, и синицы. Я решил было, что никто не разделит моих страхов, но тут заговорил лис:

– В сердце хозяйки льдов нет места для любви, – сказал он, и, услышав его голос, все остальные замолчали. – Я не уверен даже, что у нее вообще есть сердце. Мне кажется, ворон прав: надо ждать беды.

Желающих оспорить слова лиса не нашлось, но я видел, что многие не убеждены, просто не осмеливаются возразить.

Шли недели. Вопреки нашим страхам, день за днем не происходило ничего плохого. Напротив, холода пошли на убыль. Мы ждали суровых январских морозов – здесь, на самой границе ледяных пустошей, где даже летом лежал и не таял снег, в глухие зимние месяцы неизменно царствовала страшная стужа, заставлявшая все живое забиться поглубже в укрытие, оцепенело съежиться в комок и прижаться к себе подобным, бережно сохраняя остатки тепла до лучших времен.

Но в тот год мороз внезапно отступил. Стояли ясные, теплые дни. Словно в преддверии весны, в ветвях перекликались птицы, а по лесным полянам скакали разыгравшиеся зайцы. И ни разу с того самого дня, как мы видели ребенка, белая колесница не показывалась вблизи нашего леса.

– Ничего удивительного, – сказал мне лис. – Королева, должно быть, забавляется со своей новой игрушкой, позабыв на время о старых.

Белки, синицы и другие все громче уверяли друг друга в

наступающих переменах к лучшему, твердя наперебой, что, по всему видать, настоящее живое дитя смягчило холодный нрав своей приемной матери.

Я слушал их болтовню, и мало-помалу собственные мрачные предчувствия начали казаться мне беспричинными. При ярком свете солнца, глядя, как тает снег на сосновых ветках, так легко было поверить в добрые вести!

Северная сторона леса, вплотную примыкавшая к бескрайним заснеженным равнинам, была мало пригодна для жизни. Землю здесь вымораживало ледяное дыхание пустошей, ветра дули сильнее и чаще, а бури нередко ломали деревья в яростных попытках сдвинуть границу между живыми и мертвыми землями дальше к югу. Сами деревья тут вырастали ниже, чем в других местах, кривыми, с узловатыми сучьями.

Один из таких сучьев я облюбовал для себя, чтобы сидеть на нем в погожие дни – а сейчас дни были сплошь погожими. Щурясь от солнца, я вглядывался в раскинувшиеся передо мной просторы, сияющие белизной. Где-то там, среди сугробов и торосов, стоял дворец хозяйки льдов. Сам я никогда его не видел: жители леса не заходили и не залетали на пустоши дальше, чем на несколько прыжков или взмахов крыльями.

Так было раньше, но не теперь. Я заметил несколько цепочек следов, уводивших из леса на открытое место. Заячьи, волчьи, оленьи. Я пожалел, что рядом со мной нет лиса. Он выругал бы глупое зверье – и, пожалуй, отговорил бы меня от той глупости, что собирался совершить я сам.

Я расправил крылья, готовый сняться с ветки, чтобы лететь в сторону пустошей, но остановился, увидев на горизонте движущуюся фигуру. Кто-то шел к лесу: может быть, один из тех зверей, чьи следы я видел, возвращался назад? Но через мгновение я разглядел человеческую фигуру, а еще миг спустя увидел его целиком.

Он приближался слишком быстро. Не знаю, как такое могло быть. Он шел пешком, размеренно поднимая и опуская ноги, и все же с каждым шагом оказывался намного ближе, словно мчался гигантскими прыжками. С каждым шагом я мог видеть его все отчетливее и ощутил, как меня охватывает ужас.

Он стал выше ростом и выглядел старше, чем мне помнилось, словно за неполные два месяца для него прошло несколько лет. Его кожа была мертвенно-бледной, цвета лежалого февральского снега. Волосы издалека показались мне белокурыми, но потом я увидел, что они совершенно седые. Описывать его глаза я не возьмусь, знаю только, что подумал тогда: это последнее, что я

вижу в своей жизни.

Он остановился у кромки леса. Дерево, на котором я сидел, прижавшись к стволу, ни жив ни мертв от страха, стояло первым в ряду других деревьев, и вышло так, что существо, еще недавно бывшее человеческим ребенком, оказалось стоящим едва ли не прямо подо мной. Оттого ли, что он не подумал взглянуть вверх, оттого ли, что ствол был узловатым и бугристым, почерневшим и полумертвым от выпавших на его век морозов и бурь – только он меня не заметил. Это спасло мне жизнь.

Наклонившись, он взял в ладонь немного снега из-под ног, сжал и снова разжал пальцы – я видел каждое его движение – и швырнул в сторону леса получившийся снежок. Только вместе снежка из его руки вылетело облако ледяной пыли, в следующую секунду ставшее вихрем, ставшее ураганом. И этот ураган обрушился на лес.

Я видел, как валятся вырванные с корнем сосны и ели, как мгновенно чернеет и осыпается от холода хвоя. Видел оленя, что пытался бежать, но вихрь настиг его в прыжке, и мертвое, окоченевшее тело упало на землю. Я видел, как место, бывшее моим домом, превращается в ничто, в обледенелое кладбище, а на лице того, кто это сделал, не отражалось ни сожаления, ни радости, одна лишь холодная безмятежность.

Когда все закончилось, от нашего леса осталось стоять одно-единственное дерево – то, на котором я прятался. Тогда со стороны пустошей приблизилась белая колесница, в которой сидела хозяйка льдов.

– Отличная работа, Кай – сказала она. Голос у нее был нежный, словно перезвон ледяных колокольчиков.

Тот, кого она назвала Каем, подошел и стал перед ней на колени, а королева погладила его по голове, как человек потрепал бы за уши послушного пса. На лице у него расцвела улыбка, сделав его до ужаса похожим на того мальчика, каким он был, когда еще был человеком.

– Я счастлив служить тебе, – ответил Кай.

– О, ты еще послужишь мне, – произнесла королева ласково. – В этом мире еще так много лесов, полей и людских городов.

Она указала на одиноко стоящее дерево:

– Закончи с ним.

Кай небрежно хлопнул ладонью по стволу сосны, ее кора треснула, встопорщилась ледяными иглами, и дерево со скрежетом завалилось на бок.

К тому времени, как я смог выпутаться из наполовину обломанных сучьев и выползти из-под упавшего ствола, ни

колесницы, ни королевы и ее слуги уже не было. Я долго кружил над тем, что осталось от моего леса, но не нашел никого живого, ничего, кроме окоченевших тел.

…Тогда я полетел на юг. Я летел много дней, останавливаясь лишь для еды и короткого отдыха. Меня гнал страх. Я желал оказаться как можно дальше от ледяных пустошей и их королевы. Но я все думал о ее словах – так много лесов, так много городов – и в конце концов понял, что если только хозяйку льдов не остановить, то нигде в целом мире не будет достаточно далеко, чтобы скрыться от нее. Потому что рано или поздно там появится седоволосый мальчик с ледяными глазами, расчищающий путь для ее белой колесницы.

Конечно, я много раз рассказывал свою историю. Поначалу я рассказывал ее каждому встречному зверю и птице. Но мне мало кто верил. Наверное, если бы мне самому рассказал подобное какой-то бродяга, я сам не поверил бы ему. Один раз я прибился к стае кочующих грачей и галок и больше недели летел с ними. К тому времени я забрался так далеко к югу, что мои рассказы о хозяйке льдов слушали, как страшную сказку. Я искал одно место, о котором мало кто знал, и которое я сам до недавних пор считал выдумкой. Беседуя с перелетными гусями, сороками и бродячими котами, я понемногу продвигался в нужном направлении, по крупицам собирая сведения. И в конце концов я нашел то, что искал.

Она жила в доме, окруженном цветущим садом. Мои поиски завершились к середине марта, и в других местах деревья едва зазеленели, но только не здесь: здесь падали лепестки с вишен, гудели пчелы над яблонями, а траву под деревьями усыпали фиалки, гиацинты и лилии. Из дверей дома с высокими цветными витражами, переливавшимися радугой в солнечном свете, мне навстречу вышла женщина, и я, как умел, поклонился ей. Сначала мне показалось, что она очень стара и идет, тяжело опираясь на клюку, но потом я увидел перед собой статную красавицу средних лет с посохом в руках, в следующий миг передо мной была молодая девушка, а затем – снова старуха. Приблизившись, она заговорила со мной:

– Кто ты и как попал сюда?

Я рассказал ей все.

– Хочешь ли ты помочь мне, маленький ворон? – спросила повелительница лета, выслушав мои слова. – Не желаешь ли ты отплатить моей сестре за то, что по ее повелению сделали с твоим лесом?

Я вспомнил, как падали снежные хлопья на рыжую шкуру

лиса, лежавшего мертвым у своей норы, и ответил:

– Да.

Она объяснила мне, что я должен делать и, скрывшись ненадолго в доме, вынесла оттуда и поставила передо мной башмачки ярко-красного цвета. Схватив их покрепче, я полетел прочь из сада.

Сначала я боялся выронить башмачки, но они показались мне легче перышка, и я безо всякого труда нес их, заботясь только о том, чтобы не забыться и случайно не разжать когтей. Я летел над полями и селами, над дорогами и разглядывал людей, попадавшихся мне на пути.

Покружив, присматриваясь, над прачкой, стиравшей белье в реке, я полетел дальше: она была взрослее, чем велела мне королева. По дороге шла девочка подходящего возраста – но ее вела за руку мать. Наконец, на городской окраине я отыскал то, что мне было нужно. На крыше высокого дома, как раз над водосточным желобом, сидела, болтая босыми ногами, девчонка. Она была бедно одета, но чисто умыта, с милым личиком и светлыми волосами. Я опустился на крышу рядом с ней и глянул искоса.

– Ну, надо же! – сказала девчонка со смехом, вовсе не испугавшись. – Эй, ворона, признавайся: у кого ты стащила туфли?

Она протянула ко мне руку, но я отскочил в сторону, бросив башмачки. Девочка подняла их и в удивлении приоткрыла рот, разглядывая. Ярко-алые башмачки, казалось, светились в ее руках. Чуть поколебавшись, она попробовала их примерить, и, конечно же, башмачки пришлись как раз впору.

Сидя поодаль, я смотрел, как меняется ее лицо: из радостного оно сделалось задумчивым, потом беспокойным, словно девочка старалась припомнить что-то забытое. Потом она встала и нырнула в дом через чердачное окно.

Я ждал. Тени сдвинулись едва ли на длину моего крыла, когда девочка, обутая в новые башмаки, вышла из дома и двинулась по улице – так, словно точно знала, куда и зачем идет. Я двигался следом, перепархивая с крыши на крышу, с дерева на дерево, наблюдая за ней. Мы миновали город, свернули с дороги. Наш путь пересекал глубокий весенний ручей, но девочка в красных башмачках, ни секунды не колеблясь, перешла его вброд.

Когда она занесла ногу, чтобы войти в калитку в ограде, за которой цвел сад, башмаки сами собой свалились с ее ног и исчезли. Девочка остановилась в нерешительности, завертела

головой, оглядываясь, но к ней уже спешила молодая женщина в цветочном венке, меняясь на ходу, превращаясь в старушку в шляпе, расписанной цветами.

– Как тебя зовут, дитя? – спросила она нежно.

Услышав ее голос, девочка улыбнулась, сразу успокоившись, и ответила:

– Герда.

…Много дней я летел, куда глаза глядят. Точнее, мне казалось, что я лечу, куда глаза глядят, но когда дубы, клены и каштаны почти совсем исчезли, уступив место березам и соснам, я понял, что все это время стремился назад, на север. Тогда я остановился, поселившись в первом попавшемся лесу: по большому счету, мне было все равно, где жить. Я никому не рассказывал, что встречался с королевой лета, и что для нее сделал. Меня мучила совесть.

– Моя сестра, – сказала она, – нашла способ нарушить древний договор, согласно которому каждая из нас не может посягать на владения другой. Она создала того, кто способен сражаться за нее. Есть лишь один способ остановить ее: сделать то же самое.

– Что ты сделаешь с ней? – спросил я, глядя на девочку, крепко спавшую на постели из цветов.

– О, не волнуйся, маленький ворон, – ответила королева лета. – С ней все будет в порядке.

Она погладила девочку по голове, и там, где ее рука коснулась волос, их цвет изменился, став из белокурого золотым.

– Она заставит снег растаять? Растопит льды, будет взглядом зажигать пламя?

Я представил себе битву между теплом и холодом и разрушения, которые неизбежно вызовет такая битва.

– Лети, маленький ворон, – рассмеявшись, ответила королева. – И, прошу тебя, сохрани нашу встречу в тайне.

Даже если бы она не попросила меня, я так и поступил бы. Ночь за ночью мне снилось одно и то же: как девочка, сидящая на крыше у чердачного окна, протягивает руку за красными башмачками. Кто были ее родители? Велико ли сейчас их горе? Должен ли я был отказаться от поручения королевы?

…Я не искал встреч с сородичами и старался держаться подальше от стай других воронов, ворон и грачей. В середине лета я обратил внимание на одинокую серую ворону, которая вела себя так же, как и я, из-за чего мы с ней то и дело сталкивались клюв к клюву в самых глухих уголках леса. Как-то я из вежливости заговорил с ней.

Ее звали Клара – имя, данное людьми, потому что она

родилась и выросла в неволе. В лесу ей, бывшей ручной вороне, приходилось нелегко. Клара была чем-то похожа на меня: потерянная, не желающая говорить о прошлом. Она почти не умела охотиться, плохо разбиралась в ягодах и выбрала себе неподходящее место для ночевки. Кто-то должен был о ней позаботиться.

Листья с деревьев осыпались, пришли затяжные осенние дожди, а потом и снег. Мы с Кларой сидели бок о бок, склевывая с куста ягоды терновника, переговариваясь друг с другом о том, что не так уж плохо живется здесь, в этом лесу. Я сказал, что по весне я выстрою хорошее, крепкое гнездо для будущего выводка воронят, подумав при этом: если только мы все переживем грядущую зиму.

– Смотри, – сказала Клара, – как странно. Та девушка, что приближается к нам по дороге, совсем босая, в такой-то холод!

Клянусь, я понял, кто это, еще до того, как обернулся.

Герда тоже казалась старше, чем была в тот день, когда я увел ее из дома. Но я едва заметил это, все мои мысли мгновенно смыло потоком радости, охватившей меня от того, что я находился с ней рядом. Была ли она красива? Я не смог бы ответить на этот вопрос. Я только знал, совершенно твердо знал, что эта девушка прекраснее и лучше всех на свете, и чего бы она ни хотела, я должен сделать все, чтобы помочь ей.

Конечно же, она будет рада нашей помощи, она ищет любимого брата по имени Кай, которого потеряла; не видали ли мы его?

– Брата? – каркнул я. Изумление пробилось даже сквозь затуманенный счастьем от близости Герды разум.

Да, названого брата, которого она знает с детства и любит всем сердцем, так мы не знаем, где он может быть сейчас?

Я открыл было клюв, чтобы объяснить ей, как сильно она ошибается, что она даже ни разу не видела того, кого называет братом, но улыбка королевы лета встала перед моими глазами, и горло помимо воли сдавил спазм.

– Кажется, я видел его, – смог выдавить я, прокашлявшись. – Его унесла Снежная королева, слышала ли ты о ней?

Выслушав мой рассказ, Герда поблагодарила нас за помощь – я почувствовал себя на седьмом небе от счастья – и сказала:

– Но это так далеко… как я дойду туда пешком, босая?

Все мы посмотрели на ее ноги. Пока мы разговаривали, на том месте, где стояла Герда, пробилась свежая трава. Никто из нас не нашел в этом ничего странного.

Клара вызвалась проводить ее в город, чтобы она нашла там обувь и повозку с лошадьми. Я остался в лесу – мне не хотелось

расставаться с Гердой, но она велела мне так сделать, сказав, что и одной вороны-проводницы более чем достаточно.

Пока я ждал их, ко мне постепенно возвращалась способность думать – если только можно назвать раздумьями сумбур, царивший в моей голове. Если бы не Клара, я бы немедленно улетел, куда глаза глядят. Мне не хотелось вновь испытать то, что я чувствовал рядом с Гердой. Но я не мог оставить ручную ворону одну.

Клара вернулась поздно вечером. Она вся была в слезах: Герда не взяла ее с собой. Девушка уехала из города в золотой карете, запряженной четверкой лошадей. Весь город наперебой старался угодить ей.

– В золотой карете? – переспросил я, не веря своим ушам.

– Да, – ответила Клара, – ее владелец с радостью подарил карету этой милой девочке!

В этом я как раз не сомневался.

– Слишком уж роскошно для здешних мест – проговорил я.

Это было ошибкой. Клара рассталась с Гердой совсем недавно.

– Мы должны лететь за ней, – сказала она. – Как мы не подумали, что подвергаем ее опасности! Я не прощу себе, если что-то случится!

Я пытался отговорить ее, но бесполезно. В конце концов Клара просто взлетела и направилась на север, не слушая моих уговоров.

Мы нашли убитого кучера и слуг. Могли ли они бежать? Вряд ли тем, кто ограбил карету, нужна была их смерть, они напали только из-за золота. Но слуги защищали не золото, они защищали Герду, сидевшую в карете, и ради нее были готовы сражаться до последнего.

Мы видели разбойничий лагерь, по которому бродили, пряча друг от друга глаза, плохо одетые, обросшие бородами люди с печальными, растерянными лицами. Совсем молодая девушка – судя по одежде и оружию, их предводительница – рыдая, билась головой о землю, твердя: я не хотела, я не виновата, пожалуйста! Один из разбойников раскачивался в петле на суку.

Выяснять, что здесь произошло, мы не стали. Дикие голуби рассказали нам, что золотоволосая девушка уехала на север верхом на олене, жившем у разбойников, хотя, насколько поняли голуби, ей предлагали взять и лошадей, и карету. Мы полетели следом.

Если сначала я всего лишь следовал за Кларой, ожидая, пока к ней вернется здравость рассудка, чтобы уговорить ее вернуться

назад, то теперь я чувствовал, что должен увидеть, чем все кончится.

Через несколько дней полета перед нами открылись ледяные пустоши.

Мы нашли оленя, замерзшего до полусмерти, с ввалившимися боками, лежащим под небом, пылающим северным сиянием.

– Когда ты ел в последний раз? – спросила Клара.

– Мы мчались без отдыха, – ответил олень. Слова давались ему с трудом. – Она торопилась.

Я взял с Клары слово оставаться снаружи ледяных чертогов, пока я не вернусь. Наверное, мне и самому не стоило бы соваться внутрь, я бы так и сделал, если бы мог.

Там было холодно и совсем тихо, я не слышал ничего, кроме шороха собственных крыльев. Я летел через бесконечный лабиринт ледяных покоев, безошибочно находя дорогу по чуть протаявшим на полу следам босых ног – должно быть, где-то по дороге Герда снова потеряла дареную обувь.

Они стояли друг перед другом, Кай и Герда, зима и лето, в огромном зале, пол которого был похож на замерзшее озеро. Кай еще меньше походил на человека, чем в нашу прошлую встречу. Его кожу покрывали морозные узоры. Я усомнился, способна ли сила Герды вообще подействовать на это существо.

– Я нашла тебя, – проговорила Герда.

Услышав ее голос, я почувствовал, что любовь к ней охватила все мое существо: как я мог осуждать ее? Как мог бояться? Почему стыдился, вспоминая о том, что помог сделать ее тем, кем она стала?

Герда протянула руку, чтобы дотронуться до Кая. Тот попытался оттолкнуть ее – оттолкнуть! Ее! И я, выпустив когти, упал на него сверху, чтобы не дать ему этого сделать.

Я даже не коснулся его. Кай повел рукой, и меня отшвырнуло в сторону, я упал на груду ледяных осколков, до самого сердца охваченный холодом, не в силах шевельнуть ни лапой, ни крылом.

Рука Герды легла на его плечо, и Кай вскрикнул: от боли? От удивления? Я погрузился в темноту.

Очнулся я от того, что меня тормошила Клара. Полярное сияние освещало пустой зал, только лед в центре озера пошел трещинами, словно туда с размаху упало что-то тяжелое. Я попробовал шевельнуться, но не смог. Не чувствовал тела. Не мог понять даже, дышу я или нет.

– Они ушли, – сказала Клара, плача.

– Вдвоем? – выговорил я.

– Ну конечно. Держась за руки.

– Как он выглядел?

– А как он должен был выглядеть? – ответила мне Клара. – Как обыкновенный мальчик. Он целовал ее и спрашивал, почему она не шла так долго, ведь он так по ней скучал.

Значит, она смогла. Она снова сделала его человеком. Вылечила его. Интересно, смогла бы она вылечить и меня? Наверное, смогла бы – просто забыла обо мне в суматохе.

Мне стало еще холоднее, и свет полярного сияния потускнел. Я понял, что умираю.

– Клара, – позвал я.

– Сейчас, – ответила она.

Клювом и лапами она быстро перебирала те ледяные осколки, что я раскидал.

– Он сказал, если сложить из них слово «вечность», то исполнится любое твое желание, – проговорила она торопливо. – Подожди, я сейчас. Я попробую.

И я ждал, слушая тонкое позвякивание льдинок, пока холод и темнота не поглотили меня целиком.

Юлия Ткачева
Диспетчер

– Что ж вы так убиваетесь, перестаньте, прошу вас. Конечно, разберемся. Именно для этого я тут и сижу. Вы откуда звоните? Только не плачьте опять, я уже понял, что вы не знаете, просто расскажите, что видите. Да, прямо сейчас, перед собой. Лестница, замечательно. Синие и оранжевые ступени вперемешку? Отлично, вот по ней и спускайтесь. Главное, наступайте только на оранжевые, через синие придется перепрыгивать. Справитесь? Вот и хорошо. После того, как спуститесь, третий поворот направо, потом второй налево, белая дверь. Запомнили? Звоните, если что.

– Слушаю вас. Конечно, помогу. Для того я тут и сижу. Нет, приехать не получится, к сожалению. Придется вам самому. Нет, телефон исправен, просто он принимает только меня, никуда больше вы дозвониться не сможете. Так уж получилось. Говорите, где вы, попробую подсказать, куда вам дальше. Ага, понятно. Идите по мосту, не бойтесь. Нет, не тронут. Они там просто так сидят. Ну и пусть смотрят, не обращайте внимания, просто ступайте мимо. Если что, звоните. Я на связи.

– …Да, я понимаю. Нет, это нормально. Ну, то есть как нормально? Оно так всегда. Пусть поют. Не слушайте. Или слушайте, если хотите, они красиво поют, многим нравится. Вы, главное, просто идите по тропинке, никуда не сворачивая. Все будет в порядке. Что значит, откуда я знаю? Работа у меня такая. А вы поверьте. Нет, не заблудитесь. А если заблудитесь, просто позвоните еще раз.

– Нет, к воде спускаться не надо. Сейчас налево. Я понимаю, что темно, и дождь идет, но придется потерпеть. Совсем немного он скоро закончится. Да, я обещаю. Нет, просто стоять под деревом как раз не поможет. Придется идти. Ну да, в темноте, что поделать. Считайте повороты: от того места, где вы сейчас стоите, пропустите пять налево, а шестой как раз будет ваш. Да, уверен. Вот, я читаю в путеводителе, тут так и написано: шестой поворот налево. Ну, как откуда взялся? Оттуда и взялся: звонят, рассказывают. Если слышим что-то новое, записываем. Вот если вы, например, свернете не туда и забредете куда-нибудь, позвоните, я послушаю, все запишу и добавлю в путеводитель. Но вы лучше не сворачивайте – так, на всякий случай. Шестой поворот налево, помните?

– Да, все правильно, там и должно быть болото. А вам туда и не надо: по краю должна идти тропинка. Ну, вот, я же говорил. Сейчас должен быть проем между двумя деревьями – видите? Луна? Это здорово, что луна, это вам повезло. Все будет хорошо, вы уже почти пришли. Честное слово.

– Да забудьте уже про свою машину. Все равно разбилась, так какая теперь разница? Не кричите, пожалуйста. Вам сейчас под арку, и по ступенькам, наверх – машина все равно под арку не прошла бы, ведь правда?

– …Мам, привет. Ну, прости, закрутился, ни минуты свободной нет, телефон разрывается. Ну, что я сделаю, работа такая. Да не волнуйся ты. Ничего не случилось, правда. Нормально я себя чувствую. Нет, я не устал, что ты. Это же просто телефонные разговоры. Мам, ну врач же тебе все объяснил. Еще месяцев шесть как минимум. Ничего страшного. Приезжай в воскресенье, конечно. Я выходной возьму.

– Алло, это ты? Привет. Подменишь меня в воскресенье? Да все нормально, родители в гости приедут. Сам-то как?

…Да ты что? Уже? И смену тебе подобрали? И как он? Ах, она! Ну, конечно, жалуется. Ты тоже, помню, поначалу жаловался. Научится, само собой. И путеводитель выучит. Уже учит? Это хорошо, значит, наш человек. Подружимся.

И сколько она планирует у нас проработать? Ого, год – это же целая вечность, по нашим-то меркам. Это что у нее за диагноз такой?

…Слушай, мне звонят по первой линии. Сам понимаешь. На тот случай, если больше не успеем поговорить – удачи. Если что, ты набери меня по пути. Ну, конечно, просто поболтать напоследок, зачем же еще. Дорогу-то ты и сам наизусть знаешь, не хуже меня. Через синие ступеньки перепрыгивать, по мосту идти, не обращая внимания на тех, которые там сидят. Ну и все такое прочее. Давай. Удачи…

– Алло, диспетчер у телефона. Вы, главное, не волнуйтесь. Сейчас все выясним. Я здесь именно для этого.

Александра Зволинская
Расскажу все как было

Дашка заходит в подъезд, громко стуча каблуками тяжелых ботинок.

Заглушить. «Чем громче, тем лучше». Очень простая истина.

Зашуметь лифтом, прошивая гулкое нутро дома длинной тонкой иглой. Выйти на лестничную площадку, встать под знакомой дверью. Не позвонить.

Вдохнуть. Выдохнуть. Мысленно снять защиту, пропустив того, кто давно терпеливо ждет.

Нажать на кнопку звонка. Услышать с той стороны топот и голоса, звонкий детский и тихий взрослый. Улыбнуться, перестав быть только собой. Обещать себе вернуться, если получится.

Если опять удастся.

* * *

– Даша пришла! – вопит белобрысая Катька. Ей только-только исполнилось три с половиной, она носит тонкие кривые косички и ужасно не любит кашу. Нормальный ребенок, в меру неуправляемый, в меру капризный, по нынешним временам почти что подарок. В детском саду от нее, конечно же, воют, и еще совсем недавно Линка с Витей со злорадным удовольствием зубоскалили на тему будущей Катькиной «популярности» в школе, если все это богатство к тому моменту не израстется.

Теперь Линка все больше молчит.

– Привет, – вымучивает улыбку, кивает на тапочки, исчезает в кухне. Дверь Дашка привычным движением запирает сама, дежурные два поворота маленькой круглой ручки.

Окинуть взглядом комнату, отобрать у Катьки пульт от телевизора, выключить. Прийти на кухню, обнять Линку, потрепать по волосам, дотянуться щелкнуть кнопкой на чайнике. У Линки очень тонкие волосы, от них приятно пахнет каким-то бальзамом, и от макушки то ли нимб, то ли почти заметное глазу тугое тепло, какое бывает у детей и у женщин, слишком похожих на сны.

Очень странно всегда таких обнимать: есть она, нет ее, поди разбери.

– Как вы тут?

Линка вздыхает. Катькина восторженная мордашка сияет в дверном проеме, явно намекая, что любые гости в этом доме, безусловно, приходят к ней. Как Линка это смогла, Дашка предпочитает не думать, но мелкая безмятежна, как летний сон.

Дашка проводит пальцами по Линкиному плечу и идет в комнату. Внутри поднимается что-то теплое, шелестит уставшими крыльями, гнездится у сердца и замирает, нежно глядя на единственную не убранную с глаз фотографию – Витя и Линка.

Красивые, счастливые, только что поженились. Катька нетерпеливо дергает за рукав, ей очень срочно нужно «кое-что тебе показать». О том, кто именно сейчас ей ответит, лучше пока не думать.

* * *

– Ну а что ты хотела? В целом совершенно ничего удивительного.

Вера всегда курит так, чтобы не дымить на подругу, а наблюдающая за ней Дашка постепенно приходит в себя.

– Я ничего не хотела, просто слегка боюсь.

– Я знаю.

Дашкиной задачей всегда была Линка. Задачей, родной душой, подругой со времен таких незапамятных, что лучше даже не вспоминать. Позже – очень красивой женщиной, с головой ушедшей в семью, как это часто бывает с нежными и ранимыми. Дашка тогда философски пожала плечами и продолжила жить свою совсем непохожую жизнь.

Витя ей нравился: славный толковый парень, все у них будет отлично, можно не волноваться. С ним они не дружили, скорее, наблюдали друг друга боковым зрением, взаимно вполне довольные этим фактом. Никуда не спеша, из года в год, привычно шутя при встрече, что годы эти почему-то становятся все короче.

Витя умер внезапно, и, услышав его где-то внутри себя через неделю от похорон, Дашка даже не удивилась: есть те, которые навсегда, даже если умрут и исчезнут. Даже если с ними, в сущности, нечего, просто важно, чтобы на расстоянии четырех шагов к телефонной трубке – два по ту сторону, два по эту. Единожды встретившись, вы просто зачем-то есть друг у друга.

– Почему мне так плохо, а?

Вопрос философский. Задавался миллион раз, каждый раз с одним и тем же ответом:

– Потому что кроме тебя некому.

«Потому что так получилось», «потому что ты можешь услышать, а им сейчас очень нужно научиться жить без него».

Вера хмыкает и достает еще одну сигарету.

Все, что могла сделать для Дашки лично она, давно уже сделано. Первое время, когда от чужого горя, которое вроде бы не должно, не может так сильно болеть, действительно сходишь с ума, она прошла с Дашкой буквально за руку.

«Связной на этот раз ты, а не я», – довольно хлипкое

утешение для того, у кого в полную силу это случилось впервые.

Слышала Дашка всегда, чуткая девочка. Возможно, поэтому они с Верой и подружились когда-то – рыбак рыбака. Волшебное свойство: оказываться в нужном месте в нужное время, придерживать за плечо, проживать вместе сложный тоскливый вечер, позволять выговариваться, таскать шоколадки, вовремя уводить от края. Биться обо все углы, сажать синяки неизвестно когда и как, обжигаться о чашки и огонек зажигалки, ронять себе что-нибудь на ноги, резаться любыми предметами вплоть до собственной невозмутимо спокойной кошки. Вечный баланс под куполом, обратная сторона медали. Ни шагу в сторону и очень внимательно, чтобы не пропустить.

Если повезет, дело ограничится шоколадками и разговорами. Но, как давно уже знает по себе Вера, если бы было так просто, ничего бы даже не началось.

* * *

Предложить свою помощь – совершенно нормально, тем более что выбора у Линки действительно практически не было. Где-то гордость, где-то давно и неправда, где-то заняты, где-то еле справляются сами. Дашка и сама уже несколько лет болталась скорее на границе ощутимого мира, с приездами в гости раз в четыре-пять месяцев, дежурными сплетнями-новостями про общих знакомых и звонками на день рождения. Вите вот в этом году позвонить постеснялась, мол, зачем ему я, у него и так толпа поздравителей. Не ожидала тогда, что скоро они научатся говорить по-другому.

«Ну привет, дорогой. Видишь, я все еще за тебя», – думает Дашка, просыпаясь с уже знакомым тяжелым теплом вокруг сердца. Завтракает, набирает Линкин номер, слушает ужасающе долгие в последнее время гудки.

– Привет! Как вы там?

Неразборчивый Катькин писк, Линкин преувеличенно бодрый голос, клубок бытовых новостей.

Как бы между прочим задать вопрос, который давно уже рвется.

– Слушай, я тут подумала: а АллИванне никакая помощь не нужна? Может, привезти-отвезти чего. Я могла бы как-нибудь вечером, ты спроси.

Пауза. Вздох. Пауза. Гордость жалобно тренькает и опять отступает. Видимо, угадала: сесть за руль Линка пока боится. Водил всегда только Витя, а ей теперь нужно учиться заново.

– Вообще-то нужна, да. У нее надо забрать несколько сумок с вещами. Мы думали, что потом, при случае, но раз уж ты предлагаешь…

Договориться на послезавтра, получить эсэмэской адрес Витиной мамы, забить в навигатор. Телефон, домофонный код, ранняя темнота сентября, пока еще очень теплого. Женщина, не успевшая привыкнуть не ждать. Суета в прихожей, большущие сумки в клетку, деревянная мебель, ковры, застывшее пыльное время. Сжать зубы, перетаскать все в машину, забив ее почти под завязку. Подняться за последней сумкой, застыть на пороге, так и не придумав, как же это сказать.

Выслушать, не заплакав, весь накопившийся поток горечи. Позволить решать ему. Выключить в голове настойчивое «ну куда же я лезу, это ведь не мое дело», переступить через порог и себя, чтобы обнять ту, которая замолчала, не зная, что правильней: отпустить наконец из пустого дома совершенно постороннего человека или все-таки попросить зайти хотя бы на пять минут.

«Извини, но больше я не могу».

– Сил вам, Алла Ивановна. До свиданья.

Вздохнув, рывком поднять огромную сумку, потому что, если тащить за ручки, она оглушительно шуршит по полу. Запихнуться с ней в подъехавший лифт.

– А вот за это я буду платить еще долго.

За спиной наконец-то сомкнулись двери, и как хорошо, что в старые лифты еще не встраивали зеркал: вот уж чего сейчас точно бы не хотелось, так это увидеть свои стремительно зеленеющие глаза. Не Витины голубые, что было бы страшно, но хотя бы логично. Всегда в таких случаях («Отныне и впредь, да?») у Мироздания для нее почему-то только зеленый.

Дашка выходит из подъезда, сворачивает к машине и долго еще молча стоит у открытой водительской двери, вглядываясь в шумящую золотом ночь. Некоторые места скучают по своим людям ничуть не меньше, и им тоже не стоит отказывать в возможности попрощаться.

* * *

«Слушай, оно при любом раскладе не навсегда», – эсэмэски от Веры нужно перечитывать на ночь, сразу все скопом, вместо валокордина.

С течением времени становится понятней и тяжелее. На Линкином лице постепенно появляются краски; она до крайности исхудала, но этим можно заняться чуть позже, сперва нужно

доделать дело. На пустую стену с темно-серыми каемками немоты вчера вернулась первая фотография, так что дело идет на лад, медленно и осторожно, вместе с Дашкиным сердцем. Теплая тяжесть в груди становится легче и ярче, разливается до самого горла, задевает сбитые в велосипедном падении локти, подсвечивает и без того золотистый синяк на плече. Что это было? Очередной угол? Дверца шкафа? Дашка не помнит. Она уже и вообще плохо соображает, так что, видимо, им с Витей обоим настала пора возвращаться.

Уже не раз и не два она заставала Линку с фотоальбомом в руках, один раз даже на пару с Катькой. Сидели, сомкнув одинаковые светловолосые головы над страницей, и о чем-то тихонько шептались. Дашке тогда впервые послышалось, что здесь снова начинает звучать мужской голос. «Не все, не всегда и не обязательно, – думает она, глядя на идиллическую картину с порога кухни, куда уходила проверить мясо в духовке, написать сообщение Вере и выдохнуть, – но некоторые, почти случайно, хоть как-нибудь, находят способ вернуться». Человечья любовь живет по каким-то своим законам, и где-то кто-то выбирает тебя задолго до того, как ты об этом узнаешь. Иногда на очень внезапную роль, но, видимо, так тоже зачем-нибудь важно. Некоторые просто умеют поддерживать связь. Не прерывать трансляцию, максимально долго не забивать канал, даже если очень больно и хочется никогда больше не слышать. Подменять собой абонента на том конце провода, проверяя мясо в духовке, забирая с дачи урожай огурцов, обновляя в компьютере антивирус, который «что-то постоянно пищит, а я не знаю, мне все всегда Витя делал». Чтобы, когда оба снова будут готовы, просто отойти в сторону.

Отмереть за ненадобностью, снять с гудящей головы наушники, сонно моргнуть, не выморгнуть хотя бы до завтра. Через неделю-другую заглянуть в гости, притащив три кило апельсинов, узнать звонкий окрепший голос за дверью и, переступая порог, никого больше в себе не услышать.

«Конец связи».

Татьяна Замировская
Земля случайных чисел

Проснулись в девять утра от жуткого грохота.

Наше поле, наше.

Мы сразу туда побежали, конечно же, как только это случилось, потому что *это было наше поле*. Все, что там

происходило, – только наше. Это там мы с Ниэль встретили коричневую земляную ведьму в грибной шапочке аптекаря. Там я вызывала Белую Собаку на пятом лунном рассвете, умирая от ужаса, и собака пришла и принесла нам корзинку с десятидневными щенками просто так поиграть – с каждым днем они, слепые и нежно-плешивые, как одуванчики после бури, становились тоньше, розовее и прозрачнее, пока на десятый не превратились в набор шевелящихся тихих кожаных пузырей, и тогда Белая Собака пришла и забрала их обратно в себя. Это там Ниэль копала могилу лесному черту и сделала все настолько правильно, что когда лесной черт умер, он пришел и лег в эту могилу, потому что не было ему больше ни места, ни пристанища. Там мы искали мясной цветок папоротника июльской ночью, и нашли, и положили под подушку дяде Володе, который наутро выиграл в лотерею трешку где-то на окраине и сидит теперь в этой трешке и пьет днем и ночью, не надо было ему этот цветок подкладывать, а его жене бывшей надо было, но что уж теперь. Наше поле, наша дикая, кровавая, болотистая живая земля, в ней всюду наш волос, наш бледный лунный ноготь янтарным серпиком, наши заклинания, наши летние стихи для смерти (идея Ниэль – придумывать специальные стихи для смерти, чтобы она пришла хотя бы на краешек поля присесть послушать: в стихах должны быть расположены специальные белые пятна, мерцание агонии, аритмичный стрекот Чейна-Стокса), утренняя мучнистая вода в барашковых копытцах, внимательный взгляд заколдованного бекаса на закате (расколдовать не вышло, но мы старались).

И вот теперь это поле горело, гремело и перекатывалось туда-сюда, как будто Господь пытается свернуть его в барбекю-рулон. Я с ужасом смотрела в окно, зажав уши, а Ниэль визжала, прыгая вокруг:

– Нашеполенашеполенашеполе!

– Толькочтовотбуквальносейчасминутуназад!

Никого из взрослых дома не было, все уехали на авиашоу в город, а на наше поле только что упал истребитель.

С верхнего этажа спустились Леля и Катерина.

– Истребитель, – сказала Катерина. – Я в них разбираюсь. Видела, как падал горящий. Было немного ощущение, что я его

сама сбила взглядом.

Сонная Леля, щурясь, уже натягивала кеды и наваливалась всем своим мягким, птичьим, щенячьим весом на дверь.

…Мы прибежали на наше поле, чтобы посмотреть, что от него осталось. Все поле горело и гудело, живого места не было вообще. Взрослых еще не было, мы прибежали самыми первыми. Леля предложила подойти поближе и поискать выживших людей: видела в новостях, что люди часто в таких ситуациях, когда упал самолет, лежат просто так лужицами на поле, но вдруг на нашем поле они окажутся живыми. Катерина сказала, что если это истребитель, в нем был, скорей всего, только один человек, и тот – летчик. Никаких пассажиров. Тогда Ниэль предложила поискать летчика, и мы пошли близко-близко к огню. Было очень жарко, даже на расстоянии нескольких десятков метров от всего этого огненного рулона, но мы все равно пошли. Находили по дороге разные странные предметы: кожаный пергамент с бахромой, пустые бутылочки, возможно снаряды или бомбы, кресло целое большое зеленое-зеленое, как трава, игрушечного медведя (Леля хотела взять себе, но Ниэль ей запретила, больно и цепко схватив за маленький пухлый локоть). Вначале мы подумали, что летчик катапультировался, но он не катапультировался, а лежал в коровьем озерке прямо внутри катапульты, застегнутый наглухо в какой-то кожаный кокон, и когда Ниэль его расстегнула и заглянула вовнутрь, она сразу сказала:

– Это наше.

Мы заглянули в кокон и поняли: да, это наше.

Летчик был весь в крови, молоке и каких-то подтопленных кореньях, разбросанный внутри кокона художественно и сытно, как ресторанное блюдо.

Вдалеке были видны фигурки взрослых, по-военному деловито зашумел далеко-далеко вертолет. Сейчас они все придут на наше поле и будут разбираться.

– …Кокон пусть возьмет Леля, в нем, скорей всего, питательные вещества, – скомандовала Ниэль, высвобождая летчика и хватая его за ногу. Катерина схватила его за другую ногу, я – за круглую, жесткую, как у собаки, голову, замотав ее в куртку, чтобы не видеть лица. Летчик был сухой и легкий, как мешок с выжженной травой, тем не менее, пока мы его тащили, он оставлял за собой скользкий и небесно-прозрачный след, будто гигантская водяная улитка.

– В подвал! – закричала Ниэль, когда мы дотащили летчика

до дома. Я отпустила голову, она глухо стукнулась о земляную ступеньку, и летчик сказал: «А».

– Ему больно, – объяснила Ниэль, – Но ничего, главное – дотащить, а потом мы перевяжем там что надо.

Захлопнули дверь подвала, разложили летчика среди банок с бабушкиным компотом две тысячи шестого, маленькая Леля расстелила кокон, ставший вдруг клетчатым, как плед; все случилось слишком быстро, буквально за каких-то пять минут – не успели ни понять ничего, ни испугаться.

– Так, – выдохнула Катерина, – я пойду наверх, там пожарные машины приехали.

Ниэль начала возиться руками в районе пояса летчика – там была машинка для регенерации, как она нам объяснила, и черный ящик, который записывал все, что было в его жизни *до падения*, а после падения все это стер, потому что никому в такой ситуации про жизнь уже не интересно. Выудив скользкую, покрытую чем-то вроде яичного желтка коробочку, Ниэль вытерла ее подолом взвизгнувшей Лели, открутила крышку и уже через десять секунд вонзила в предплечье летчика стальной звонкий мини-шприц.

– Так везде делают, – объяснила она нам с Лелей, – Может, он и придет в себя. Еще нужно молоко, но обязательно после кошки, чтобы его уже кошка немного попила. Леля, сбегай наверх.

Я побежала наверх с Лелей вместе. Глянули в окно – на месте катастрофы уже собралась большая толпа, по узкой деревенской дороге тащился, причитая и цепляя хромированными рычагами ржавые заборы, пожарный авианосец, черное облако гари тянулось далеко-далеко к реке. Жарило солнце. Хотелось купаться.

Приехал Лелин папа, привез холодных утренних рыб в пакете, запретил идти из дома: черт знает что, говорит, происходит, все горит, ужасная авария, никуда не идите. Леля взяла из его рук пакет с рыбами, спросила, когда приедут остальные взрослые, он замахал руками: идите, идите к себе, все дороги перекрыты пока, не доехать, это же надо, ужас какой, хорошо, что не на наш дом, уводил от домов, говорят, уводил подальше, увел, а сам не смог, не ушел.

Леля, выбравшая из пакета самую тихую и покорную рыбу, вдруг замерла с этой рыбой в руке и открыла рот, чтобы возразить – ушел, ушел! – но тут на рыбином тоненьком рту цепко сомкнулись тонкие пальцы выбравшейся неведомо откуда Ниэль, и Лелины зубы будто свело судорогой.

– Мы будем играть в подвале, раз на улицу нельзя! – улыбнулась Ниэль. Я тем временем сидела под столом и наблюдала, как кошка медленно-медленно, как во сне, пьет молоко. Через бесконечные пару минут я оттолкнула ее надетым на руку тапочком, взяла плошку с молоком и медленными шагами пошла к лестнице, пока за окном рвались снаряды, чадила чернотой смородина и рокотал вертолет спасателей, обреченных на провал – на нашем поле еще никто и никогда никого не мог спасти.

…Кроме нас, кроме как от нас. Да и от нас – никак, если честно.

Летчик первые дня три чувствовал себя не очень хорошо – лежал в разных углах подвала одновременно, пару раз был просто какой-то строительной пеной, лица я на нем вообще не видела, но Ниэль уверяла, что удавалось рассмотреть, пока он пил молоко через соломинку – рта еще не было, серьезная авария, но в одну из дырочек в голове вставили соломинку и молоко исчезало, значит, летчик пил.

Взрослые возвращались из города, пили вино, смотрели телевизор и причитали: какая трагедия, еле увел от деревни, так и не поняли, что толком случилось, говорят взрыв, горе-то какое, молодой совсем, тридцать три года, а если бы выпрыгнул, то точно бы на дома упал, все бы погибли, вообще все, спас детей, спас, святая душа, святая.

Мы пили молоко и ухмылялись. *На самом деле это мы его спасли.* За окном чернело провалом выжженное поле, и тихие болотные птицы ночами оплакивали своих нерожденных сыновей, раскачиваясь на обгоревших кустах. Катерина отставляла в сторону рюмочку с вином (ей в ее 14 разрешали иногда выпивать со взрослыми) и со скучающим видом шла «в подвал за компотиком».

Конечно, мы должны были сказать родителям, что *мы спасли летчика*, но летчик пока был не в очень хорошем состоянии, видимо, он немного испортился, пока падал, и мы решили, что вначале дождемся, пока он пойдет на поправку, а потом скажем, непременно скажем. Нам бы здорово влетело, если бы взрослые узнали, что мы украли летчика с поля. Если бы он сразу был в порядке – мы бы сразу и сказали. А так мы понимали, что взрослые могут решить, что это из-за нас он такой. Нет уж, надо выхаживать.

Мы с Ниэль ночами пробирались к жженому полю, нюхали черную траву в поисках той самой, которая вернет летчику память о том, как он летел в наше поле кипящим метеоритом. Маленькая Леля ходила с сахарными головками на такое же маленькое сельское кладбище, где жили огромные черные муравьи – раскладывала сладости по камням и ждала, пока муравьи не наполнят сахарные комочки своей живительной земляной кислотой: летчик мог есть только такие конфеты. Я вызвала Белую Собаку на бабушкину косынку, утиное яйцо и змеиную шкурку – и Белая Собака пришла, и дала мне себя подоить, и я надоила где-то полчашки сероватого, перламутрового полупрозрачного молока, из которого Ниэль сделала крошечный сыр – съев этот сыр, летчик застонал, у него изо рта и глаз пошла кровь, и так мы увидели его рот, полный крепких костяных зубов, и глаза – зелено-карие, как осенние камни. Леля выцарапывала из дерна крошечные стеклянные секретики с прошлогодними цветами и сушеными насекомыми – мы клали их летчику на лоб землею вниз, и когда земля проваливалась и оседала, цветы оживали и начинали виться вокруг его лба, и лоб тоже оживал – кожа из пергаментно-восковой становилась медовой и блестящей, а стеклышками после этого мы резали себе руки и писали кровью на полу маленькие записки летчику – пока у него из глаз шла кровь, он мог видеть и разбирать только то, что включало в себя кровь.

«Поле, на которое ты упал, принадлежит нам. Поэтому ты тоже принадлежишь нам», – писала Ниэль.

«Я – Леля», – смущенно выцарапывала стеклом прямо у себя на запястье маленькая Леля, морщась от первой в ее жизни осознанной боли.

«Сколько тебе было лет?» – спрашивала Катерина.

Я нарисовала кровью самолетик на своей левой ладони.

Он схватил мою руку и прижал ее к своей щеке. Это было так неожиданно, что я расплакалась и плакала после этого весь вечер, и взрослые сказали, что это все из-за этого крушения, мы все видели своими глазами, это ужасно, скорей бы уже разгребли обломки с поля и наконец-то выяснили, как это случилось; и сварили мне молока с какими-то успокоительными травами, и пока я пила его, обжигая и выжигая всю себя насквозь, я заметила, какими холодными глазами смотрит на меня Леля, вынужденная в жаркий день носить блузку с длинными рукавами, чтобы никто не видел ее исцарапанных рук.

Взрослые все рассказывают, как это было страшно, как проводят расследование, как отказали сразу два двигателя – как это могло случиться? – потом замолкают, испуганно смотрят на нас, неискренне перепрыгивают на темы салатов, куриных закатов, тетиных закаток – а, что? Закаток?

«У нас в подвале штабик, но мы потом все уберем, – говорит Ниэль, надавливая под столом ногой на мою ногу – Если нужны эти чертовы патиссоны, я принесу». Штабик – это святое. У нас принято: взрослые не лезут, если штабик, а мы потом просто убираем все сами, когда заканчиваем, так уже было с чердаком и мышиным королевством, нам верят, мы никогда не врем, и даже с этим летчиком не обманывали бы, если бы он только был получше, если бы он только стал хоть чуть-чуть получше, как им такое покажешь, пока нельзя показывать еще ничего.

…У летчика меж тем постепенно проявляется лицо – оно, как и руки, как и грудь, как и ноги, все изранено, изрыто копытцами, в которых застоялась талая болотная весенняя вода. Чтобы копытце затянулось, нужна живая плоть. Чтобы оживить плоть, надо взять из плова немного барашка, пойти на поле, вложить барашка в подходящее по размеру утреннее барашковое копытце с утренней же водой (вчерашнюю воду нельзя, надо после дождя поэтому приходить), вызвать Белую Собаку на три утиных яйца и большую конфету «Кузнечик» и попросить ее помочиться в копытце – тогда барашек прирастет к копытцу и можно его осторожно вырезать, чтобы не повредить землю вокруг, резать только по мясному, по земляному нельзя. А потом уже вкладывать туда, где у летчика чего-то не хватает, и как правило приживается. Если приживается, то летчик не стонет, может иногда даже пытаться сесть или что-то сказать. Если не приживается, то надо срочно вырезать и отнести обратно в плов. Плову не важно, взрослым не страшно, ничего с ними не станется, в плове и так все мясо неприжившееся.

Чтобы летчик проявлялся как мужчина, а не как женщина, Ниэль заворачивает его в краденые грязные рубашки дяди Володи, которые она тщательно вымачивает в отваре из кошачьей шерсти – шерсти у нас полон дом, потому что кошку часто тошнит серыми шерстяными колбасками. Рубашки летчик полностью принимает в себя – они пропитываются потом и становятся чем-то вроде новой ожоговой кожи, и уже на пятой-шестой рубашке летчик выглядит почти не страшным, почти необожженным, и это все уже почти тело, и это уже вполне почти жизнь, но взрослым пока что еще *не надо.*

…По вечерам Ниэль читает летчику свои тексты из серии «Эльфы серебряной реки». Мы немного подустали от ее безудержной графомании, потому вначале даже радовались, что теперь все это батальное великолепие достается летчику, пока не поняли – когда он уже заговорил, – что его лексикон во многом складывается из эпоса Ниэль. Это выяснилось однажды вечером, когда он сам – впервые! – взял в руки и выпил чашку компота из сухофруктов и собранных на десятый лунный день однодневок-огневок, традиционно устилавших своими прозрачными тельцами чердачный пол. Леля, которая и принесла ему компот, ужасно смутилась, уронила чашку, неловко рассмеялась, и тут он сказал:

– Сила, которая тебе дана, – это вовсе не та сила, которую ты используешь.

Это была первая связная фраза, которую он произнес. Леля была ужасно тронута тем, что фраза предназначалась ей, но содержание фразы – явно влияние Ниэль. Мы тут же запретили ей читать летчику свои эльфийские истории, тем более, что летчик уже заявил Леле, что его зовут Силлемаль из Долины Стальных Шипов, что, конечно же, было полной чушью, не так его зовут, а как – вот это серьезный вопрос, и для этого нужно пробудить в летчике память.

Пробудим память, а потом расскажем взрослым, решили мы. Пока будем носить эти тяжелые стеклянные компоты туда-сюда самостоятельно.

Повесили на подвальную дверь дополнительный замок, по ночам ходили дежурить по очереди, кормить надо было по ночам тоже, по часам, выкармливать его, как птенца – и еда обязательно должна быть живая: оживляли для него маленьких рыбных мушек, оживляли двойные желтки самых крупных яиц пятницы, как-то даже получилось оживить рыбку.

Съедая оживленное, летчик становился все более и более здоровым – точнее, выглядел как выздоравливающий от болезни, название которой ни одна из нас так и не произнесла, но все, разумеется, его знали. Во время дежурств разное происходило, конечно. Ниэль когда спускалась, рассказывала: она приходит, а у него на груди еж сидит. Кот сидит, где больно, а еж сидит, где не больно, это все знают. Выходит, ему там, где душа, не больно? Но он чувствует что-то вроде тоски, рассказывала Леля – просил у нее бумагу написать письма своим родным, но не мог вспомнить ни своего имени, ни фамилии, ни того, что с ним случилось, ни

родных. Просто помнил: письма родным. Ны-ны-ны, дай-дай-дай – стонал страшно и бился головой о трехлитровую банку огуречной закатки минувшего сентября, и банка церковно звенела, как пасхальный набат. У меня попросил кекс из красной муки, чтобы уйти домой. Так и сказал: это мне, чтобы домой уйти. А где дом – не знает, не помнит.

Мы сходили на наше поле, конечно, собрали там немного красной пшеницы, но нас быстро выгнали следователи – прочесывают поле с собаками, все ищут какие-то ящики, какие-то свидетельства. Ничего не найдут. Красной пшеницы было не очень много, с коробок спичек, и Ниэль сказала, что пока не нужно ничего печь – возможно, он вспомнит и так. А когда вспомнит – скажем взрослым, и они отвезут его домой, то-то там все обрадуются, наверное, заждались уже!

…Чтобы вспомнил, пускали по нему ходить улитку без панциря три раза туда-сюда, делали пудинг памяти (прошлый раз мы делали такой для Катерининой бабушки, когда та начала путать наши имена – все сработало, несмотря на то, что жир был не лосиный, а обычный коровий), вызывали прямо в подвале Заячью Королеву (три пустых скорлупки от перепелиных яиц, высушенная летним солнцем жаба, конфета «Гомельчанка», две игральные карты крестей, все переплести зеленой ниткой и тогда можно вызывать) – она взяла у него небольшое интервью и вроде бы даже добилась каких-то внятных ответов, но не отдала нам запись, так и ушла с диктофоном, раздавив скорлупки стальными копытами. Но путался, терялся, все пытался что-то написать дрожащими руками, но нет, не выходило, не то.

Подниматься он еще не мог, но довольно сносно ползал туда-сюда по подвалу, отчего Катерина называла его Мересьевым, чем ужасно нас раздражала. Однажды, когда мы поили его шестимильной водой в надежде пробудить иссохшуюся, как дерево, память, он вдруг вспомнил именно этот эпизод с Мересьевым и вдруг сказал, что не хочет больше, чтобы Катерина дежурила по ночам.

Всю ближайшую неделю Катерина проплакала у себя в комнате. Вместо нее дежурила я – мы с летчиком пытались рисовать картинки о том, кто он на самом деле: я брала его руку в свою и рисовала ножом на бумаге треугольную крышу – домик? Летчик рвал бумагу, рычал раненым зверем: не домик, не домик! Я спрашивала его: что тогда будем рисовать? Шар? Самолет? Самолет? Самолет?

Каждый раз, когда я говорила «самолет», он обнимал меня и начинал плакать. Его слезы, соленые и резкие, как все эти огуречные банки, служившие ему ложем и прикрытием, пахли дождем и морем, и Катерина, чувствовавшая этот резкий, пряный запах, отшатывалась от меня всякий раз, убегая в свою комнату. В конце концов она просто прекратила со мной разговаривать. Взрослые перешептывались: депрессия, трудный возраст, влюбилась, пора уже, подросток же.

Следующей влюбилась Леля. После своего очередного ночного дежурства она вернулась в нашу детскую вся трясущаяся мелкой дрожью, бледная, с пылающими алыми пятнами на щеках – будто брызнули кровью, будто кого-то обезглавили прямо на ее глазах, щедро махнув стальным клинком или крылом.

– Он… он попросил… – возмущенно сказала она и разрыдалась так отчаянно и громко, что у любого бы разорвалось сердце, и только бессердечная наша Ниэль тормошила ее, дергала, щипала за пухлый локоть, шипела: «Ну давай же, давай говори, что он попросил, что!»

– Попросил написать от него письмо… – всхлипнула дрожащая Леля и снова зашлась в рыданиях. – Письмо жене… написать письмо его жене! Вот что! Вот оно что! Жена у него есть!

И Леля, вырвавшись из щипучих, злобных объятий Ниэль, с разбегу упала на свою огромную розовую подушку, усыпанную маленькими пони.

Ниэль посмотрела на меня с отчаянием. «Кто бы подумал, что малютка окажется такой впечатлительной» – говорил ее взгляд. «Не нужно было позволять ей царапать руки стеклом» – говорил в ответ мой взгляд. Мы с Ниэль понимали друг друга без слов. И сейчас, глядя друг другу в глаза, мы чувствовали, как розовая подушка Лели наполняется до краев ее водянистыми слезами, пряными и прозрачными, как розовая вода.

…От расстройства Леля отказалась ходить на дежурства, поэтому к делу снова пришлось подключать Катерину – летчик почти забыл о том, что она его чем-то обидела, поэтому они очень сдружились. Когда летчик просил Катерину написать письмо его жене и сказать, что с ним все в порядке, потому что она наверняка волнуется, Катерина послушно приподнимала бровь, уходила, шурша юбкой, приносила жесткую оберточную бумагу, слюнявила карандаш и вопросительно смотрела на летчика: ну? Как зовут? Аня? Лена? Юля? Даша? Ирина, может быть?

– Я не помню, – рыдал летчик жирными, тягучими, свечными

слезами (Катерине он всегда рыдал именно ими, для каждой из нас у него были отдельные слезы), – помню – дорогая кто? Друг маленький зайчонок чего? Человек как? Жена была, точно была жена.

– Капитолина? – ухмылялась Катя, – Василиса?

Летчик размазывал по свежему, детскому почти, безбородому своему лицу слезы и жир, слезы и жир. От Катерины практически все время пахло жиром, а позже начало пахнуть еще и алкоголем: летчик попросил выпить, и она послушно, как загипнотизированная, таскала для него родительский алкоголь, а потом начала пить с ним вместе, чтобы он вспомнил. Он действительно вспоминал какие-то военные истории. Но они явно не относились к делу. Со временем они вдвоем даже написали около пяти писем женам летчика, но потом оказалось, что это были не те жены, точнее, не те жизни, летчик вспоминал *что-то не то* – как разбитое, старое, кривое радио, он ловил чужие эпохи, чужие времена, настраиваясь на тихое и фальшивое дребезжание давно прожитого и забытого своими тайными тихими учителями, сгоревшими за добрую сотню лет до того, как сгорел он сам.

…Как горел *в этот раз*, тоже не помнил – все прошлые разы более-менее вспомнили, разобрали, а этот – нет, не может. Алкоголь не помогал, тихие травяные заклинания сообразительной Ниэль, мигом догадавшейся, что процесс обретения памяти завел нашего нового друга не туда, тоже не помогали, и даже наша с ним тихая, почти тайная дружба – а я уверена, что это была именно дружба, – не вела никуда, кроме как к бездне, провалу, беспамятному колодцу.

– Помню, как хоронили, – рассказывал он. – Играл военный оркестр, разбрасывали конфеты всюду во дворе, как будто свадьба. Все три жены за гробом шли, как на параде. Но только одна ордена прикручивала, когда застыл, только одна на них потом лицом падала, когда закончилась музыка, только одна. Как же ее звали-то? Галя? Галина?

– Не вспоминай, – говорила я ему, – это не то, это не твое. Это и у меня было. Так и меня хоронили тысячи раз – и с музыкой, и без музыки. Один раз просто в белую рубашку завернули и пустили по реке. А один раз жгли вместе с кошками на белом костре. Но я это все не вспоминаю, имен всех, кому этот мой последний пожар выжег всю душу, не помню, и помнить не хочу, потому что в этой жизни меня зовут Надя, прожила я всего тринадцать лет, помню только это наше поле, эти наши игры, помню самолет, помню самолет, самолет.

Каждый раз, когда я говорю про самолет, он хватает меня за

руку и начинает трястись, обливаясь слезами. Возможно, поэтому я так часто говорю про самолет. Тем более, что вся моя жизнь ужалась до этого самолета – до самолета не было ничего, а все, что было после самолета, не касается уже никого, кроме нас.

…Впрочем, Ниэль была уверена, что это касается и ее тоже. В тот воскресный день, когда увидела ее играющей с деревянными дракончиками, которые вырезал для нее летчик, я разозлилась на нее так, как будто она не была моей сестрой, принцессой, боевой ведьмой и лучшим другом. Было сразу понятно, что дракончиков вырезал именно он – в подвале я видела обрезки деревяшек.

– Ничего такого, – разозлилась она, когда заметила по моему взгляду, что я недовольна, – просто захотел сделать мне что-то приятное.

Я сказала, что летчику надо *выздоравливать*, а не делать нам приятное. Тогда она ответила, что я сама уже давно забыла о том, для чего мы его притащили с собой, и что она видела, как я глажу его лицо руками, интересно, зачем. Тогда я сказала, что лучше бы она поговорила на эту тему с Катериной, потому что они вообще там бухают по ночам и непонятно что у них там происходит, и Катерина является вся черная, как туча, и ни с кем не разговаривает, и ни на какие вопросы не отвечает. Тогда Ниэль сказала, что лучше бы я обратила внимание на Лелю, потому что вообще-то уже давно никто из нас не видел Лелю, куда она делась? Ушла в поле и проросла там мясною травою? Превратилась в белую болотную цаплю? А у Лели, между прочим, разбито сердце.

Оказалось, что Леля с разбитым сердцем уехала в город вместе со взрослыми – именно поэтому мы не видели ее несколько дней. К выходным она приехала – тонкая, повзрослевшая, с дрожащими губами – и сказала нам с Ниэль:

– Я почитала газеты. И я знаю, как его зовут. Звали. Я знаю имя. Но я вам его не скажу.

Мы обе пожали плечами: не хочешь говорить – не нужно. Сами назовем.

Тогда Леля спустилась в подвал и, как мы поняли, все-таки сказала летчику его имя – видимо, это была ее личная маленькая минутка триумфа, окончательная победа влюбленности над здравым смыслом: услышав имя, летчик даже попытался встать, как будто его зовут где-то на другом берегу, но задергался, упал и разбил голову о томатную пасту в полуторалитровике. Это объединило нас на несколько часов, пока мы носились туда-сюда с тряпками, полотенцами, бинтами и толчеными в ступке таблетками стрептоцида (поскольку летчик был уже практически

живой, мы поняли, что лучше лечить его человеческими таблетками для живых) – но потом снова началось: Катерина отказывалась говорить нам, о чем они с летчиком пили вино две ночи напролет, Леля убегала на реку поплакать с плейером Ниэль и всеми ее дисками Radiohead, сама Ниэль неожиданно призналась мне, что у нее в жизни вообще не было ни одной по-настоящему родной души, только этот вот летчик и все его чертовы драконы. Никакое поле ее уже не интересовало – драконы шептали ей другие сюжеты, другие истории, и по вечерам она долго-долго писала что-то неведомое и жаркое в своей зеленой тетрадке – тексты, предназначенные только для тех, кто упал с неба на землю, не иначе.

Когда мы спустились к нему все вчетвером, чтобы выяснить, кто из нас должен стать ему женой, летчик закрыл голову руками, как при артобстреле, и начал страшно кричать. Мы испугались, что услышат взрослые, и выбежали из подвала. Теперь ходить к нему можно было только по одному – и мы постепенно понимали, что без этих визитов наша жизнь и наше лето превратится в непрекращающуюся разлуку и кошмар. Но все еще пели на закате тоненькие морские песни кровяные комары, и хохотали взрослые на веранде, отмахиваясь от летучих мышей, и пьяный папа купался в жабьем бассейне, и соседские дети кричали идущей за хлебом в автолавку Ниэль: «Ведьма, ведьма», пока она, прищурившись, расстреливала их из указательного пальца: каждого ровнехонько в левый глаз, через три года поймут почему, но поздно будет.

Летчик ел все, что мы ему приносили, пил молоко и жадно обсасывал бараньи ребрышки, периодически стонал и пытался вспомнить свое имя, забытое во второй раз окончательно и навсегда после того удара головой о полуторалитровик. Мы записывали письма, которые он диктовал неким своим несуществующим родственникам, и прятали их друг от друга так яростно, как будто мы и есть эти будущие родственники – через пять, десять, пятнадцать лет. Иногда мы робко говорили о нем друг с другом: «Вспомнил имя? Нет? Ну и хорошо – нельзя, чтобы вспомнил. Если вспомнит, то нам всем смерть, лету конец». Маленькую Лелю, которая знала имя и могла снова наделать бед, мы к подвалу не допускали, попросту забрав у нее, царапающейся и воющей, как попавшийся в капкан лесной зверек, ее персональный ключ на смешном лиловом брелоке с совенком.

Ближе к концу лета на наше поле приехала его жена.

Положила цветы вначале, ходила туда-сюда, глубоко дышала. Потом стояла, нюхала воздух, как животное, у нее дрожали ноздри. Весь металл и обломки уже растащили, остались только ямы и выжженный чернозем. Мы стояли недалеко, молчали, не выдавали. Жена падала на красную землю, каталась по ней, как огненная лисица, потом брала в руки эту землю и ела ее. Мы молча смотрели.

…Вот она какая, жена нашего мужа. Катается по нашему полю и ест землю. Очень красиво.

– Горе, вот горе у человека, – шепчутся взрослые, уводя ее под руки.

Проходя мимо нас, она вдруг останавливается, берет Ниэль своими кровавыми, земляными пальцами за подбородок и говорит:

– Отдай мне его.

Ниэль с визгом дергается и убегает, как олененок, в сторону леса.

– Она сумасшедшая, – успокаивают нас взрослые, – пожалуйста, не бойтесь. Горе такое, такое горе, заживо сгорел, и это чтобы вы жили, чтобы не на ваш дом, понимаете? Успокойтесь, ну успокойтесь же.

Леля плачет и не хочет успокаиваться. Мама обнимает ее и ведет в дом. Леля хитрая лисица: она рыдает не потому, что жалеет эту женщину, а потому, что мы забрали у нее ключ.

Я спускаюсь в подвал, летчик лежит и читает книгу «Два капитана».

– Если бы я сказала тебе, что там, в настоящем мире, есть женщина, которая утверждает, что ты ее муж, это бы что-то изменило? – спрашиваю я.

– У меня была жена, но я ничего не помню, – говорит летчик, – поэтому какая разница – ведь это может быть кто угодно, какой угодно человек.

– Это значит, что ты всегда будешь тут, с нами? – спрашиваю я.

– Скорей всего, нет, – отвечает он. – Я уже достаточно окреп, и когда я пойму, что снова могу твердо стоять на ногах, мне придется улететь. Мне домой надо. Домой бы.

– Ты еще слишком слабый же, – дрожащим голосом говорю я.

– Мне нужен кекс из красной муки, – повторяет он.

Мы не хотим его отпускать, а он все просит этот чертов кекс и домой.

В тот же вечер к нам домой пришла его жена. Дверь открыла Катерина, она сразу на нее бросилась, в волосы вцепилась: ты с ним спала, ты с ним спала!

Как-то оттащили ее, взрослые снова извиняются: сумасшедшая, такая беда у человека, пожалейте ее, простите, вот приехала сюда посмотреть на место гибели, и все, и сразу вот такое случилось, горе-горе, скоро уедет.

Не уехала, вернулась наутро – бледная, спокойная, извинилась. Попросила взрослых выйти – говорит, с детками хочу поговорить вашими, кое-какие важные вещи хочу сказать.

– Я знаю, что он у вас, – сказала она нам, – Не спрашивайте, как я это узнала. Где вы его прячете? Пожалуйста, отдайте мне его. Он мой. Вам может показаться, что он ваш – это нормально. Так бывает. Но это неправда. Вашего еще не случилось, все ваше случится потом. Отдайте мне мое и идите дальше.

– Вам лечиться надо, – сказала, всхлипнув, Катерина. – В психушку. А я на вас еще и заявление подам в полицию.

– Вообще нельзя так говорить про людей – мой, не мой, – затараторила Леля, – это неправильно, это высокомерие какое-то, и даже не в возрасте дело, что вы взрослая, а мы еще дети, какая разница? Человек никому никогда не принадлежит. И вообще, откуда вы знаете, кто ваш, а кто не ваш? А если до вас я поняла, что, скажем, какой-то человек мой, а только потом узнала, что он ваш – это что-то меняет, меняет?!

– Леле тоже надо в психушку, – улыбнулась Ниэль, – а вам нет. Вы просто очень устали. У вас и правда случилась большая беда, и я вам очень сочувствую. Я понимаю, что вам кажется, что это мы в чем-то виноваты – ведь мы прибежали туда самыми первыми, мы видели это все. Возможно, вам кажется, что, если бы он не пытался увести самолет от жилых домов туда, к полю, он бы успел катапультироваться и был бы жив – и, наверное, мы кажемся вам несправедливо живыми, словно мы живем вместо него. Но мы ничего не можем изменить, понимаете? Да, мы ему благодарны – в смысле, возможно, если бы не он, нас бы не было. Поэтому вам и кажется, что он у нас – как будто мы его где-то прячем. Его жизнь как бы превратилась в наши четыре – он внутри каждой из нас. Мы не можем вам его отдать – так же, как мы не можем отдать вам свои жизни или свои души. Возможно, в

каждой из нас теперь частичка его души.

В это мгновение, конечно, я поняла, как я ей восхищаюсь.

Ниэль подошла к жене нашего летчика и обняла ее. Наступил момент всеобщего облегчения. Жена немного поплакала у Ниэль на плече, потом подняла голову и неожиданно злым голосом сказала:

– Так где он, вы мне его вернете?

…Я перехватила ее взгляд и мне стало не по себе: она откуда-то, черт подери, действительно *все знала.*

Когда вернулись взрослые, мы сообщили им, что жена летчика и правда сумасшедшая и что она, помимо всего прочего, обидела маленькую Лелю, наговорила ей каких-то гадостей – тем более, что Леля и так постоянно ходила зареванная, вот и нашлось этому какое-то объяснение. Жену куда-то увезли в специальной белой машине, мы дождались ночи и спустились вдвоем с Ниэль в подвал, чтобы принести летчику свежие булочки и молоко.

Он ел и пил жадно, как военнопленный, потом сел, потянулся, треща и скрипя суставами, и медленно-медленно встал.

– Нормально! – сказал он, – Немного шатает, а так нормально. Можно лететь уже. Вспомнил, куда лететь, к тому же. Домой то есть полечу. Пора. Осень скоро.

– Но ты же даже имени своего не помнишь, – сказала я.

– Не помню, – согласился летчик, – но зато вспомнил, где дом. Теперь полечу туда, пока не поздно. А то уже почти поздно. Нормально все, долечу теперь. Не будет уже, как в прошлый раз.

– А что было в прошлый раз? – спросила я, но Ниэль начала дергать меня за платье и шипеть мне в ухо: «Дура, дура, *прошлый раз – это мы*!»

После трех, на рассвете, мы осторожно вывели его из подвала, тихо прошли по спящему дому, прикрыли, не захлопывая, скрипучую дверь в прихожей.

…На поле уже стоял новенький крошечный самолет – похожий то ли на фильмы, то ли на сны.

– Ты не попрощался с Катериной и Лелей, – строго сказала Ниэль, – так нельзя.

Летчик задумался.

– Катерина бы меня не отпустила, – сказал он, – может, так и лучше. А Леля еще слишком маленькая.

– Мы тоже маленькие, и что? – возмутилась Ниэль. – Но мы же все вместе тебя спасли. Так нечестно.

Летчик ничего не ответил. Наверное, *мы просто не все знали*.

На краю поля он обнял вначале ее, потом меня. До него меня никогда еще не обнимал ни один мужчина, поэтому я в последний раз постаралась хорошенько запомнить, как это происходит, но не запомнила ничего, потому что так и не поняла, происходило ли это на самом деле.

– Все, вам дальше нельзя, – сказал он и пошел в сторону этого дымного, светящегося рассветного самолета.

Мы стояли и смотрели ему вслед, понимая, что ни одна из нас ни в чем другой не признается.

– С булочками, значит, молоко? – спросила я Ниэль, когда мы, по пояс мокрые от росы и слез, подходили к дому.

– Угу, – ответила Ниэль, – та красная пшеница, которую я всегда носила с собой в спичечном коробке. Короче, вот. Не было моих сил больше смотреть. Жалко.

– А меня тебе не жалко? А себя тебе не жалко? Мы же все ему отдали, все для него сделали, спасли его, буквально из кусочков обратно сложили! Не жалко тебе этого времени? Лета этого не жалко, нет?

– Всех нас жалко, – сказала Ниэль, – и лета жалко. Но за нами еще прилетят потом. Всякие другие прилетят. И лето еще будет – другое. А у нее – ну, видела сама. Может, и не будет ничего больше. Короче, надо было отпустить.

На крыльце дома нас уже ждали мрачные, задумчивые фигурки Катерины и Лели. Ниэль набрала воздуха в легкие и сделала особенное, самурайское лицо. Нужно было как-то все им объяснить, хотя что тут объяснишь – выздоровел и улетел.

Через несколько дней взрослые, взволнованно пошептавшись, сказали нам, что жена нашего летчика ушла вместе с ним.

Видимо, улетела.

Просили не переживать и не принимать ничего на свой счет. Но нам нечего было принимать на свой счет. Да и как можно было принять на свой счет то, что она к нему прилетела? Это нормально. Она хотела, чтобы мы его отпустили, – мы отпустили – и она тут же ловко и быстро, каким-нибудь проверенным и накатанным способом укатила к нему. Этот ловкий побег в счастье нас не касался – у каждой из нас в груди клокотала своя собственная трагедия, невозможная, огромная и трепещущая, как

нераскрывшийся парашют. Я переживала потерю своего единственного и, возможно, последнего в жизни близкого друга; Катерина расставалась с воспоминанием об идеальном мужчине; малютка Леля оплакивала свою первую настоящую любовь; Ниэль же молча сидела на подоконнике, обложившись книгами и деревянными дракончиками, и все чиркала что-то в своих блокнотах.

– Он все равно это не прочитает никогда, – чтобы уязвить ее, испекшую тот самый чертов кекс, сказала однажды Катерина.

– Если не напишу – прочитает, – ответила Ниэль. – Поэтому вот и пишу. Единственный шанс от него как-то отвязаться.

Но было понятно, что не отвязаться уже никогда. Лето заканчивалось. На наше поле мы больше не ходили – ни этим летом, ни следующим. Было понятно, что наше болотное летнее волшебство больше не будет работать – взросление и было той неприятной ценой, которую нам пришлось заплатить за то, что мы так никогда и не смогли назвать ни одним из существующих в природе слов.

И потом, *это было уже не наше поле.*

Татьяна Замировская
Золотые окна в доме напротив

В доме напротив были золотые окна, чужие годы напротив были тоже золотые и сияющие, как все окна мира; когда-то она просто вышла в это окно и тут же вернулась обратно, и ничего не менялось и не изменилось, и это страннее всего.

Капа помнила и про окна, и про все остальное, но в глубине того, что она не осмеливалась теперь называть душой, понимала, что существуют вещи и явления, которые теперь невозможно ни назвать, ни вернуть, ни обратить во что-то другое.

Воспоминание о болезни, впрочем, превратилось в плавучий хлам, колокольный храм за холмом, полусон и морок.

Капа лежала и смотрела в золотые окна новой ее зари, и не понимала, случилось ли все или не случилось ровным счетом *ничего.* Одеяло на ее груди мерно вздымалось и опускалось, как снежная вершина в невозможной ледяной ветреной дали сквозь слезящиеся дрожащие веки; воздух входил в легкие властно и почти агрессивно, словно он весь был огромная небесная воздушная невидимая машина для проталкивания целебности себя сквозь огромную, целую и спокойную Капу.

Спокойно, сказала себе Капа, видишь же, все спокойно, я все помню.

На соседней кушетке никого не было. Капа была совершенно одна, и у нее не было ощущения, что помимо болезни из нее вычистили что-то еще, что-то не менее яростное, всеобъемлющее и целиком захватившее ее тело и когда-то делившее его на двоих с болезнью с отчаянным инстинктивным сладострастием слепых щенков, борющихся за рыхлый розовый молочный живот жизни.

– Я же все помню, – сказала Капа вслух.

Голос ее совершенно не изменился. И точно так же не нравился ей, как раньше: детский, немного надтреснутый, ломкий и тошнотворно тонкий, как большое ходячее травяное насекомое.

– Мне не нравится мой голос, – еще один ломкий богомол с размашистым суховатым шлепком звонко врезался в стену.

Посмотрела на свои руки. Гадкие, гадкие, гадкие. Бесят, бесят, бесят.

Ничего не изменилось.

* * *

Капа помнила, как все началось полгода назад, когда ее постоянный кашель, который все принимали за предастматический, вдруг стал словно ее составляющей частью – такой же, как гадкие руки или веснушчатый кончик носа в поле зрения. Она постепенно научилась говорить сквозь текучий вдоль ее шеи, как бесконечная река, кашель, отпускать милые едкие ремарки во время школьных обедов ровно-ровно между спазматическими, не совсем удобными вдохами колючей злой глубины, вовремя выплевывать хлопьевидную нутряную чушь в отцовский клетчатый платочек (у него много, мстительно думала она, поутру потроша шифоньеры, вот как их маниакально мама отгладила) и раскатисто грызть крепкими, гремучими своими зубами лакричные леденцы, которые в изобилии хранились в кухонной конфетной жестянке.

Только когда у нее начала неметь левая рука и стало невыносимо болеть ровно посередине груди (в школе на тренировках это мешало, как и начинающаяся одышка), Капа попросила родителей отвести ее к врачу.

– Йога твоя чертова. Мы тебя водили в восьмом классе, когда ты ногу потянула, – недовольно сказала мама, – Отец до сих пор выплачивает.

Но в клинике оказалось, что дело не в йоге.

Капа помнила, как чувствовала себя, когда доктор смущенно выдал ей в запечатанном конверте полный тайминг; точно такой же тайминг пять лет назад распечатали ее бабушке за пару месяцев до того, как бабушка впала в окончательную свою кому и они долго не могли выбрать, кто именно сделает ей укол. В тайминге с точностью до недели было расписано, как именно Капа будет умирать и с какой скоростью и в какие стороны растут эти огненные, пылающие сгустки неведомо чего (Капа видела их на своей томограмме, которая выглядела как гипнотичный

видеоклип какой-то из ее любимых групп), захватывая все больше и больше живой активной Капы, которая так любила полуночную горячую йогу, зеленый чай с приторной лживой стевией, Уильяма Берроуза, научную фантастику и какую-то лучшую в мире музыку.

Тайминг давал Капе еще три-четыре месяца, не больше – она слишком поздно обратилась в клинику; но обычно все ее карманные простуды проходили сами без лишних расходов: лакрица, ромашка, кипяток с куркумой.

Страховки у Капы не было, у ее родителей тоже не было страховки. Точнее, страховка у Капы была только на зубы, но, как назло, зубы у нее были чугунные и непробиваемые, как религиозные фанатики: Капа на спор открывала с пол-укуса бутылки пива, раскалывала подружкам жгучие йодистые грецкие орехи прямо с дерева, растертые об асфальт в ржавую кровь; во время рисования грызла раритетные эвкалиптовые и секвойные карандаши с такой разрушительной страстью, что одноклассницы, перекатывая в пальцах колкую щепу, нежно называли ее принцессой-бобром, после чего она окончательно притворилась, что ее странное, капающее на кафель, как кровь, имя взялось из традиционных святок индейцев Сиу и обозначает именно что бобриную принцессу: проще объяснять, чем эту нелепую мамину легенду, которую она тоже помнила, которую она тоже помнила.

…Мама и правда повела себя нелепо; она несколько дней плакала и обвиняла Капу в том, что та, вероятно, тайком курила по нескольку пачек сигарет в день, вот и довела себя до такого состояния. Капа никогда не курила (пару раз в режиме развития силы воли пыталась начать курить, чтобы потом привязаться и триумфально бросить – ее одноклассницы вечно бросали то пить, то курить, то мальчиков, и только Капа не была ни к чему привязана в той степени, чтобы накачать мускул воли на энергии осознанного отказа); она открывала в ноутбуке десятки вкладок и кричала, чтобы мама срочно прекратила жевать сопли и посмотрела статистику – экология, шипела она, всхлипывая, как зимняя батарея, запредельно грязный воздух, смотри, что тут с возрастом вырисовывается по раку легких, это неизбежно, кому-то не повезло, и не повезло именно мне, это все чертово производство, чертовы города, мы же могли уехать все вместе в деревню, когда папа в прошлый раз потерял работу, и что?

– И то, что тебе в школу надо было ходить хорошую, чтобы

потом работу получить нормальную! – возмутилась мама.

– Ну и что в итоге, вот где твоя работа! – Капа выдернула из ноутбука и швырнула в маму и ее возмущение флешку с пылающими картами своих смертных костров, скопированных с компьютера в клинике. – Тут вся работа твоя! Дебилы вы оба, столько денег в школу вбухали, вам же ничего не вернут теперь, вы всегда все не так делали!

Флешка почему-то упала маме в карман халата, и все время, пока Капа кричала, она надеялась услышать ее разрушительный, прощальный стук о кафель. Но это был еще не кафель. До кафеля было еще далеко. Капа понимала, что придется со всем прощаться, пока не настало это зимнее вечное мгновение кафеля, но мама отказывалась прощаться, она, кажется, вообще отказывалась понимать, что Капа все, а Капа была *все*.

Мама кричала каждый день. Отец сказал, что переедет пожить к брату, потому что выдерживать это нет сил, мама тут же подала на отца в суд (в ней обнаружилось удивительно много энергии, но не той, что нужно), но суд назначили только через полгода, и мама подумала, что если судебный процесс не совпадает с Капиным таймингом, в нем нет смысла, поэтому отозвала заявление, потеряв на этом всем ползарплаты.

Отцу было словно стыдно, будто не у Капы, а у него самого нашли болезнь – причем болезнь самую неловкую, самую позорную в мире. Он часами сидел в Капиной комнатке на ее желтом медвежьем диванчике и, будто не замечая, что та принципиально восседает за столом в огромных наушниках, многословно и смущенно просил прощения за то, что не смог наладить свой бизнес десять лет назад, что продал пакет акций этому мудаку Штильмеру; за то, что купил на эти деньги магазин с протекающими стенами, даже не крышей, как ни странно, а именно стенами, которые текли черно-красной тягучей, как вишневое гнилое желе, болезненной плесенью; что так и не смог купить Капе хорошую страховку, хотя прекрасно знал, что экология ни к черту и все болеют, но вот на что-то надеялся, ведь у него здоровье крепкое, и у мамы ничего, и бабушка вот держалась, и вот купил же зубы, исправно выплачивал зубы все 16 лет, даже когда зубов еще не было и все они прятались внутри мягкой, трепетной Капиной улыбчивой десны (отец начал пересматривать детские фото веселой беззаботной Капы, видимо, переживал). Капа молча слушала музыку, пока слова отца текли

по проводам наушников вниз в ледяную землю, и у нее от обиды болели, словно полон рот хрустящего снега, все ее идеальные зубы, в которых за все годы ее до невозможного короткой жизни ни разу не возникло хоть какого-то завалящего кариеса. Капа даже не знала, как этот кариес лечат. Отец отдавал на страховку больше денег, чем уходило у всей семьи на еду, и она ни разу ей не воспользовалась. Зубы заломило еще сильнее: отец Капы был неудачник, и ей было невыносимо больно понимать, что она, видимо, унаследовала все эти его черты и ей, вероятно, и не стоит жить дальше. Природа отлично нас отфильтровала, подумала Капа. Как все мудро устроено.

Если бы отец Капы смог зарабатывать хотя бы на самую основную страховку (такие были у трети ее одноклассников – получается, как-то выкручивались их родители?), Капа могла бы получать лечение и химиотерапию целый год – обычно этого хватало на почти пятилетнюю ремиссию, которой Капе хватило бы – она уверена! – на то, чтобы найти отличную работу (не то, что у этих неудачников!) и заработать на еще один курс терапии. Ее двоюродная тетка Роза таким образом протянула добрых пятнадцать лет после смертельного диагноза, теперь очень хорошая химиотерапия, всегда на пять лет хватает, а за пять лет и образование можно нормальное получить, и работу найти нормальную, и может быть даже на хорошую страховку заработать. Все нормально было бы.

…Хорошая страховка (такой не было ни у кого в их классе и, пожалуй, во всей школе) давала возможность полностью вылечиться какой-то особенной технологией облучения, где были задействованы те неясные еще (не еще, а уже навсегда, поправила себя холодно и мрачно) законы физики, которые они будут проходить только в одиннадцатом, ненужном теперь ей даже в качестве мысли и подозрения, пустом чужом классе.

– Вообще не надо было детей заводить, – сказала Капа в ответ на неслышную ей очередную папину фразу (он продолжал что-то шамански бубнить, раскачиваясь на желтом диванчике с фотоальбомом в бледных руках) и сделала музыку погромче, потому что звук ее собственного голоса ее неожиданно разозлил. Экран ноутбука был весь забрызган мелкой звездной пылью из ненавистных теперь Капе легких. Капа хотела его протереть, но потом капризно подумала, ну и ладно, все равно умирать.

Смерть ее не пугала, возможно, оттого, что в шестнадцать лет человек к ней намного ближе *с того* конца (именно так она сама

себе объяснила свою надменную холодность в отношении расписанного в клинике сценария, включающего в себя непременную смертную муку распада, подразумевающую как минимум месяц жизни на сомнительных, разрушающих восприятие таблетках) – пугала, скорей, необходимость оставлять еще не до конца осмысленное и осознанное; тело ее будто не понимало до конца, с чем и как именно оно связано, чтобы направить текучие импульсы паники по поводу грядущей драмы разрыва в нужные нежные нервы. Или это стадия отрицания, подумала Капа. Смерть – это как уйти в ту же дверь, из которой ты пришел, только вперед, а не назад; весь этот ритуал представлялся ей хитроумным пересечением комнаты с единственной дверью насквозь и вдоль – так, чтобы выйти именно из той двери, через которую когда-то пришлось войти. Страшного в этом не было ровным счетом ничего; обидного – да, обидного было много.

Капа вела дневники с двенадцати лет. Ей стало невыносимо обидно, что мама их потом, наверное, прочитает.

Еще обиднее ей стало, когда выяснилось, что мама, оказывается, читала их регулярно: все это она вывалила ей, как неукротимую кровавую тошноту (у Капы пару раз случалась такая), прямо за завтраком, и Капа почувствовала, что сейчас ее солнечная яичница прямиком окажется в кофейной чашке, смешиваясь со звездной пылью и кокаином, который она мысленно нюхала, захлебываясь мечтами о недоступном, вот уже третьи сутки, размышляя о том, чего из прочитанного в любимых книгах в своей крошечной жизни она так и не попробовала.

– Кокаин, как можно было такое писать, что за бред? – кричала мама. – Секс, ну какой секс, господи, у тебя уже даже там теперь метастазы поразбухали всюду, никакого секса, ты хочешь нас просто добить под конец совсем, что ли, ничего в этом сексе нет, боль одна, страдание одно, вот он, наш секс семнадцатилетней давности душу всю разрывает, и кому это надо? Кому?

Капу мутило. Она никогда не говорила с родителями о сексе, и именно в данной ситуации такой разговор показался ей максимально невозможным.

– …Зачем ты читала мой дневник? – хотела сказать она, но слова выталкивались у нее из горла лающим и таким привычным,

что почти беззвучным кашлем, заглушающим, к счастью, мамины стенания.

– И вот про такой бред пишет, а о сигаретах ни слова же, и поэтому понятно, что знала, что я это читаю, и почему это я виновата, ну что значит личное, Дима, что ты такое говоришь, где личное, она скрывала там, что курит по пачке в день, это она назло мне такой дневник писала, ясно же, все специально, все всегда нам назло делала, и вот получила.

– Я все-таки, наверное, уеду, – пробормотал отец, но эти слова утонули в очередном возмущенном раскате Капиного кашля о том, что мама совсем стыд потеряла.

– И даже невозможно серьезно с вами поговорить, этот уезжает, та умирает, упрямые как сволочи, одинаковые оба совершенно, что ты, что отец твой, – бормотала мама, – как это все можно оставлять, сама подумай, неужели тебе этого всего не жалко? Ты же писала про алмазную траву утром на даче, помнишь, как вы с Катей утром ловили сонных уток в пруду и несли их потом в дом кормить вчерашними рыбками, и стихи у тебя там были такие хорошие, это невозможно тяжело оставлять же, ты же такой человек, у тебя же дар, у тебя талант, может быть, вдруг ты писателем станешь, а мы все это упустим и похороним, ты нас в гроб загнать хочешь? В гроб?

На слове «гроб» Капа перестала мешать кофе ложечкой и подняла глаза. Все-таки оказалось, что такие актуальные вопросы, как гроб, ее интересуют даже в пылу возмущения маминой бесцеремонностью.

…Мама продолжала говорить. Выяснилось, что с самого утра она пытается сказать что-то важное.

Оказалось, что какие-то мамины знакомые на службе умудрились дать ей контакты людей, занимающихся пересадкой, и мама каким-то образом передала им документы Капы, и маме написали, что Капа вполне подходит и ей можно сделать пересадку.

Капа не сразу поняла, что речь о пересадке, так она была возмущена тем, как ловко, словно запуская когтистые свои ацетоновые руки в Капины разросшиеся младенческой новой тканью смерти легкие и царапая там все, что боролось и

втаскивало в себя дурацкий этот помойный воздух, мама влезла в ее текстовое святилище, ее тщательно приклеенные к изнанке столешницы синие тетради.

Про пересадку она, конечно, читала и что-то слышала. В их школе был мальчик, которому ее делали. Одноклассники, общавшиеся с ним, утверждали, что мальчик почти не изменился, только девочку свою забыл полностью – вообще не узнавал ее никогда, даже после того, как заново знакомился.

– Вы не подумали, как я после этого буду жить? – заорала она, представив, что ей придется каждый раз заново знакомиться с Максом.

– А про нас ты подумала? Как нам жить дальше?

Оказалось, что родители положили на нее всю жизнь, те же зубы, например, а она хочет все это вышвырнуть и бодрым шагом спуститься в муниципальный могильник.

…Мама бегом внесла в столовую ее детские фотографии, показывала, махала руками: вот тут, тут и тут. Давай, ну давай же, пока есть возможность, это работает только до 17 лет, даже повезло, что ты именно сейчас заболела.

Капа знала, что пересадку иногда делают богатые и очень старые люди, у которых есть деньги на это непонятное облучение из недоступной физики, но нет времени, чтобы воспользоваться результатом. Тогда они оплачивают операцию смертельно заболевшему ребенку или подростку – и могут жить дальше, и ребенок тоже живет дальше. Считалось, что лучше, если это совсем маленький ребенок – тогда обычно все соглашаются без вопросов, особенно если ребенок еще не разговаривает и толком не понятно, кто он и кем станет. Но здесь же целая жизнь, разве шестнадцать лет не жизнь?

Капа понимала, что ребенок после такой операции окончательно излечивается, живет долго-долго и не болеет, только душа там не его собственная, а того человека, который оплатил пересадку, какой-нибудь богатой вздорной старухи дряхлая опытная душа. Можно получить возможность не умереть физически – но куда девать ее личный духовный опыт? Капа была уверена, что у нее все-таки был какой-никакой опыт. Кроме секса и кокаина, разумеется. Было бы неприятно забыть обо всем

навсегда. Из груди, как поезд, наружу со свистом покатил многовагонный кипучий кашель отрицания и отказа.

– Память остается, – настаивала мама. – Я читала, мне рассказывали. Все остается, как было. Только душа *другая*. Но ты даже не заметишь, может, что она другая, душа вообще еще недостаточно изучена, просто известно, что она есть и ее можно *пересаживать*, но что именно в ней содержится, какая разница, может быть, ничего важного. Обычно никто не замечает! Ты же учишься, ты же читаешь всякое, ты писала в дневнике про единство сознания и души, помнишь? Да это фикция вообще, это разные вещи, это туда, то сюда, главное человек, вот ты наш человек и ты нам важнее всего как человек, ты наша дочь, ты наша кровь, ты эгоист, вот ты всегда была эгоист и не понимала нас!

(Капу наконец-то тихо стошнило розовой мокротой в кофейную чашечку, от фарфоровой кромки которой захотелось с бодрым хрустом откусить ломоть единственной идеально здоровой частью ее тела: какого хрена она цитирует ее дневник? Это же личное, личное, личное, вот дура же, дура, дура, ненавижу, ненавижу, умру).

– Может, и нет ничего, это все придумали, чтобы как-то оправданно все было, какая душа, где душа, нет ничего, ты сама не чувствуешь разве, – с угрюмой нежностью посмотрела на нее мама. – Все говорят, что этим богатым старухам нужна иллюзия, что они не умирают на самом деле, им так проще, ну и если душа все-таки есть, у нее потом, может, все отлично, благотворительность, перед смертью ценой всего своего состояния ребеночка спасли.

Капа знала, что те, кто заказывает пересадку, добровольно отказываются от всего, что у них есть – такая цена, всегда фиксированная и неопределенная. Потом они полностью проживают жизнь того человека, в которого была пересадка – но не имеют доступа к своей прошлой жизни: связям, работе, фондам – да и не помнят о ней ничего. Проживают еще одну жизнь совершенно никчемную, со злостью подумала она, полунищую, с этой зубной страховкой, зачем им это нужно.

– Ты все будешь помнить, – сказала мама. – Я читала буклеты, там гарантируют.

Капа снова вспомнила мальчика из школы, которому делали пересадку.

– Не все, – сказала она, – вот у нас один мальчик свою девушку забыл.

– Это он выпендривается, – сказала мама. – Я знаю его родителей, я на собрание родительское ходила. Просто девушка противная, змея липучая, достала его, вот он и придумал, что забыл.

Капа заметила, что отец где-то посередине разговора вышел из комнаты.

– Я подумаю, – сказала она, осторожно относя фарфоровую чашку в мойку.

– Ты не должна думать, – сказала мама. – Ты вообще не в том возрасте, чтобы думать. Ты должна о нас подумать: мы родили тебя, растили, мы все отдавали только тебе, ни минуты не жили для себя, и ты хочешь это все выбросить, швырнуть нам в лицо, мол, не надо, заберите? Хочешь, чтобы мы тебя хоронили? Ты думаешь вообще, как мы будем жить? Ты понимаешь, что все, что наша жизнь кончится? У тебя есть хоть какое-то к нам, не знаю, сочувствие, уважение там, не знаю, я понимаю, что ты нас ненавидишь, но какое-то человеческое сочувствие должно быть? Благодарность должна быть за все, что мы ради тебя оставили, чтобы ты нормально жила?

– …Спасибо, – сказала Капа и вышла в свою комнату. – Было очень вкусно, спасибо.

Всю ближайшую неделю мама врывалась в Капину комнату, как черный ворон (именно такой ее представляла Капа – огромный, зубастый черный и лживый ворон, сражающийся с таким же огромным беззубым белым бескостным вороном ее смерти, отвратительной, но честной и ее личной – а у нее, как она понимала, ничего личного нет и быть не может), и вещала невермором угроз и причитаний о том, что это, конечно, Капино личное право умереть, но она обязана при этом подумать и о родителях и не разрушать свое тело, которое они ей в муках и страданиях подарили, и если оно ей так не нужно и не важно, пусть кто-то другой в нем поживет, какая ей будет разница, ее все равно не будет, это как донорство, но даже благороднее. Заметив, что Капа все-таки задумывается о перерождении и прочих вещах, связанных с зыбкой текучестью неопределимого и тревожащего ее

сияющего вещества души, мама лебезила и жалко улыбалась, объясняя Капе, как ей дальше будет легко и хорошо, если она предоставит свое ненужное ей тело человеку, которому действительно надо – который готов быть шестнадцатилетней девочкой, уважать своих родителей и никогда им не перечить, учиться, думать о своем будущем и не писать эти гадости про зубы и кокаин.

– Что зубы?! – задохнулась Капа. – Что, вашу мать, про зубы, что?

– Ну ты писала в дневнике про зубы, писала же про зубы, прости, я же помню, как я могу скрывать, что я помню про зубы, что ты…

– …Господи, мама! – завыла Капа, зажимая уши жуткими своими пальцами, – ты можешь больше не говорить про это, я сейчас взорвусь, как можно это цитировать, это личное, личное, личное!

– Почему ты хотела их испортить? Или что, как – сломать? Надломить? Я не поняла, что сделать?

– Перестань! Перестань! – Капа старалась не расплакаться, – это я папе! Чтобы у него не было ощущения, что он все зря. И еще я хотела попробовать. Как это, лечить зубы. Сверлить. Не узнаю даже, как это. Ну это как секс и кокаин.

– Ты перестанешь когда-нибудь? – взвизгнула мама. – Вот пойдешь на операцию, и будет тебе потом, когда вырастешь, и секс, и кокаин! Боже, сама себе не верю, зачем я такое говорю, ты же мой ребенок, моя часть, моя жизнь?!

– Будет, – ответила Капа. – Но не мне же, понимаешь? А мне хочется, чтобы это со мной все случилось.

Ситуация накалялась. Капе становилось все хуже. В какой-то момент она, посоветовавшись с отцом, приняла решение согласиться на пересадку. Отец сказал, что побаивается этого и не может гарантировать, что будет любить ее по-прежнему, но, с другой стороны, он точно знает, что его отношения с мамой в противном случае будут безнадежно испорчены навсегда.

– Ты ее любишь? – спросила Капа.

Отец тихо кивнул.

…Капе было жалко отца. После этого разговора она безропотно согласилась делать все, что скажет мама. Перечитала свои дневники: совершенно пустые, беспомощные тексты обычного подростка. Никакой мудрости, никакого просветления, нечего и жалеть. Капа решила сжечь их перед операцией. Вдруг ее новая, мудрая душа богатой старухи будет смеяться, все это перечитывая. Этого ее несчастное юное тело не переживет, точно свалится с гипертонией или депрессией, а денег на лечение нет и не будет. Нет уж, сжечь, все сжечь.

Макс, главный и навязчивый герой Капиных дневников, ничего о серьезности ее мнимой предастмы не подозревал. Прежде холодновато-насмешливая и робкая Капа вдруг стала к нему удивительно агрессивно нежна; когда они возвращались из школы, она часто забирала у него сумку с учебниками и, надрываясь от кашля и хохоча, объявляла, что врачи *прописали* ей бессмысленную изнуряющую заботу о тех, кто может сам о себе позаботиться, Макса это пугало и смущало, но он исправно позволял Капе провожать себя до самой двери, где она огненно и искристо целовала его в нос и, хохоча, убегала вверх по улице, словно и не было этой одышки. Ну, прописали и прописали. Сейчас что только не прописывают, вот Маркусу из параллельного на полном серьезе прописали дышать котами и пришлось арендовать гипераллергенных котов в специальной клинике – чтобы Маркус что-то там из себя через бронхоспазм вытолкнул и освободился от всего, что мешает ему улыбаться (никто никогда не видел его улыбающимся). Капа улыбалась почти все время, особенно последнее время, особенно свое последнее время, которым она решила распорядиться по максимуму, кроме кокаина, зачем подставлять полную надежды старушку. Тем более, что перед пересадкой делали обязательный тест на всякие вещества.

– Вот видишь, какая ты молодец, – улыбалась мама, замечая, какой спокойной вдруг стала Капа, – и правда ведь, что тут страшного? Ты просто заснешь и проснешься здоровой. И будешь знать, что твоя душа родилась каким-то хорошим новым человеком. Это же как две жизни вместо одной. Такой подарок.

Капа уже знала, что вся ее жизнь – это какое-то бесконечное тягостное Рождество, где всюду сияют и маячат кровавыми разрывами подарки, которыми она является со всех сторон и поэтому сама ни на какие подарки рассчитывать не может, словно

ее не существует. Нечего жалеть, нечего.

Когда Капа первый раз увидела эти золотые окна, она подумала: ну вот, начинается наконец-то что-то интересное, наконец-то что-то, похожее на жизнь и судьбу.

* * *

Когда у нее взяли все анализы и подробно объяснили, как будет проходить пересадка, выяснилось, что вначале необходимо познакомиться, установить контакт. Иначе не работает, когда нет близости – важно, чтобы была.

– А как после операции-то жить, когда помнишь эту свою, гм, бабку-благодетеля? – спросила она у доктора.

– Нормально, – ответила доктор. – Мы на память про донора ставим что-то вроде защиты – доступ есть, а страдания нет. Потому что никто не должен страдать.

– А разве я не донор?! – удивилась Капа.

– Нет, ты реципиент, – объяснила доктор, – тело пересаживать наука еще не научилась.

Ну что ж, рассудила Капа, придется пару недель пересказывать всю свою никчемную жизнь выжившей из ума старухе в сияющем платиной парике, в котором, как вши, копошатся мелкие бриллианты. Тоже своего рода событие.

Капу прямо из больничного офиса, где с ней подписали увесистый кирпичный домик договоров, привели в угрюмое бесконечное строение с библиотекой на первом этаже, прошли с ней через лабиринт пестрых стеллажей, потом долго везли вверх и куда-то вбок, будто во сне, в стеклянном непрозрачном лифте.

Провели через несколько комнат, указали на дверь – там, иди, теперь сама.

Капа толкнула дверь, вошла и остолбенела.

– Здравствуйте, – сказала она. – А кто тут должен меня – то есть, не меня, а с кем мы будем – ну, это.

– Это я, очень приятно, – сказал старик и протянул Капе морщинистую желтоватую руку. – Привет. Как тебя зовут?

Капа молчала. Ей вдруг резко захотелось то ли спать, то ли заплакать.

…Старик представился и снова спросил, как ее зовут.

– Капа, – в ужасе ответила она, понимая, что ей придется вынашивать в себе, так и не ощутившей счастья сияющей женской тяжести, этого морщинистого худого старика в серебряной пижаме.

– Это индейское имя, – сказал старик, взял со стола электронную трубку и закурил, – оно обозначает что-то, связанное с бобрами. Царь-бобер, что-то такое. Твои предки – североамериканские индейцы?

Капу как током ударило.

– Да нет, – мрачно сказала она, облегченно усаживаясь на диван. – Вообще фигня на самом деле, это я одноклассникам про индейцев рассказывала. На самом деле позор какой-то. Короче, когда мама приезжала сюда в студенчестве работать на рыболовном трейлере на островах, она по дороге обратно заблудилась, они с друзьями там были, однокурсниками. Приехали почему-то к Капитолию, случайно. И мама начала прикалываться и кричать: о Капитолий, я хочу жить здесь, о подари мне паспорт и вид на жительство, я никогда не вернусь! Дочку назову в честь тебя Капитолиной, клянусь!

– И что? Подарил? – удивился старик.

– Да, мама потом в лотерею выиграла, а потом я родилась. И с папой она тогда же познакомилась, он тоже там работал, на островах. Но я про это никому не рассказываю. Идиотская история. И имя дурацкое. Может, следующее будет лучше.

– …Следующего не будет, – сказал старик. – Вообще никогда не надо думать про следующее, это вредно. Что тебе нравится читать?

Капа задумалась. Никто никогда не спрашивал у нее, что ей нравится.

Капа хорошо помнила все визиты к старику. На протяжении месяца они виделись практически каждый день – оказалось, к

старику нужно ходить, как на работу, минимум двадцать часов в неделю, чтобы все хорошо прошло. Беседы со стариком ей нравились – он что-то рассказывал про свою жизнь, что-то рассказывал про творчество и про какие-то прекрасные занятия, все это было безумно интересно и Капа вначале комплексовала, что ее собственная крошечная птичья жизнь, полная глупых рефлексий о сотнях умных книжек и цитат из каких-то песен, старику покажется никчемной и стыдной. Но он внимательно слушал, напряженно приподнимаясь над подушками (он был совсем болен и иногда не мог говорить – просто судорожно кивал и писал Капе вопросы на клочках салфеток, «как Хантер Томпсон» – это он тоже написал на салфетке, чтобы сделать ей приятно) – оказалось, что он читал в юности все книжки, которые нравились Капе и о которых ей было фактически не с кем поговорить – она пыталась, конечно, говорить о них с Максом, но ему нравилось только то, где было про бокс и мотоциклы, а не про нейрофизиологию и расставания, хотя большинство Капиных любимых книг были именно что про бокс, мотоциклы, нейрофизиологию и расставания одновременно. Дурацкий вкус, дурацкий.

– …Ничего не дурацкий, – говорил старик. – Я в твоем возрасте вообще какой-то ерундой занимался.

– Секс и кокаин? – хохотала Капа, захлебываясь от кашля.

– И это тоже, – улыбался старик и тоже захлебывался от кашля, и это было невыносимо смешно, и Капа откидывалась на подушки, чувствуя, как внутри ее головы что-то взрывается, и думала: вот она, вот она, жизнь, неужели получилось наконец-то войти в эту дверь и попробовать это все на вкус, даже не прикасаясь толком ни к чему.

– Еще я читал Рея Бредбери и Клиффорда Саймака, – сказал старик, – в промежутках между сексом и кокаином, конечно. Ну, образно говоря. Ты их читала? Или это совсем не то?

Капа читала Бредбери, когда ей было двенадцать, но ей он показался чересчур сентиментальным – читая его, она чувствовала что-то вроде стыда и неловкости. Ей показалось, что рассказать об этом старику все-таки можно.

– Почитай обязательно, – сказал старик. – У тебя же есть еще несколько недель, тебе ведь не надо ходить в школу пока что, я знаю, что тебя освободили. Там ничего стыдного сейчас. Это в

двенадцать лет стыдно. Когда умираешь, ничего не стыдно.

– Мы вообще-то в разном возрасте умираем, дядя, – хмыкнула Капа.

– …Умирают все всегда в одном возрасте: это возраст умирания, он неизменен и равен абсолютному нулю, только с обратной, возвратной стороны.

– Угу, только мы потом в разные стороны, – огрызнулась Капа.

Старик покачал головой.

– Я почему-то так не думаю.

Он составил для Капы список книг, и в промежутках между встречами, приведением в порядок своих дневников (Капа решила их переписать заново – начиная с тех самых двенадцати своих пустых, как тростник, стыдных лет) и по-прежнему огненными встречами с недоумевающим и словно замедленным (особенно по сравнению с цепким, остроумным и быстро, пусть и порой невидимо реагирующим стариком) Максом, которому Капа объяснила, что ходит в больницу на астматические ингаляции и поэтому ей пока можно прогуливать школу, но тусоваться и ходить в кино она совершенно не против. Капа читала яростно и глубоко (таблетки, которые она пила, удивительно активизировали мозг – сознание ее было ухватистым и ясным, спать ей почти не хотелось), по пять-шесть часов в день. Возвращаясь от старика, она задерживалась в библиотеке, блуждая затерянным бледным космонавтом меж зажатых скрепками стремянок стеллажей, вцепившись глазами в длинный свиток списка. Старалась много гулять пешком, несмотря на проблемы с дыханием (впрочем, после подписания контракта ей торжественно выдали пузырек таблеток и флакончик ингалятора – чтобы не было мучений, потому что *никто не должен страдать*), однажды притащила старику блокнот со своими дневниками четырнадцатилетней трагической первой любви и они вдвоем его неожиданно лихо переписали за каких-то пять часов – Капе очень понравилось; ей удалось боевое, как война роботов, и нежное, как выводок мышат, описание лесбийских постельных сцен (в реальности та девочка с крысиным блондинистым хвостиком даже за руку ее ни разу не взяла, да и так ли уж нравилась она Капе?), старик помог с парочкой подростковых бурных запоев (Капа ничего об этом не знала), которые получились абсолютно в стилистике Буковски, и отчаянными прыжками с крепчайшей чайной резинкой на тонкой исколотой ноге с небоскреба – тайком

от родителей («Стоп, стоп, сцену, где мама на меня орет, потому что вычитала это в дневнике, я напишу сама!» – торжествующе захохотала Капа). Пару раз они играли в какие-то странные компьютерные игры, где надо было выйти из темного леса, в котором ничего не происходило и не нужно было ни убивать, ни скрываться, ни даже думать – просто идти, чтобы выйти. Однажды старик пригласил ее на ужин в свой любимый ресторан – они ездили туда ночью на белом, как беззубый ворон, лимузине, и официанту старик сказал, что Капа – его внучка из Восточной Европы, хотя Капа никогда не была в Восточной Европе.

Однажды старик спросил:

– Ты можешь спеть что-нибудь?

Капа покачала головой.

– У меня отвратительный голос. Я его ненавижу. Я не буду петь, и не надо меня об этом просить. Я тогда сразу начинаю про свой голос думать, и потом говорить даже не могу.

…Старик помолчал.

– У меня вначале тоже такое было. Я до сих пор, кстати, свой голос ненавижу.

– А я могу что-нибудь взять с собой домой? – в ответ спросила Капа. – Перед операцией, на память.

Он покачал головой.

– После смерти ничего нельзя забрать с собой, такие правила, ты же знаешь.

– Все ужасно глупо устроено, – сказала Капа.

– Я с тобой полностью согласен, – сказал старик.

– Зато зубы у меня идеальные, – вздохнула Капа.

– Никогда не мог этим похвастаться, – сказал старик. – Ты круче меня во многом и у тебя столько прекрасного впереди.

– У *меня*, ха-ха, – сказала Капа, – очень смешно.

Капа почти не общалась с родителями и только огрызалась, когда мама расспрашивала ее, о чем она там со своей бабкой беседует.

– Не положено рассказывать, – выкрикивала она, убегая из дома ни свет ни заря, – и вообще, ты сама меня на это подписала! Терпи теперь!

– Стой, стой, – кричала мама вслед в синюю густоту

подъезда, – там я у тебя прочитала – ты что? – ты как это вообще? Что значит – Катя? Какая Катя, ты что? У тебя было что-то с Катей тогда? Стой!

– …Иди в жопу! – кричала Капа, прыгая по ступенькам. – Лучше Пруста, блин, почитай, больше пользы будет! У него было с Катей, у Пруста было с Катей!

Жизнь налаживалась. В какой-то момент Капа поняла, что если бы ее существование с самого начала было таким, как сейчас, она бы, наверное, даже не заболела. Иногда она задумывалась о том, как воспринимает ее старик – нравится ли она ему, насколько он искренний в своем глубоком мортальном интересе ко всему, что наполняет ее тревожную первородную пустоту – но тут же понимала, что дальше этого вопроса у нее думать не получается. Все, что было между ними, несомненно, было искренним, от души. От души, сказала Капа вслух своим насекомым кафельным голосом, чтобы понять, что некоторые слова существуют только затем, чтобы мы их никогда в жизни не произносили, чтобы случайно не выпустить из себя все, что эти слова обозначают.

За неделю до операции Капе выдали еще пару флаконов таблеток с подробным расписанием, во сколько выпивать лазурно-синие и когда глотать гигантские розово-неоновые (буду разгрызать, это же великаны какие-то, подумала Капа).

Потом доктор, которая выдавала таблетки и регулярно снимала скачущие показания с браслета, который Капа больше месяца носила на истончающемся запястье, сказала ей, что с собой можно забрать только три воспоминания.

– Куда «с собой»? – удивилась Капа.

– Тут мы ни за что не отвечаем, как повезет. Куда-нибудь.

– А какой тогда в них смысл, если даже не очень ясно, куда?

– Такие правила. Тебе разве не жалко всего? Вот родишься в следующий раз, а эти три вещи будешь помнить. Это же хорошо. И сама решишь что. Все соглашаются, все благодарят. Обычно же как – люди помнят какие-то хаотичные, случайные вещи. У тебя ведь было такое – что ты видишь что-то красивое или слышишь музыку и узнаешь ее чем-то таким, что никак не связано с твоим жизненным опытом? Когда словно током бьет – ну? И вот ты можешь выбрать себе эти разряды на потом – подумай, как здорово.

– Что угодно можно?

– Ну не совсем что угодно, – смутилась доктор, – нельзя свой адрес, свое имя, вообще любые анкетные данные; нельзя ближайших родственников или друзей – были пару раз жуткие истории, с тех пор нельзя. Тем более, что все, что забираешь с собой, отсюда стирается. Представь, ты забираешь имя, а потом живешь и не помнишь свое имя. А где-то другой человек растет и всю жизнь требует, чтобы его называли другим именем. А если он мальчик, то требует, чтобы это было женское имя. Трагедия! Два несчастных человека получается, а страдать никто не должен. Поэтому нельзя имена. Мелочь какую-то. Что-то красивое. Что-то такое, ну, часть души, понимаешь? Любимую книжку, любимый фильм. Воспоминание, как гуляла с папой в осеннем парке. Собаку любимую или кошку. У тебя была собака?

Капа покачала головой.

– …У меня зубы, – сказала она, – а событие можно? Например, как я первый раз поцеловалась с мальчиком?

– Только без имени. А так можно. Когда в следующий раз будешь жить, во время первого поцелуя, например, испытаешь что-то вроде дежавю. Это хорошая вещь, девочки твоего возраста часто такое выбирают. Еще у нас одна девочка выбрала воспоминание о том, как написала первое стихотворение. Она его потом с нуля напишет, понимаешь? А один мальчик, который песни сочинял, выбрал песни – но потом приходил к нам и жаловался, что талант пропал, ни петь не может, ни играть, не помнит даже, как аккорды на гитаре брать, его учат, а он забывает. Я ему говорю: э, милый, так ты же сам это выбрал перед операцией, а он мне: я не помню. Так потому-то и не помнишь! Короче, теперь мы подписываем договор, где никаких жалоб, если потом что-то не можешь вспомнить. Выбор есть выбор.

– Получается, я могу забрать у того человека, который получит мое тело, какие-то собственные воспоминания, и унести их с собой? – переспросила Капа. – Это нечестно по отношению к нему.

– Так трогательно, что ты об этом думаешь, – заморгала доктор, – ну вот и выбери что-то такое… безболезненное. Новый год в детском саду, костюм снежинки. Книжку, которую тебе читала мама перед сном. Любимую песню группы «Абба».

Капа три дня думала и что-то выбрала.

До этого она сходила к зубному врачу и объявила, что зуб болит просто чудовищно. Врач сделал снимок, зуб был здоров.

– Боль невыносимая, – призналась Капа, – она как электрический разряд выстреливает вот сюда, в глазницу. Я не могу. У меня страховка!

Капу усадили в кресло, сделали ей укол и удалили нерв в крепкой ее костяной семерочке.

– Такой хороший зуб, непонятно, почему там что-то не так, – удивлялся врач.

Капе в целом понравилось, но ничего экстраординарного. После того, как ей запломбировали каналы, зуб потерял чувствительность – оказалось, что во всех остальных зубах она, чувствительность, все же была; и воздушное волнение, которое она испытывала, разгрызая грецкие солоноватые орехи, было именно – чувствительность, чувствительность.

Потом она увиделась со стариком в последний раз.

– Я уже на днях должен буду лечь на вычитку, – сказал он. – Очень страшно.

– Да ладно, тебе-то чего бояться, – хмыкнула Капа, – ничего страшного.

– Это тебе нечего бояться, – возразил старик. – А я буду лежать десять дней на вычитке. Причем я эту книгу в твоем возрасте много раз читал, но это была, как бы тебе сказать. Литература. Я не думал, что это – ну, как поваренная книга, что ли. Рецепт. Ингредиенты. Правила. Щепотку не того кинешь, дернешься, кастрюльку уронишь – все, провал.

– А что за книга? – спросила Капа. – Я ее читала?

– Тебе уже не надо, ты ее уже фактически написала, – улыбнулся старик. – Мы когда весну твоего пятнадцатилетия переписывали, помнишь? Белый ворон без костей, собака с девятнадцатью зубами мудрости, первый твой опыт с ЛСД.

– Помню, – сказала Капа. – Мама прочитала и за ночь бутылку виски выдоила, хи-хи. Иногда мне кажется, что мы с тобой – великий писатель, и у нас только один великий читатель, и мы его гениально обманули.

– Мы еще и не так всех гениально обманем, – сказал старик. – Я тебе обещаю, друг.

– Я тебе не друг, – сказала Капа. – У меня нет друзей. Нам надо как-то прощаться?

Тут она поняла, что если обнимет старика или хотя бы возьмет его за руку, то впервые за эти несколько месяцев разрыдается, и тогда все, точно смерть всему.

– Да зачем прощаться, – сказал старик. – Мы ж только встретились. Списки только все сожги, что я тебе давал. Иначе у меня проблемы будут на вычитке. Все рукописное мое, что у тебя – все жги. Дневники ты своей рукой писала, это нормально, это можно.

– Вас понял, – отрапортовала Капа, швырнула в старика подушку (он мгновенно ее поймал, только слегка дернув сухой своей полупрозрачной рукой – какая отменная реакция, в очередной раз поразилась Капа) и выбежала за дверь. Запомнила только золотые окна в доме напротив, стеклянный непрозрачный лифт вниз и вправо, как во сне, и эту библиотеку, в которую, наверное, еще не раз придет, но наверх уже никогда, больше никогда.

Слишком много никогда, угрюмо подумала Капа, как только взрослые с этим вообще выживают.

…Потом она пришла домой к Максу поздно вечером с бутылкой вина и объявила, что ей необходимо лишиться девственности, потому что она боится, что скоро умрет с этим бесперспективным лечением от астмы, а умирать без такого опыта нечестно.

Макс смутился, что-то бормотал, тихо-тихо провел ее в свою комнату, чтобы не слышали родители. Они легли рядом в одежде, Капа запустила холодные руки под его зеленую даже в темноте рубашку, Макс ойкнул, словно его ударили в солнечное сплетение ледяной боксерской грушей без части человека внутри. Капа закрыла глаза и почему-то открыла их уже утром – они с Максом лежали под цветочным совершенно детским одеялом, Капа была в одних трусах.

– Черт, – сказала она. – Что за фигня. Это что-то новенькое. Что это было?

– Ты ненормальная, – сказал Макс. – Срочно уходи. Или нет, стой.

Капа быстро и браво, как солдат, оделась, спустилась вниз (к счастью, родители Макса уже уехали на работу) и побежала

домой.

– Ты где была? – спросила мама, которая все это время сидела, видимо, на кухне и сверлила взглядом дверь (Капа заметила, что дверь выглядела как-то очень *насверленно*).

– Нам нельзя говорить, где мы были, что мы делали, о чем беседовали, кого куда пересаживают, – огрызнулась Капа. – Хватит, может, уже спрашивать? Это же я все по твоему приказу делаю. Терпи, блин. Сама подписалась.

…Мама уронила голову на стол и заплакала.

Капе стало стыдно. Она подошла к маме, обняла ее за плечи.

– Мама, – сказала она, – черт, не надо этого вот, пожалуйста. Я тебя все равно люблю, ты же понимаешь. И если бы ты умирала, мне было бы еще хуже, чем тебе, ведь у меня бы даже никакой надежды не было.

– Опять ты ерунду говоришь, – сказала мама гадким голосом.

Тем не менее, Капа с ней попрощалась. О том, что это было именно прощание, ей подсказало ее полнейшее хладнокровие – ей не хотелось показательно грызть фарфоровую чашку, кровохаркать в яичницу, хлопать дверью и слушать какую-нибудь музыку на полной громкости, когда мама тихо пищит из-за двери свое мышиное «открой, я тут прочитала». Пруст, поняла Капа, это будет ее новый любимый писатель после меня. После меня, после меня. Лучше не думать об этом, что у кого там будет после меня.

Чтобы попрощаться с отцом, она поехала к нему на работу – отец все эти месяцы работал допоздна и возвращался домой, виновато щелкая дверью, когда Капа уже спала или читала, запершись в своей комнате.

– Давай я хотя бы тебя обниму, ну, – смущенно предложила она.

– Не надо, мне тяжело, – сказал отец. – Ты меня простишь когда-нибудь? Можно не сейчас. Потом. Когда вообще забудешь, что я существовал.

– А я зуб на днях вылечила, – сказала Капа. – Воспалился нерв, представляешь? Теперь все тип-топ. Очень классно.

– Когда у тебя? – безразличным голосом спросил отец.

– Послезавтра, – ответила Капа. – Ты меня потом встретишь?

– Не знаю, мне тяжело, – сказал отец. – Ты меня точно

простишь?

Капа пожала плечами.

– Да мне и не за что особо. Все хорошо.

Вышла из кабинета, закрыла дверь. Ближайшие двое суток отец не ночевал дома.

Капа тоже эти двое суток кое-что делала. Точно помнила, что сделала дома генеральную уборку, пересортировала дневники, а старые – ненужные – вместе со списками сожгла в мусорном баке через два квартала посреди ночи, высиживая в засаде за кустами на случай, если примчит полиция.

Через два дня Капа, собрав себе в путь-дорожку (она старалась относиться ко всему цинично) молочно-белый пакет с чистым бельем и недочитанной книжкой Сэмюэля Дилэни, поехала в клинику (провожать ее было нельзя, все держалось в строгой тайне). Там с нее сняли уже ставший родным черный браслет с датчиками, заставили подписать еще пару бледных, уплывающих уже куда-то вдаль, как прозрачные лодки, бумаг, и провели в палату с золотым сияющим кафелем и двумя кушетками, одна из которых была отгорожена ширмой.

– …Он там? – спросила Капа, пока к ней подсоединяли полуневидимые паутинки проводов.

Из-за ширмы что-то утробно гудело, будто бы там отчаянно настраивают испорченный инопланетный радиоприемник.

– Еще с пятницы, – ответила доктор, – а ты тут будешь три дня еще. У него вычитка, у тебя чистка. Когда проснешься, будешь абсолютно здорова – ни кашля, ничего, совершенно новые легкие, все ткани в идеальном состоянии. Это единственное, что может напугать – ты уже забыла, наверное, как дышать нормально. Остальное будет, как обычно. Воспоминания, которые забираешь, – вычистятся, но ты будешь помнить, где именно вычищено. Никаких похорон, ничего не будет – его просто утилизируют. Подходить нельзя, трогать нельзя, вставать нельзя. Будешь слушать, пока не заснешь.

На голову Капы вдруг надели огромные черные карбоновые наушники, теплые и холодные одновременно. В наушниках что-то клокотало, как будто радиоприемник наконец-то настроили, но на ту волну, по которой передают исключительно эмоции по поводу предшествующей настройке панической невозможности

эту волну поймать. Капа закрыла глаза и подумала: ну, вот и все.

* * *

Открыв глаза, она удивилась, что действительно все помнит. Ничего не менялось и не изменилось, чужие годы, напротив, пустые, золотые и сияющие, и книжку Дилэни надо дочитать с одиннадцатой главы – откуда она это знает, если бы она не была она? Впрочем, это не было похоже на пробуждение ото сна – наоборот, Капа чувствовала себя так, словно до этого момента не спала никогда. Ширмы уже не было, соседняя кушетка была пустой, из окон напротив лилось жидкое солнечное золото.

– Я все помню, – снова сказала она вслух, и ей показалось, что по кафелю чиркнул мерзким коленом очередной богомол, и ничего не изменилось.

Неужели не сработало, подумала она. Капа не чувствовала изменений – кроме странного и непривычного нового состояния воздуха, который яростно продолжал проталкиваться внутрь ее просторных, как еще не заполненная книгами библиотека, новых легких.

Скрипнула дверь.
– Проснулась? – спросила доктор.
– Я и не спала вообще.

– О, все получилось, – обрадовалась доктор. – Если это не похоже на то, как просыпаешься – значит, все хорошо. Как ты себя чувствуешь?

– Отлично, – сказала Капа. – Долго мне тут еще лежать?

– Можно уже домой, – сказала доктор, – мы все анализы уже сделали. Ты помнишь, как тебя зовут, где живешь, как зовут родителей?
…Капа кивнула.
– А старик? – спросила она.
– В смысле – старик? – удивилась доктор.

Капа поднялась, попросила проводить ее в туалет. Уставилась в зеркало и остолбенела.
– Это еще что? – заорала она.

Доктор ворвалась в ванную комнату, посмотрела на Капу удивленно.

– В смысле – что?

* * *

Дома все было на удивление нормально. Родители слегка побаивались Капу – вероятно, ожидали неких значительных изменений, которых не последовало; впрочем, именно об этом всех изначально предупреждали. Мама стала относиться к Капе намного теплее и больше ни словом не вспоминала ее дневники – кажется, окончательно уверовала в то, что это некий сложный литературный проект имени ее самой, и эта вера наполнила ее тихой благодарностью: выходит, Капа ее и правда по-своему любила. Отец сторонился Капы, почти не смотрел ей в глаза, но домой возвращался вовремя и часами сидел с мамой с гостиной, послушно и преданно разделяя с ней просмотр ее глупых детективных сериалов. Капа смотрела на них, по вечерам прокрадываясь в свою комнату с пачкой книг из библиотеки, и думала: бесит, бесит, бесит. Ужас, ужас, ужас. Ничего не изменилось, все та же подростковая злоба.

Макс Капу немного побаивался. В какой-то момент Капа не выдержала и зажала его около шкафчиков в школьном коридоре.

– Давай выкладывай, что не так, – потребовала она, – Чем я тебя обидела? Я тебе не нравлюсь уже?

– Нравишься, – замялся Макс. – Просто то, что ты тогда ночью устроила – мне, короче, слегка неловко после этого.

– Что я устроила? – удивилась Капа.

– Но мы можем повторить, – сказал Макс.

– Дебил, – сказала Капа.

Ей стало обидно и невыносимо жаль – но почему жаль, она не понимала.

– Еще я не понимаю, зачем ты сделала это со своим лицом, – сказал Макс. – Что это значит?

– Я не знаю, – сказала Капа.

– Тебя, пока лечили, таблетками закормили, да?

– Да, – сказала Капа. – Но я вспомню, не проблема. И вообще, красиво же. Подумаешь, лицо. Не на жопе было же это делать.

– Ненормальная, – сказал Макс.

Капа старалась не вспоминать про старика и про болезнь – воспоминания об этом пусть и находились в полной боеготовности (она опасалась, что с ними – такими ценными и самыми важными в ее жизни – случится непоправимость исчезновения, и периодически проверяла их, как, должно быть, старушки проверяют вечный и незыблемый фамильный сервиз своей идентичности в невидимом хрустальном серванте грядущего небытия), но быстро поблекли и перестали быть фоновыми и определяющими – что, безусловно, ее радовало, потому что потенциальная травма сосуществования с памятью об этих вещах тревожила ее больше всего. Она перечитывала свои дневники и хохотала. Она попробовала переспать с Максом – и ей не понравилось («В первый раз ты говорила совсем другое!» – возмутился он, а она подумала: да ладно, это же и был первый раз, разве нет?). Она попросила отца купить ей мотоцикл к семнадцатилетию, перестав оплачивать эту бесполезную зубную страховку – и у них как-то наладилось общение, пока они смущенно болтали о мотоциклах – отец в юности объехал на «Харлее» весь континент, а Капа читала много книжек про дзен, мотоциклы, нейрофизиологию и *что-то еще.*

Через две недели после этого золотого утра, когда Капа кралась мимо гостиной с ночной порцией очередных книг, она услышала какую-то очень знакомую, но совершенно не знакомую песню.

– Что это? – остолбенела она.

– Это фильм, – сказала мама.

– Что это звучит? – закричала Капа. – Саундтрек, блин, это что, блин?

– Ты в порядке? – спросила мама.

Капа помчалась в свою комнату, рухнула на пол и ощутила, как из ее глаз, горла и носа хлынула какая-то космическая соленая жидкость, заполняющая ее защитный золотой скафандр мгновенно и целиком – отчаянно и неостановимо, как землетрясение.

…Капа рыдала до утра, пока ее не нашел, привлеченный необычными звуками, отец и не притащил ей стакан виски с накапанным туда полпузырьком валерианы.

– Я ничего не помню, – глухо сказала Капа, выпив стакан залпом.

Это было второе воспоминание.

И именно тогда она поняла, что делать с третьим. Это напоминало ей дурацкий мамин детективный сериал, на разгадку которого у нее – и у кого-то другого – была теперь целая жизнь. Эта странная, необъяснимая татуировка на лице, на которую все реагировали с примерно одинаковым ледяным ужасом, была третьим воспоминанием – все обстоятельства того, когда и в связи с чем Капа ее сделала накануне операции, были ей недоступны – но не так, как, допустим, недоступны книги в закрытой наглухо комнате, а, скорей, как недоступны вырванные из прочно зажатой в руках книги самые важные страницы.

– Папа, принеси еще виски, – попросила она. Отец вышел и пришел с целой бутылкой и стаканом для себя.

– Мне кажется, что он меня обманул, – пожаловалась Капа. – Что все это неправда, что не было никакой пересадки. Что он просто забрал три моих воспоминания и ушел с ними. Мне ужасно его не хватает теперь.

– Кого? – растерянно спросил отец.

– …Я не помню имени, – сказала Капа. – Поэтому и думаю, что он ускользнул именно с ним, как вор. Но это несправедливо. Мне больно. А ведь никто не должен страдать.

– Всем больно, – сказал отец и наполнил оба стакана до краев. – Это жизнь. Нормально. И не такая уж и страшная эта штука со стрелками, я уже почти привык. Хотя она совершенно ни на что не похожа – поэтому страшная как смерть.

Ничего, подумала Капа, рано или поздно все выяснится. Тот, кто узнает эту татуировку через много лет – он ей и объяснит, что произошло на самом деле, почему она ее сделала, кто куда ушел, кто куда пришел и кто она теперь. Почему она не догадалась сразу? Сама бы она, конечно, не додумалась до такого; во всем этом зияла провалом и пустотой грядущая неведомая ясность.

Отец допил виски и, немного пошатываясь, ушел на работу:

было семь утра.

Капа доползла до кровати и залезла под одеяло прямо в одежде. Стены слабо качались, будто пели ей тектоническую вибрирующую колыбельную. В ее животе перекатывалась, как колбочка с водой, какая-то тихая музыка. Ничего не болело, жизнь разворачивалась впереди гладкой влажной ледяной полосой, как свежезалитый каток. Мир казался огромным и непостижимым и кто-то новенький из семи миллиардов человечества в режиме хаоса и случайности хранил главную ее тайну. Капа подумала, что если в ближайшие десять-пятнадцать лет она не станет известной на весь мир и ее лицо не будет улыбаться этими крепкими чувствительными (всеми, кроме одного) зубами со всех бигбордов планеты – она ничего не выяснит про третье воспоминание – и ей, к сожалению, больше ничего не остается. Что ж, теперь у нее появилась цель в жизни, и в этой цели не было ровно никакого тщеславия – человек имеет право на абсолютно любой сценарий своей судьбы во имя того, чтобы рано или поздно его узнал кто-то *тот самый*. «Именно с рассказа про эту историю с татуировкой я и буду начинать свои интервью», – удовлетворенно подумала она перед тем, как наконец-то по-настоящему заснуть.

Константин Наумов
Моя женатая женщина

То, что навсегда привязало меня к ней, – округленный рот, напряженные губы в самый первый момент. Я ждал каждый раз, чтобы случалось это волшебство, – когда, лицом к лицу с ней, в

полном согласии с движением где-то внизу моего члена, широко открытый рот округляется, напрягаются под кожей мимические мышцы, тянутся вперед губы – как будто стараясь достать поверхность воды. Иногда я двигался медленно, иногда быстрее – только чтобы видеть, как точно, как верно она отвечает моим движениям. Это самое удивительное, что я видел в жизни. И самое прекрасное. Это как смотреть на море.

Мы знаем друг друга вечность – с детских игр на спортивной площадке. Она вышла замуж, как-то очень неожиданно и рано, на первых курсах, это было странно. Потом мы долго не виделись, случайно встретившись, ночь бродили по городу, сидели в кафе – она говорила, я слушал. Большое счастье встретить старого друга через много лет: ему можно рассказать совершенно все – до самого дна, как никому другому. Он знает тебя вечность, не видел полвечности, зато – видел тебя в детских трусах и без них тоже, потому что вам было по три года. С ним можно быть собой, как ни с кем другим. С того разговора она и стала «женатой женщиной», оговорившись: «я на нем жената». Мы не виделись лет десять и не увиделись бы еще столько же, если бы не заварочный чайник. Ей нужно было непременно промыть нос – после прокуренных кафе, после бессонной ночи, всех слов, что она выплеснула из себя. Ничего особенного, никаких страшных тайн – у всех есть счастья и несчастья. Умыться и промыть нос из заварочного чайника – и мы пошли ко мне домой.

Она закрыла глаза сразу, как только я обнял ее на кухне. Закрыла и не открывала до самого конца – мне пришлось вести ее на кушетку, как в танце: обходя стойку и табуретки. Она дала себя раздеть, дала сделать вообще все, что мне хотелось, и был тот момент, когда ее губы потянулись вперед вместе с моим первым движением. Я не сразу понял, что это – навсегда, что я не смогу жить без этих губ, без этого жеста.

В остальном, откровенно говоря, секс с моей женатой женщиной был пресен. Не открывая глаз, она двигалась вместе со мной, но это никогда не продолжалось слишком долго. В какой-то момент она просто переставала мне отвечать, зажмуривала глаза сильнее, и я останавливался. И мы никогда не меняли позу – с того первого дня, с первого раза на кухонной кушетке. Кроме секса нас связывало взаимное раздражение. Ее все выводило из себя. Мои рубашки, моя квартира, мой парфюм. Ее муж, ее ребенок, ее машина. Люди, воздух, телефоны, свет слишком яркий и свет слишком интимный. Я ненавижу зануд, не понимал

и не понимаю, как вообще можно жить, когда раздражение – это реакция по умолчанию на все, что случается в мире. Мы ни разу не орали друг на друга. Ни разу не поссорились, однако раздражение возникало еще до того, как она брала трубку. Раздраженные гудки, и раздражение звучало в ее «алло» – должно быть, я всегда звонил не вовремя. Или сигнал телефона всегда был слишком громкий. Или муж слушал, с кем она говорит. Я открывал дверь, но она медлила входить, не скрывая того, как раздражает ее мой шейный платок, как долго я шел к двери, как ее видят мои соседи.

Потом она уехала. Они уехали, наверное, будет правильно. Мне незачем было писать или звонить. Без возможности обнять, чувствуя всем телом ее раздражение, чувствуя, что она думает только о том, что времени совсем мало, а я копаюсь, без того, чтобы видеть движение ее губ – зачем?

Она позвонила сама – я не знал, что она живет в этом городе. Не знал даже, что она живет в этой стране. Позвонила в отель, потому что я вывесил фотографию его уродливой вывески – я не знал, что она читает мой блог. Она спросила: «Не хочешь приехать?» Прошло лет пятнадцать, никак не меньше. Я не знал зачем. Но я, конечно, помнил, как она тянула губы, будто хотела сделать глоток.

Она жила в нижней квартире небольшого домика. Они жили, наверное, будет правильно. Рядом с домом – джип, на стикере – инвалидная коляска. Не знаю, что случилось с дочкой – может быть, она была у бабушки. Дверь открывалась на кухню, женатая женщина провела меня к столу. Очень плохо пахло: застоявшийся запах болезни, безвыходной беды. Мы пили чай, то есть чай стоял на столе, она говорила, я слушал. Это большое счастье – встретить старого друга, которому можно рассказать совершенно все. Она говорила, а я смотрел, как движутся ее губы, и думал о том, что у нее удивительно большой рот – как я раньше мог это не заметить. Она говорила и говорила, и прерывалась, потому что ее раздражало, как я мешаю чай, выговаривала мне и снова говорила, и снова была эта удивительная близость между нами. Потом зазвонил детский монитор, и она ушла в открытую дверь, в глубину дома.

Я встал и сделал несколько шагов – довольно большая кухня. Окно над кушеткой, очевидно выходившее на стоянку рядом с домом, было почему-то закрашено черной краской – удивительно

глубокий черный цвет. Я подумал: какая-то специальная пленка и наклонился рассмотреть. Это была не пленка. Просто там, куда выходило окно, стояла глубокая ночь. Лунная, так что был виден склон, убегающий вниз, огни какой-то деревушки, а за ними – отблески на воде. Море. Я смотрел из окна и пытался понять, где это. Как сориентироваться, я так и не сообразил и придумал для себя, что это Атласские горы. Я услышал раздраженный крик моей женатой женщины – раз, другой, третий, и только тогда понял, что это – мне.

Муж был совершенно голый и лысый. Из уголка рта стекала слюна, рядом с кроватью – стойка с монитором и кислород. Мужа надо было вести в туалет. Вернее – тащить в туалет. Он был тяжелый, но ничем не пах, как бумага. Тяжелый, горячий, а кожа двигалась отдельно от тела, будто его завернули как попало. Нужно было тащить его быстро – он позвал ее, потому что хотел какать. В его постели было все, что нужно, но очень важно было довести его до унитаза, раз он сам это понял – так случалось все реже и реже. И я тащил этот мешок, а она орала на меня почти в голос, потому что я все делал не так. Под ее крик я чуть не уронил мужа моей женатой женщины.

Потом он долго сидел на специальном, с бортиками и ручками унитазе, громко пукая без особого толку. Я смотрел на это и думал, что вижу его в первый раз. Муж сидел так, как я его посадил: неловко, свесив плечи на одну сторону, глядя прямо перед собой. Я нагнулся, чтобы взглянуть ему в глаза – в них была ненависть. Страшная, безвыходная ненависть, обращенная в мир. Может быть он не хотел в туалет, и мы совершенно зря мучили его? Может быть – узнал меня, и теперь, сквозь мутное стекло своей болезни, видел, как я бесцеремонно рассматриваю его сморщенный обрезанный член? А может быть – он просто устал или у него что-то болело? Может быть он хотел умереть? Я не знаю. Мне хотелось уйти. Женатая женщина стояла в дверном проеме. Оттолкнуть я не решился, потом муж наконец закончил, она стала мыть ему зад, а мне нужно было его держать, так что сбежать стало невозможно. Потом я тащил его назад. Мы уложили мужа в постель, и я сразу пошел сквозь пропахшие комнаты – к выходу. Я думал: как странно – он источник всей этой вони, а сам пахнет бумагой.

На кухне я встал у непрозрачного окна, неряшливо закрашенного черной масляной краской, и принялся ждать. Бесконечно долгое ожидание, но она вернулась, она подошла ко

мне вплотную, и я обхватил ее руками. Моя женатая женщина не стала закрывать глаза, но резко, удивительно сильно толкнула меня – бедром об угол плиты – ужасно больно. Я шипел от боли, и я тер мышцу, и я смотрел на нее сквозь выступившие слезы, и в ее взгляде была та же безвыходная ненависть и то же бешенство, что в глазах ее мужа.

Два года и три месяца я жил потом в Марокко – фотографировал, болел гепатитом, бродил по горам которые видел в окно. На горной дороге небольшой фургон, обгонявший фуру по встречной полосе, ударил мой джип прямо в лоб. Так что я никогда больше не встретил мужа моей женатой женщины, ее дочь или ее саму.

Анна Лихтикман
Тюльпанная грусть

«Наш дядя самых честных правил. И нечестных правил тоже», – шутил мой папа. Наш троюродный дядя, Нир Порталь, и в самом деле правил всех, он был литературным редактором.

Мы тогда и думать не думали, что придется жить с Ниром

под одной крышей, но папа внезапно оказался без работы, мы едва сводили концы с концами, и вот вдруг что-то наметилось но далеко от нас – в Хайфе. Первые недели отцу было непонятно, стоит ли там оставаться; платили плохо. Папа уставал от ежедневных поездок в такую даль. Он припарковывал машину у пляжа и ночевал прямо в ней. «Это форменное безобразие! – постановила наша старая тетка Генриэтта, – там же дом Порталя в двух шагах! Пусть поживут у него, хотя бы пару месяцев». До сих пор не пойму, почему Нир Порталь, ужасный Нир, Нир-сукин сын, согласился на время поселить нас у себя за символическую плату.

Наше проживание в доме Нира Порталя началось с позора. Мы приехали в сумерках, дом Нира нашли, ориентируясь на запах – теплую вонь курятника. Но потом оказалось, что мы переоценили росказни родственников о «зеленых причудах» дяди. Органические яйца он покупал на ферме у соседа (там-то и был курятник) а сам никаких животных не держал. Зачем нужны животные, если зовешь по имени каждую былинку в своем саду?

Нир встретил нас с недоуменной растерянностью мизантропа, сознающего, что внезапно почему-то делает доброе дело. Он явно был смущен и то и дело почесывал щеку, обозначенную квадратной скобкой бородки. Он отпер для нас несколько дверей, продемонстрировал чудо включения лампочки в спальне, поскреб подбородок, почесал где-то за лопаткой… Побрел на свою половину и принес оттуда жуткий ночник, изображающий спящую под фонарем собаку, постоял, опершись на косяк, и удалился.

– А где туалет-то? – спросила вдруг мама.

Мы похолодели. Вспомнились какие-то шутки родственников про чудесный «русский туалет» Нира, содержимым которого он регулярно удобряет розы. Родители похоже хорошо знали, о чем речь, но мы с Михой никак не могли себе это представить. Лично у меня перед глазами возникал только висящий над пропастью унитаз.

Дощатая кабинка стояла в конце двора, сплошь усыпанном мелкими, как опилки, сухими лепестками. Мы открыли дверь и ничего не увидели, кроме сгущенной тьмы.

– Так можно провалиться в дырку, – сказала мама.

– Я боюсь, – сказал Миха.

– Утром спросим, как и что, – сказал папа.

Утром на ковре из лепестков явственно просматривались четыре темных круга, словно там приземлились четыре летающие тарелки. К тому же при свете дня двор словно развернулся, как, бывает, поворачивается театральная сцена, и то, что мы считали

дальним краем сада, оказалось наоборот – передней частью, примыкающей к фасаду. Мы готовы были со стыда сгореть, тем более, что самый обыкновенный новенький туалет обнаружился в нашей же пристройке, под лестницей, а строение, которое мы ночью приняли за экзотический русский сортир было обыкновенным сарайчиком для садового инвентаря.

Мы были инопланетянами, что приземлились в саду Нира, а он в своем великодушии не изгнал нас немедленно, как мог бы. Так что мы старались не маячить лишний раз у него перед глазами. По утрам папа уходил на работу, мама тоже уходила; нашла неподалеку старушку, которой помогала по хозяйству. Мы с Михой прожигали свои каникулы в безделье и неге. Ясное дело, что с деньгами у нас в этом году совсем туго, так что летние лагеря нам не светили. С родителями установилось джентльменское соглашение. Мы не попрекали их отсутствием развлечений, они делали вид, что не замечают, сколько времени мы проводим у телевизора и за компьютером. Мне это было особенно ценно, потому что вот уже полгода я изощренно всех обманывала. Я открывала свою страничку в фейсбуке, где предварительно провела селекцию среди друзей, оставив лишь тех, кто поприличней выглядят (поменьше татуировок и пирсинга). Я двигала окно браузера так, чтобы глаза бросались именно их фотографии, эти светлые лики. Я знала, что школьный психолог наверняка говорил родителям: «В вашем случае социальные сети не зло, а благо. Девочке необходимо отрабатывать навыки общения». Под голубыми знаменами этой бутафорской фейсбучной дружбы я устанавливала окно Ворда, где писала все, о чем хотела. Это было самое настоящее окно, куда, мне казалось, как в разбитый иллюминатор, выдувало, вытягивало меня и все, что было моим; за спиной оставалась совершенно пустая комната – голые стены.

Сейчас можно было не прятаться. Родители уходили, Миха в пижаме уже сидел у телика. Я вскакивала с постели, и ступала прямо по намазанным ровным слоем сливочным прямоугольникам света на полу – идеальный утренний бутерброд, каждый день падающий маслом вверх! Мы завтракали ближе к полудню. Заливали молоком хлопья и садились на ступеньки нашей пристройки. Приблизительно в это время звякала щеколда калитки, и на садовой дорожке появлялся кто-нибудь из «людей Порталя» – как называли их родители.

Всех их, «людей Порталя», что-то объединяло между собой. Они были словно присыпаны нежнейшей сизоватой пылью. Уверена, окажись кто-нибудь из них на людной улице, это выглядело бы так, словно человек вырезан из какого-то другого

изображения и вклеен в улицу, как вклеивают фотографии в коллаж. Такова была и Матильда Вах. Удивительная, не похожая ни на кого. Ангел увядания сидел на ее плече, когда она впервые возникла в проеме калитки. Несомненно, это он, лукавый ангел увядания, нашептал ей, что черная бархатная шапочка расшитая бисером очень даже ей пойдет, что бриджи вовсе не вышли из моды, а яркие полосатые гетры приятно разнообразят ее наряд. Закутанная в свою шелковую шаль, она напоминала черную цаплю на тонких полосатых ногах. В кожаной торбе лежала рукопись, в этом не было сомнения. Я гадала, как она называется. Повесть это или роман?

С Матильдой Вах Нир Порталь просиживал иногда по целому дню. Такие дни он называл «мои Ваханалии». Мы с Михой любили издали наблюдать эти Ваханалии. Нир и Матильда садились за огромный стол под старым эвкалиптом. В руках у каждого были распечатанные листы. Издали, на фоне сияющей на просвет зелени, эта композиция из двух фигур выглядела как черная симметричная клякса Роршаха. «Что вы видите в этом пятне?» – «Я вижу двоих, которые никогда не станут единым целым». Нир сидел, ссутулившись, скрестив под столом свои волосатые ноги и вывернув подошвы. «Утро окунуло плечи Рины в розовую взвесь», – читал он и взглядывал на Матильду, словно чего-то ожидая и давая ей последнюю возможность отречься от своих слов. Но раскаяния не было – Матильда молчала. «Как утро ее окунало? Вниз головой?» – спрашивал Нир. Слова, и фразы, и целые абзацы пролетали над столом туда и обратно. Мне казалось, что работать было бы легче, сядь они поближе, но расстояние здесь видимо было чем-то вроде рабочего инструмента, таким же, как красная ручка Нира или детская покусанная линеечка из желтого пластика, которой он с маниакальной старательностью отчеркивал что-то на листах. Расстояние было испытанием для каждой фразы. Лишь немногие пролетали его до конца.

«Вот здесь, в начале абзаца у вас: “Уехал, ничего не сказав”. Кому не сказав?» – спрашивал Нир Порталь, и секунду смотрел прямо на Матильду. «Кому…», – растерянно повторяла Матильда Вах и торопливо записывала что-то на полях.

«Кому?», «Почему?», «Когда?», «С кем?» – каждый вопрос сопровождался внимательным и даже каким-то любопытным взглядом Нира. И Матильда смущалась, опускала глаза, начинала копошиться в своих листках. Пока она суетилась, Нир молча ждал. Он прихлопывал комара у себя на плече либо озабоченно рассматривал свой пупок и выуживал оттуда какую-то былинку. Но вот наконец они переходили к следующему абзацу и снова

вопросы: где? когда?

А вдруг Матильда и пишет-то лишь ради этих вот коротких вопросов? – думала я. – Нарочно посылает своих героев в этот зыбкий туман неопределенности, забрасывает их, как забрасывают невезучий десант, куда попало, только для того чтобы увидеть в глазах Нира проблеск любопытства? Слова перелетали через стол, стопки листков, которые лежали перед каждым из них постепенно раскрывались веером, расползались, образуя два белых острова. Старый эвкалипт уютно поскрипывал. «Так, так, так – говорил Нир, вновь собирая листы и постукивая ими по столу. – Так, так, так… Сколько здесь будет знаков?» Потом Матильда передавала Ниру конверт с деньгами и уходила, оставляя на садовой дорожке запах своих духов «Палома Пикассо» – горячий ветер из-под черных крыльев. После ее ухода Нир долго еще курил на террасе. Как-то демонстративно он это делал, нарочито. «Выкуривает ее», – говорил Миха. Похоже, он был прав.

Я старалась не пропустить ни одного прихода Матильды Вах. Почему-то мне казалось, что вот-вот что-то произойдет там, под старым эвкалиптовым деревом. Не верилось, что они просто так вычитают всю рукопись и этим все кончится. Мне представлялось, что Матильда посылает в сторону Нира нескончаемые отряды слов. Они не шагали устрашающим строем, но продвигались вперед буднично, как пехота по проселочной дороге. На секунду мне представились все книги, виденные мной в жизни. Вспомнились пыльные собрания сочинений с пестрыми, как перепелиные яйца форзацами и пожелтевшие брошюрки, распадающиеся надвое, как мертвая моль. А что, если в каждой из книг есть такое послание? В одних – дремлющая терракотовая армия, готовая ринуться в атаку, в других – лишь слабый одинокий зов, но и те и другие написаны лишь для одного-единственного читателя, который возможно, так никогда их и не открыл.

Как-то вечером я вышла во двор и увидела, что за столом под эвкалиптом сидит Нир, а рядом наш папа. Тут же стояла бутылка арака.

«Почему же ты этим занимаешься? – спрашивал отец. – Если это все так тебе противно, все эти бездарные тексты… Зачем тебе в них ковыряться? Почему сам не пишешь?» – «Потому что я ненавижу слова, – отвечал Нир. – Каждое состоит из одной-единственной буквы. Наш чертов алфавит состоит из единственной буквы. И знаешь, что это за буква? “Я-я-я-я-я-я-я”», – вдруг заблеял Порталь. Он причитал на разные голоса, он пел… – «Йа-йа-йа», – он ржал как осел. «Я, я, я», – он кукарекал и

кудахтал. Внезапно он прекратил, допил свой стакан и сказал тихим голосом абсолютно трезвого человека: «Я превращаю дерьмовые слова в что-то настоящее. Вот видишь эту аллею? Она называется “Лунная дорога Коломбины”. Говно роман, но старушка очень аккуратная, платила вовремя. А вон те кусты видишь? Это “Шатры страсти” – пятьсот тысяч знаков. Накатала одна адвокатша, пока у нее срасталась лодыжка, сломанная в Альпах. Железная женщина, дай ей Бог здоровья. А вот здесь, под деревом, можно сделать веранду. “Тюльпанная грусть” – отличное название для имения. Люблю писательниц».

Я тихонько пробралась с лэптопом на темную кухню, и открыла свой файл с записями. Это были воспоминания, мысли, приходившие мне в голову, непричесанные разрозненные впечатления. Все мои слова состоят из одной-единственной буквы, в этом Нир прав; у кого хватит терпения такое читать? Я вдруг поняла, что не напишу больше ни слова, если не найду этого человека, того, кто это все прочтет.

«С кем все это происходит?» – прозвучал у меня в ушах строгий голос Нира. Я рассердилась и написала с кем. «Где происходит?» «Когда?» «Почему?» Да какое он право имеет так разговаривать? Злость меня здорово взбодрила. Где? В доме на дереве, вот где! Двое мальчишек построили домик на старом эвкалипте. Они там играют, придумывают супергероя, потом они встречаются через много лет и выясняется… Я писала всю ночь и к утру рассказала обо всем, что там произошло, попутно ответив на вопросы мнимого Нира. Оказалось, я умею врать! Послышались голоса первых птиц; спать не хотелось. В голове было странное чувство, словно заработал какой-то механизм, спрятанный где-то в дальней комнатке мозга. Неужели у меня получился рассказ? Я стала вспоминать все читанные когда-то рассказы и сравнивать со своим. Совершенно непонятно, хороший он или плохой. Я кинулась к принтеру. Вот теперь все и выяснится! Распечатаю – и будет легче сравнить с какой-нибудь книжкой. Я перечитала его еще раз. Мне все еще не было ясно, хорош ли он, но несомненно было другое: я держала в руках новую, раньше никогда не существовавшую вещь, сделанную из того, чего у меня никогда не было и не будет. Мне показалось, что я чувствую объем этой вещи, ее вес. Это не имело отношения к листкам у меня в руках. Это был небольшой, вдвое меньше нашей маленькой спальни, куб воздуха. Он имел четкие очертания и не собирался рассеиваться или растворяться.

Едва успела собрать теплые еще листы, как кто-то постучал в калитку. Я вышла во двор; на пороге стояла Матильда. Она казалась усталой, опиралась на забор, словно неслась к нашей

калитке наперегонки с кем-то еще, прибежала первая, и теперь спешит коснуться калитки ладонью.

«Я не буду заходить, мы не назначали на сегодня с Ниром. Меня в машине муж ждет», – говорила Матильда не поднимая глаз, и роясь в сумке. Она вытащила рукопись: «Вот, передай ему пожалуйста. Скажи, это новая глава для правки». Внезапно, сумка упала, и из нее высыпались жалкие женские предметики: пудреница, пинцет, затупленный карандаш… Я помогала ей собирать вещи, держала эту ее торбочку на вытянутых руках, словно кошку, ощущая особый запах, исходящий изнутри, – запах затаенного женского несчастья. Я взяла у нее пластиковую папку; впервые я держала в руках рукопись. Пока я шла по садовой дорожке к дому, успела прочесть несколько стихотворных строчек, помещенных в начало главы:

В тиши увядают тюльпаны,
а я увяданья боюсь
Прозрачные тени каштанов
ласкают тюльпанную грусть

Матильда использовала тот же шрифт, что и я – «Колибри». Как вела бы себя я на ее месте? Хватило бы у меня духу отсылать послание за посланием и не получать ответа?

Когда за калиткой послышался звук отъезжающей машины, из дома выглянул сонный Нир. Я протянула ему рукопись. Свои листки я секундой раньше сунула туда же, в папку.

С наших ступенек хорошо просматривался его рабочий стол под эвкалиптом. Делая вид, что поглощена общением с айфоном, я пыталась не пропустить момент, когда он займется рукописью. До завтра Нир постарается обязательно прочесть текст, чтобы задавать Матильде свои строгие вопросы. Но, несмотря на позднее утро, Нир не спешил приниматься за работу. Вначале он долго пил кофе и тихо чертыхался, вылавливая оттуда упавшие в кружку эвкалиптовые семена. Потом он курил, потом развесил на веревке свое холостяцкое бельишко. Наша рукопись лежала на столе. Я ждала. Вот он принес еще одну чашку кофе, уселся наконец за стол, посмотрел на папку… Звонок! «Ляля, что же ты не приходишь за Михой, мы уже на работу опаздываем!» Как я могла забыть! Недавно брат познакомился с соседским мальчиком, и вчера Миха остался ночевать у своего нового приятеля. Я побежала со всех ног туда, на другой конец деревни. Может быть, Нир еще помедлит с работой. Выпьет еще чашку кофе, выкурит сигарету-другую… Может быть, вернувшись, я увижу как он открывает папку, хмурится, вчитывается,

перечитывает второй раз…

Миха не желал уходить домой, не допив какао, не желал идти по улице в пижаме, пришлось ждать, пока он оденется. Уже на полпути мы вспомнили, что забыли в соседском дворе его самокат. Пришлось возвращаться, объяснять соседской собаке, что самокат наш, целоваться с этой внезапно подобревшей собакой, утешать ее, чтобы не скучала, долго прощаться, чтобы не обижалась, а отойдя от дома, еще несколько раз останавливаться и махать ей рукой. Наконец мы свернули на нашу улицу.

Возле дома Нира стояла скорая, полиция и горстка соседей. Санитары заносили во двор большие носилки. «Ветка, это еще ладно, если бы ветка, – говорил какой-то дядька – А вы видели ту ветку? Бревно! Но сейчас ведь и ветра-то нет. Почему отломилось? А он еще на этом дереве когда-то беседку собирался построить. А я ему говорю, ненадежное оно, жучок, жучок все проест, вон как скрипит! Тогда еще скрипело. Это сколько ж лет прошло?»

«Детей, детей уведите! – требовала какая-то тетка. – Вы не смотрите туда, ребята не надо». Но мы смотрели и ничего такого, особо страшного не видели. Просто было странно, что повсюду разбросаны листы, а огромная эвкалиптовая ветвь, и в самом деле, не ветвь, а бревно, аккуратно лежит на столе. Отсюда незаметно было, что стол проломлен, ну и вообще – плохо было видно.

Екатерина Перченкова
Здесь нет ничего моего

Если бы теперь нас увидел посторонний человек, он непременно сочинил бы историю с хорошим концом. С тревожным сквозняком повсеместной печали: она заполняет воздух, как дым нашего костра; она необязательна и невесома,

как последний десант одуванчиков в этом июле.

Два человека, мужчина и женщина, жгут письма на пустыре. Они еще молоды и определенно живы: конечно же, это хороший конец. Только писем жаль.

Нам – не жаль, да это и не письма вовсе.

Судебные иски приходят в обыкновенных бумажных конвертах. Их можно выкинуть, но все-таки лучше сжечь. Их бросают в почтовый ящик, отчаявшись застать адресата дома. Если оказываться дома как можно реже, можно дотянуть до истечения срока давности. Все так делают.

Мы с Доном смотрим друг на друга, не в силах поделить этот костер и этот пустырь. Один из нас успеет первым. Один из нас уже завтра или послезавтра в мельчайших деталях распишет, как мужчина и женщина жгут письма на пустыре, и дым стелется по траве, постаревшей раньше срока от большого солнца, и летит печальный одуванчиковый пух, темно-серый на фоне заката.

– У Долли умер кот, – говорит Дон.

– Мне жаль, – отвечаю. Неудобно, но я не помню, кто такая Долли.

– Сначала я думал, пускай умрет дедушка, – говорит Дон, и я понимаю, что он про свой сценарий, – но это шестнадцать плюс. Или даже восемнадцать. Я запутался в последнее время. У них все время умирают дедушки, даже у самых маленьких. Но считается, что до шестнадцати это их травмирует. В общем, дедушку трогать нельзя. Оставались собака или кот. А я люблю собак.

– И?

– Под двести исков студии. Один – лично мне, то есть нам с Фрэнком напополам. На пятьдесят тысяч. От одной бабушки. Бабушка верила нам, так верила, что даже не боялась оставить ребенка одного перед телевизором, а мы нанесли такую психологическую травму ее бесценной внучке, что она… ну, короче, она немножко поплакала.

– Зато теперь ты знаешь точную стоимость слезинки ребенка.

– Достоевский? Я думаю об этой бабушке. И о топоре тоже.

– Мне жаль, – говорю уже вполне искренне. – Я тоже получала личный иск. В шестом сезоне «Обыкновенных историй». Помнишь, мне было нужно, чтобы мама Крэйга уехала домой и проводила много времени с родственниками. Я решила, это потому, что дядюшку Джо отключили от аппарата… Похороны, семейный сбор, ясное дело. Какая все-таки мерзость.

– Какой-то гребаный дзен, – вздыхает Дон. – Не хочешь разориться – будь добр придумать длинную, очень длинную историю, в которой ни с кем ничего не происходит. Или

происходит только хорошее. Сопли в сахаре. А кота, кстати, даже не показывали. Упомянули – и все.

– …Со мной завтра произойдет кое-что хорошее.

– Ну? – подбирается Дон.

– Ты не поверишь, – говорю я шепотом, словно кто-то способен подслушать и все испортить. – Тони Гонзалес согласился на интервью.

– Я никогда тебя ни о чем не просил, правда?

– Предположим. Взять у него автограф для тебя?

На кой черт мне его автограф. Возьми меня с собой.

Просьбу Дона я не могу выполнить при всем желании. Гонзалес согласился письменно ответить на мои вопросы и потом уточнить некоторые моменты по телефону. Он нигде не бывает и ни с кем не видится, ему некогда.

– Подружись с ним, – сказал шеф. – Подружись и выясни все. До мелочей. Сделай интервью для сайта. Возьми комментарий про какие-нибудь наши сериалы, если он их смотрит. Обещай ему все, что бы ни попросил. Ты можешь потом подать на меня в суд, но обещай ему даже… ну, ты понимаешь. Вы наверняка встретитесь лично. А ты молодая, симпатичная и неглупая девица. Можешь рассчитывать примерно на тридцать тысяч, если выиграешь суд. Больше у меня сейчас нет.

Без проблем, сказала я тогда, никакого суда. Он мне нравится. Даже если ему восемьдесят пять и у него вставная челюсть. Даже если у него бородавка на носу или ожог на пол-лица.

Тони Гонзалес – это псевдоним. Хорошо, что Тони, а не Антонио: у него есть слух. «Антонио Гонзалес» – легко теряется в титрах после окончания серии. «Тони Гонзалес» – отлично смотрится на обложке бестселлера.

Моя настоящая фамилия, – пишет он, – несколько неблагозвучна.

Я разглядываю прикрепленную к письму фотографию. Ему пятьдесят пять. Он бреется наголо. Худой, смуглый и кареглазый. Пуэрториканец, похоже. Очки в тонкой золоченой оправе. Ему очень пошла бы какая-нибудь оранжевая тибетская хламида.

Шеф прав. Если мы подружимся, Гонзалес вытащит нас из задницы. Если мы подружимся, он может дать мне разрешение переработать в сценарий его книгу. Его любую чертову книгу.

Тони Гонзалес – единственный человек в этом гребаном мире, не заплативший ни по одному предъявленному иску. Суд всегда оказывается на его стороне. Если он позволит мне – его

фантастическая неприкосновенность распространится и на нас. Ослепительная аура его имени мгновенно вознесет нас на верхние строчки рейтингов. Если мы подружимся, может быть, он даст несколько советов – и я наконец пойму, как он это делает.

У меня на стене висит фотография с прошлого Рождества в офисе. Мы счастливые и пьяные, нас четырнадцать человек. А шеф попросил написать Гонзалесу именно меня.

Я лучше всех них.

Ну, или я просто молодая, симпатичная и неглупая девица.

Какая разница. Я все равно лучше.

Шеф наткнулся на заметку о нем в каком-то дайджесте и сказал: «Клэр, ты посмотри. Это же ангел какой-то. Вот он-то нам и нужен».

Существование в сегодняшнем мире литературы, кино и живописи представляется мне абсолютной загадкой. Писатель, и сценарист, и художник должен служить нравственным ориентиром и примером для подражания – как в жизни, так и в работе. Писатель должен быть вегетарианцем, или спортсменом, или аскетическим практиком. Он должен жертвовать на благотворительность и посещать учебные заведения для детей с ограниченными возможностями. Должен сочинять безболезненные нравоучительные сюжеты. Иначе кто-нибудь расстроится, возмутится и подаст в суд. В последние годы, выплачивая компенсации за моральный ущерб, разорился уже не один десяток издательств и студий.

Мир (говоря «мир», читаешь «суд») ловил Гонзалеса, но никак не мог поймать: он уворачивался легко и бескровно, потому что был чудовищно умен. Он мог бы взять этот наш шарик и покрутить на пальце. Ну, или не на пальце: двадцать один плюс, трансляция только по кабельному. Он мог бы получить весь мир целиком на блюдечке с голубой каемочкой. А вместо этого жил уединенно, ни с кем не общался, получил еще два образования помимо основного медицинского, – философское и юридическое. Гонорары жертвовал на именные стипендии для студентов-медиков, сам привык довольствоваться малым. В этом есть намек на высшую справедливость: честно говоря, меня успокаивает, что мечты всегда сбываются не у тех людей. Было бы очень плохо, если бы возможность завоевать мир получил именно тот человек, которому мечтается о ней.

Хорошо, вряд ли ангел, но все равно практически монах. Я читаю его ответы на вопросы. Младший из шестерых детей в семье, все мальчики, пятерых уже нет в живых. Единственный из

братьев, никогда не состоявший в банде, мечтавший стать врачом. Спинальный хирург. Давно не практикует, так и пишет: «по не зависящим от меня причинам». Очки? Что-то с глазами? Или с руками? Или он все же хоть раз в жизни проиграл суд и был лишен практики? Шахматист. Любит баскетбол. Вредных привычек нет. Скорее агностик. Скорее консерватор. Скорее республиканец. Хотел бы обыкновенную семью: жену и двоих детей. Но в его возрасте уже поздно хотеть.

Я бы поспорила.

Многие невинные вопросы могут дать повод к разговору о личном, вот я и спрашиваю его обо всем, что приходит в голову.

«Опишите обстановку комнаты, в которой проводите больше всего времени?»

Кровать, письменный стол, стул, комод, – пишет он.

«Где бы вы больше всего хотели побывать?»

В Голландии, – пишет. Надо же, какая маленькая мечта. Без всяких Эверестов и джунглей Амазонки. Очень человеческая, выполнимая проще простого, но почему-то недосягаемая. Впрочем, ответ ясен: Голландия Тони Гонзалеса менее важна, чем стипендия какого-нибудь студента. А я уже написала ему, что хотела бы увидеть водопад Анхель. Стыдно как…

А вдруг и правда ангел.

Разговаривать с Гонзалесом по телефону удивительно легко. У него ровный и сильный голос профессионального лектора, доброжелательные интонации.

Входящие за мой счет. Я никогда так не делаю: это неприлично, если тебе не шестнадцать и ты звонишь не родителям. Но речь идет, – напоминаю себе, – о студентах-медиках. Он экономит каждый цент ради их стипендий.

Я спрашиваю: почему ты так странно назвал книгу – «Здесь нет ничего моего»?

Это была первая книга Гонзалеса, которую я купила. Длинная и очень увлекательная история молодого ординатора больницы Джона Хопкинса. История, в которой с героем происходит много странных, интересных, а самое важное – совершенно неподсудных вещей.

Это была шутка, – говорит Тони, – плохая шутка. Эту фразу я слышал от матери каждый раз, когда говорил «моя сумка» или «моя кровать». «Здесь нет ничего твоего». Мне хотелось, чтобы она увидела обложку и испугалась. Или почувствовала себя неловко. Если бы я мог при этом видеть ее лицо…

– Ты не видел?

– Она умерла за неделю до выхода книги.

– Мне жаль.

– Мне тоже. Она была хорошей матерью. Я был неправ.

У него не приходится просить советов: он раздает их щедро, не задумываясь. Например, мне нужно, чтобы у одного мальчика («Семейка Рутберри, второй сезон») за летние каникулы совершенно изменилась жизнь, и осенью он вернулся в школу совсем другим. С единственным условием: чтобы это не была автомобильная авария. «Он попал в аварию, долго лежал в больнице и многое понял» – такой же штамп, как «Она упала с лестницы, потеряла ребенка и память». Такими темпами мы скоро превратимся в мексиканцев…

– Например, – говорит Тони, – он стал донором костного мозга для своего родственника. Единственным подходящим донором. Это очень больно. И очень меняет жизнь, особенно если речь о молодом человеке. Боль и мысли о смерти вообще довольно быстро меняют жизнь. А родственник выздоровеет – и вся история в целом не травмирует зрителей.

Тони говорит: мир состоит из врачей и полицейских, усвой это. Из тех людей, с которыми многое может случиться – и сценаристу за это ничего не будет. Со всеми остальными – практически без шансов.

Есть миллион способов сделать человеку больно, оставив его в живых, – говорит Тони. – И чуть меньше, но тоже вполне достаточно способов сделать ему очень, очень больно, не причиняя существенного вреда. Если ты в своем сюжете немножко потрогаешь душу человека, на тебя подадут в суд. Так вот, оставь души в покое: у них есть тела.

Дети чувствительнее к боли, чем взрослые, – говорит Тони. – Но они быстрее забывают.

Мы живем обдолбанными, – говорит Тони. – Нам невыносимо больно каждую секунду от рождения до смерти, но эндорфины заглушают боль. Учись, пока я жив. Если хочешь, я надиктую тебе пару десятков сценариев, об которые адвокаты только обломают зубы. Я знаю, что не хочешь. Ты сама. У тебя есть все шансы. Ты давным-давно могла бы написать собственный сценарий с нуля. Попробуй пообщаться с врачами и полицейскими. Очень просто. Приходишь в участок, спрашиваешь: «Кто у вас работает в отделе убийств? Мне нужна консультация, я пишу книгу». Ты им понравишься. У тебя хороший голос. Можешь прислать мне свою фотографию?

Похоже, мы и правда подружились с Гонзалесом.

Я совсем не хочу его увидеть, мне и так слишком часто бывает больно. Мы просто разговариваем.

Я пишу стихи. Никогда не писала, и вдруг. Не знаю, хорошие или плохие. В старших классах я все время резала себе руки. Хочется снова.

Я сплю с Доном. Он думает, что я выйду за него замуж. На самом деле мне страшно спать одной.

Если бы моя мама знала, то сказала бы, что я должна подать на Тони Гонзалеса в суд.

…Тони говорит: человеческое восприятие подчинено закономерностям. Эвтаназия не возмущает никого, кроме религиозных фанатиков. Ты понимаешь, о чем я? Если тебе нужно убить героя, не делай это внезапно. Его смерть должна стать избавлением от мучительной жизни, и тогда зритель примет это. Когда герой внезапно погибает, зритель возмущен и подает в суд. Когда герой долго мучится, зритель чувствует облегчение от его смерти.

Запомни, Клэр. Ты можешь издеваться над ними сколько угодно. Мучить так, чтобы черти в аду завидовали твоей фантазии. Но убивай мягко. Так, чтобы в момент смерти раздавался облегченный выдох зрителя. Или, если хочешь, облегченный выдох бога.

Иногда я думаю, что все эти адвокаты не так уж неправы. Может быть, совсем не плохо, что мы живем как будто завернутые в пленку с пупырышками, или в вату, или погруженные в вязкий гель. Мы так легко делаем друг другу больно. Невероятно легко. Человек – существо, заслуживающее одиночной камеры.

– Я согласен, – наконец говорит Тони. – Мы с тобой еще немного поговорим – и я подпишу все, чего хочет твой шеф. Только я сам выберу книгу. И буду консультантом. Я знаю, как студии экономят на консультантах: мне за это ничего не нужно. Благотворительность, как обычно. Но давай поговорим еще. Я должен быть уверен.

– Кажется, – получилось, – говорю я шефу. – Ты не представляешь, что с тебя будет причитаться, когда все сложится. Я уже знаю, что все будет хорошо. Просто жду момента.

– Не тяни резину, – вздыхает он. – Если нас продать на органы всей студией, плюс продать всю недвижимость, плюс офис, плюс страховку – это не особенно поможет: мы уже должны всем и каждому. Как можно скорее, ты меня поняла?

Человек мучитель и мученик, – говорит Тони Гонзалес. – Ты

всегда как будто оказываешься на месте того, кому причиняешь боль. Ты делаешь это, чтобы у твоей собственной боли ненадолго появился друг. Эта тварь чудовищно одинока.

– Мне жаль, – привычно говорю я.

– Я тоже всегда так говорил, – соглашается Тони. – Нечеловечески честные слова. Ведь правда жаль. Я произносил это тридцать четыре раза.

Он все и всегда подсчитывает. Довольно безобидное чудачество, если вспомнить других писателей.

Я подхожу к шефу, чтобы торжественно возвестить: он согласен!

Спрашиваю: скажи, ты знаком с губернатором?

Шеф хватается за голову.

– Твою мать! – говорит он беспомощно. – В смысле мою мать! Конец года. У меня вон кредиторы за дверью в очереди стоят. Премии. Выплаты. Ну, ты знаешь. Но я все сделаю. Я обещал. Что он хочет? Постоянную стипендию для кого-то? Спецпрограмму для интернов? Новые учебники?

Когда я говорю: «Чтобы ему заменили смертную казнь на пожизненное», шеф, кажется, даже рад.

Екатерина Перченкова
Большая жизнь Дугласа Фогерти

Все вокруг были безумцы, художники и поэты, а Дуг оказался фантастически (в нашем-то доме) нормален.

Взять хотя бы его утренние пробежки.

Приглядеться хотя бы к его вычищенным тупоносым ботинкам.

И как он ходил и разговаривал, как размахивал загорелыми руками: у меня есть фотография, где Дуг спорит с кем-то возле лодочной станции, одетый в светло-серую футболку и белые брюки, а вокруг небо и пляжный песок. Я кое-что подправил, задрал контраст – и получился ангелический, страшный, сияющий Дуглас, состоящий из головы с ореолом выгоревших волос, длинной шеи и парящих в воздухе отдельных рук. Потом я врал, что снимок был на пленке, что единственный отпечаток Дуг забрал и подарил кому-то, а пленка давно потерялась, и что я ничего не делал, просто увидел и сфотографировал; в общем, что Дуглас был именно такой.

Он был тощий, сутулый и совершенно обыкновенный.

И еще у него была астма. Мы выкинули ковры и покрывала, а Лиза купила циновки и бамбуковые жалюзи, но он часто возвращался с улицы потрепанный и поблекший, как будто его изнутри немного подъела моль.

Дуглас Фогерти был абсолютный, эталонный идиот. В том смысле, что совершенно нормальный человек. Обыватель. Пацан. Он хотел красную машину, потому что это круто; хотел здоровый бицепс, внушительный трицепс, кубики на прессе и фактурную голень. Бегал по утрам, потому что тягать железо не позволяла дыхалка, но Дуг надеялся, что на побережье все пройдет – и вот тогда он всем покажет. Хотел Мэгги Райс, потому что у нее были сиськи четвертого размера и соответствующего объема задница (я был женат пятнадцать лет, но так и не понял, что там с размерами задницы: какими буквами и цифрами его обозначают в магазинах нижнего белья).

Дуглас Фогерти вел дневник, писал стихи и рисовал картинки шариковой ручкой на офисной бумаге.

Я смеялся, Дуг, я ржал как лошадь, когда в последний раз пересматривал твоих шариковых баб с несимметричными буферами и ногами разной длины, когда перечитывал стихи, которыми ты надеялся растопить ледяное сердце Мэгги Райс, надежно укрытое силиконовой броней; я плакал, Дуг, когда сжег

всю эту дрянь в песчаной яме за причалом, когда вспоминал, какой ты перекошенный и неуклюжий, и что руки у тебя как у девчонки, и что ты дурак, и как ты сидел у меня в комнате на полу и делал вид, что все понимаешь.

Я был худшим отцом на свете.

Марк пошел со мной в поход и принес домой полный нос соплей, его лихорадило и болела голова, и Грейс тут же решила, что это менингит. Или полиомиелит. Или еще какой-то смертельный – ит, который целиком и полностью моя вина. Она жаловалась на меня соседям, подругам и таким же чокнутым мамашам на форуме, в котором залипала каждый вечер. Через два дня Марк хотел курицу, маринованную кукурузу и в школу, и Грейс всякому встречному преподносила его выздоровление как чудо и промысел божий.

Он упал с велосипеда и ободрал локоть. Потому что он был последний в школе, кто еще не научился кататься на велосипеде, а будь воля матери – она усадила бы его в инвалидную коляску и пристегнула ремнем – так ведь безопасно. «Он мог погибнуть! – кричала Грейс, когда я привел его домой с прилепленной к локтю бумажной салфеткой. – А если бы он ударился головой?»

Мы прожили по отдельности (я сам по себе, а Марк с матерью) ровно тридцать семь дней, когда его сбила машина. На нем были шлем и наколенники, скейт он нес под мышкой (она разрешила ему скейт, потому что мы разошлись, и он расстроился), а Грейс крепко держала его за руку, но вот эта машина – и Марка нет, а у Грейс только разбиты колени и подбородок. Некоторое время потом не помню. Я пил; по собственным меркам немного, но каждый день.

И после этого вдруг начал проявляться наш дом. Я сдал нашу бывшую спальню Лизе и Дереку, хорошим ребятам: от них пахло индийскими благовониями, и оба они были худые и коричневые, как будто вырезанные из сандалового дерева. Комнату Марка сдал Трише, тоже хорошей девушке: она никому не мешала и все время сидела в интернете. А Дуглас Фогерти появился потом. Он был, кажется, младшим братом школьного товарища Дерека, попал в какую-то мутную историю, в общем, ему негде было жить. И тогда мы с Дереком вынесли из гардеробной тумбочку и сняли вешалки, а взамен притащили тахту и журнальный стол. В конце концов там было окно, так что гардеробная вполне могла считаться за отдельную комнату.

Я любил их. Они меня не трогали почем зря и не мешались. Дерек возился то в гараже, то в душе, усовершенствовал то краны,

то сливы, то антенну на крыше. Лиза приносила целые сантаклаусовские мешки мелочей: какие-то свои чашки, какие-то квадратные японские блюдца, подсвечники, циновки, и так радовалась всей этой ерунде, что я тоже радовался за компанию. Триша неистово хотела замуж за француза, поэтому проверяла на мне свои кулинарные способности и даже ходила со мной по магазинам: французы ведь очень экономные люди, так что и ей надо было научиться. Два француза были уже отбракованы, и оба раза мы с Тришей неплохо посидели до утра на импровизированных поминках по ее личной жизни.

Дуглас был другой, он мешался.

Ему было тесно и неуютно в бывшей гардеробной.

Ему было не по себе при Дереке, Лизе и Трише. Это получалось само собой. Я знал, что Дерек занимается йогой, Лиза фермерская дочка, а Триша наследная владелица автозаправки в бегах. Но когда появлялся Дуглас Фогерти с растрепанными волосами, облупленным от непривычного солнца носом и своей щенячьей ухмылкой, все сразу вспоминали, что Дерек дизайнер, что Лиза ведет колонку в журнале, что о рассказах Триши хорошо отзывалась то ли Санди, то ли Мэнди, черт ее знает, короче, эта, которую сейчас повсюду продают в голубых обложках; а вот Дуглас – никто. Такой улыбчивый простачок, скорее симпатичный, но все равно дурак, которому сначала не хватило ума окончить колледж, а потом не хватило сноровки хоть как-нибудь устроиться.

Дуг был не только глуповат и неудачлив. Если бы мне надо было охарактеризовать его в пару слов – я сказал бы «феноменальная бездарность».

Восемь лет из моих детства и юности сожрала художественная школа мисс Плятцидевски, выжившей из ума полячки, бравшей за занятия такие гроши, что мать моя не утерпела: одержимая игрой под названием «урвать подешевле», она запихнула меня в эту чертову школу – и я все эти чертовы восемь лет размазывал по бумаге акварель и темперу, подыхая от скуки. Я до сих пор иногда рисую: потому же, почему другие люди грызут ногти или ковыряются в ушах. И вот Дуглас появился на пороге моей комнаты с бумажным ворохом в руках и сообщением, что ему скучно и что он хочет показать мне свои рисунки.

В мечтах Дуг видел себя по меньшей мере Борисом Вальехо. Он старательно выводил на тонкой бумаге мускулистых девиц в доспехах – доспехи прикрывали только стратегически

неприличные места, а мускулы были нелепо и очень выпукло прорисованы там, где по его представлению они должны находиться. Он рисовал лошадей, драконов, спортивные автомобили и детей. Дуглас Фогерти бросил колледж ради художественной школы и проучился два с половиной года. Серьезно. Нет, конечно, из колледжа его скорее всего выгнали за непроходимую тупость, но рисовать он действительно учился – упорно и старательно, изводя всю бумагу, карандаши и шариковые ручки, которые находил вокруг; и действительно ходил в эту свою школу два с половиной года, не пропустив ни занятия. Глядя на даты (всякий его рисунок был украшен старательно выведенной датой и замысловато соединенными буквами DF), я обнаружил, что сегодняшние и двухлетней давности рисунки не отличаются ничем. Те же беспомощные грудастые тетки с вывихнутыми локтями и подобием варежек вместо кистей рук – Дуг не умел рисовать пальцы. Те же кривоногие лошади, плоские машины и перекособоченные чашки в натюрмортах. Он, видимо, понимал, что ничего не получается, но из последних сил надеялся, что я обнаружу в его мазне что-нибудь интересное. И я обнаружил, конечно. Точнее сделал вид. Этим я купил Дугласа с потрохами.

Я хотел завести собаку – наверное лабрадора, чтобы сидел у меня в комнате на полу, тыкался носом в колени, таскал в зубах палки и приносил на лапах пляжный песок, недолго хотел, ровно тридцать семь дней после развода. А теперь у меня каждый вечер сидел Дуглас Фогерти и нес потрясающую околесицу. Дуг был чем-то средним между дыркой в зубе и колыбельной, он раздражал и успокаивал одновременно, и думать о нем как о настоящем человеке было сложно. Всех людей, похожих на Дугласа, я выкинул из своей жизни ко всем чертям. Уже лет двадцать как. Потому что бестолковые существа. И то, что с одними мы вместе ходили в школу, а с другими жили по соседству, их не оправдывает.

Однажды я подумал, что он – симпатичная обезьяна. Стало неприятно. Пускай уж лучше лабрадор.

Дуг писал стихи. Для своей силиконовой Мэгги. Он читал их мне, а я делал вид, что слушал, а иногда даже слушал всерьез: это было смешно. Стыдно, но все равно смешно. Как-то раз, ухохотавшись про себя вдоволь над очередными «фиалковыми глазами», я прочел ему сто тридцатый сонет Шекспира, и Дуг спросил… Серьезно, он спросил: «А чем у меня хуже?»

Однажды я сидел у себя за письменным столом, выпив лишнего и решая, стоит ли в таком виде показываться в гостиной;

взял карандаш, ручку, ластик и стал рисовать, стыдно признаться, голую девицу верхом на драконе. Это Дуг меня попутал. Девица вышла никакая, словно привычно срисованная из анатомической хрестоматии, а на драконе я оторвался, как не отрывался давно (подцепил когда-то это словечко у сына, точней ведь не скажешь), вымучивая и блики на чешуе, и глаза, и когти, но стараясь, чтобы дракон казался нарисованным небрежно и быстро. К вечеру я был трезв, опустошен, испачкан потекшим стержнем и доволен жизнью. К вечеру я уже точно знал, что и как буду делать дальше.

Все свободное время я стану жить так, как если бы я был Дугласом Фогерти – двадцатидвухлетним беззаботным балбесом. Точнее – так, как если бы Дуг был мной, если бы в его тощую, лохматую и безмозглую оболочку запихнуть все, чему меня научили университет, ранняя женитьба, здоровенная библиотека, скучный камень на могиле Марка, гипертония и психоаналитик.

Я завел дневник: файл, который назвал буквами DF, и писал туда все, что написал бы Дуг, если б был мной. Я рисовал все, что он нарисовал бы, если бы на самом деле умел (у Дугласа был бумажный дневник, я нашел его, открыл посередине и прочитал, как он дрочил в гараже, представляя какую-то Пэм; на два предложения было пятнадцать ошибок. Я должен был сжечь дневник, но вместо этого пошел и выкинул его в мусорный бак на соседней улице. Сейчас говорю – и на Страшном суде скажу: эта позорная тетрадка бесповоротно избавила меня от чувства вины).

Через несколько месяцев в моем дневнике было триста с лишним страниц, а рисунки не помещались под кроватью.

Голых баб и драконов я не рисовал уже давно. Если бы Дуглас Фогерти был мной, то он не появлялся бы дома, проводя все время на побережье. Он раньше не видел океана. Если бы Дуг был мной, он любил бы Рокуэлла Кента: горизонтальную воду и вертикальные небеса. Наверное, купил бы цветную тушь. Я рисовал тушью, по крайней мере: на мокрой бумаге, на крафте и на картонных обрезках, остававшихся после дизайнерских экспериментов Дерека.

Я открыл дневник и прочитал с первой до последней страницы.

Там был настоящий Дуглас Фогерти, а не то ходячее недоразумение, которое я видел каждый день. Не знаю, как этого парня создавал Господь, но у меня получилось лучше.

Это была книга – и хорошая, кажется, книга. И я никому, ни-ко-му не мог это показать.

Даже Дугласу.

А хотелось нестерпимо.

Весь неприкосновенный запас, четыре упаковки ксанакса, в бутылку виски.

Я взял эту несчастную бутылку и пошел к Дугласу, пнул дверь и позвал его пошляться по берегу. Он послушно подскочил и сорвался за мной, правда что ли – как собака. И я вспомнил, как давным-давно прочитал в газете, что ветеринары усыпляют собак отвратительным препаратом: они мучительно задыхаются и не могут пошевелиться, а хозяину кажется, что собака заснула. И сказал Дугласу, что у меня весь день болит сердце, поэтому я сегодня не пью. Он хлопнул меня по плечу, пробормотал что-то вроде «не вешай нос» и присосался к бутылке. На виски у него никогда не хватало денег, Дуг покупал только дешевое пиво, зато целыми упаковками, которые занимали половину холодильника.

Мы ходили полчаса, не больше, и Дуг нес что-то про мотоцикл, который купил бы, если бы нормально зарабатывал, потом начал напевать дрянную песенку, его уже хорошо развезло, потом задумался и спросил: тебе никогда не хотелось уснуть в лодке?

Он впервые сказал то, что мог бы сказать Дерек. Или Триша. Или я.

Это смерть в нем сказала.

Я повел его на лодочную станцию, уже закрытую к ночи. Дуг не помещался в лодке лежа, но я снял фанерную банку, и места стало больше.

– Я нажрался, – печально констатировал Дуг и закрыл глаза.

И ничего больше не говорил.

Вернувшись домой, я вошел в его комнату и по-настоящему убил ненастоящего Дугласа Фогерти. До утра в моем распоряжении были его ноутбук, рисунки, пара блокнотов, пароли от почтового ящика и блога, содержимое карманов курток и джинсов. На рассвете я растолкал Дерека и сказал, что у меня пропали лекарства и что Дуг не ночевал дома. К тому времени, когда на лодочную станцию приехала полиция, он остался только в двух ипостасях: остывающее тело в белой рубашке и парусиновых штанах (не хочу знать, уснул он ангельским сном или захлебнулся собственной рвотой, ненастоящий придурочный Дуг, спящий в деревянной колыбели, в океанской летучей гробнице) – и трехсотстраничный файл в моем компьютере. И еще рисунки, но они, конечно, не главное: разве что для полноты картины.

Следующие два месяца я вытаскивал из небытия настоящего Дугласа Фогерти.

Ненастоящий помогал мне. Он, несмотря на туповатость и постоянную ухмылку, оказался парнем необщительным: с кем-то тусовался на пирсе и выпивал, клеил каких-то девиц, но никто ничего о нем толком не знал. У него хватило ума (а точнее инстинкта человека, над которым часто смеются) не показывать этим девицам свои стихи и рисунки и не писать им писем, в которых была бы очевидна его убийственная безграмотность. У него не хватило ума – и это был поистине подарок от мертвого Дуга – вести блог в публичном доступе. Не догадался снять галочку в установках – и никто не видит вот этого: «У Джонса пиво неочинь», «Хотел бы я занятся дайвенгом», «Почему меня никто не коментит?»

Я все это дерьмо отредактировал: заменил на свой дневник, то есть на дневник настоящего Дугласа, оставив от прежнего хозяина только несколько фотографий. И снял галочку, разрешая всем желающим смотреть на Дугласа Фогерти. Желающие вскоре должны были найтись.

Я не заходил на эту страницу долго, очень долго, пока однажды посреди ночи ко мне не вломилась пьяная, рыдающая взахлеб Триша и не призналась, что полюбила Дугласа с первого взгляда, но он был такой странный человек, совсем не от мира сего, что не получилось даже нормально поговорить, а теперь его нет, и жизнь кончена. Ей, стало быть, попался в сети блог Дугласа, а Триша у нас очень умная истеричка. Через пару недель она дала интервью какому-то сетевому журналу, а Лиза подсуетилась и опубликовала свои воспоминания о Дугласе в журнале бумажном, уважаемом и очень андерграундном.

Книга – двести двадцать записей блога уместились в триста семьдесят страниц – вышла скоро, и Дуглас на обложке был неожиданно впечатляющий, с той самой моей фотографии. Написанные моей рукой даты и буквы DF в углу нескольких попавших в книгу рисунков были неотличимы от оригинала. Какие-то дуры затеяли носить на лодочную станцию и к нам под ворота гаража свечи в стеклянных банках, цветы и бумажные кораблики. Тришу иногда узнавали на улице. Я отказывался говорить про Дугласа, и все воображали, что понимают меня.

А знаешь, Дуг, я бы тоже дал интервью.

Я бы рассказал все, о чем мы с тобой болтали.

Я не очень хорошо понимаю, что имею в виду, говоря «ты».

Сейчас ноябрь, Дуг. Позавчера был твой день рождения. К Трише опять приезжали спрашивать о тебе. Позавчера одна женщина поставила свечку слишком близко к забору – и весь виноград сгорел. Он был уже без листьев и с высохшими ягодами,

собирался зимовать. Вспыхнул, как солома. Как бумага. Как волосы. Эти, приехавшие к Трише, поймали меня на улице и спросили, что бы ты сказал, если бы видел. Я ответил, что тебе понравилось бы, как горел виноград. Потому что мне понравилось. Это было красиво. И очень жалко.

А ты, наверное, был бы страшно расстроен, требовал бы найти ту женщину и оштрафовать.

Все эти падальщики, знаешь, ушлые ребята: они очень скоро раскопают, в чем дело. Может быть, даже завтра.

С некоторых пор я не думаю, что будет завтра.

Я думаю – зачем.

Видишь ли, Дуг это бес сочинительства меня попутал. Я мог бы выдумать тебя. Мог бы выдумать другого человека вместо тебя. Я из тех уродов, кому мало собственной жизни, кто обязательно выдумает что-нибудь еще или кого-нибудь, чтобы пожить и за него тоже. Нет, вранье. Я сочиняю даже сейчас, говоря с человеком отсутствующим, несуществующим, но способным поймать меня на лжи – и я все равно ему лгу.

Видишь ли, Дуг, я затеял все это не ради трехсот страниц, пропади они пропадом. Не ради рисунков, это и вовсе смешно. Я должен был однажды увидеть что-то большое. Огромное. То, что сожмет мне сердце и переломает кости. Я должен был столкнуться с ним лицом к лицу, потому что иначе и бес – мелочь, и сочинительство – туфта. А ты был обыкновенным, простым, прозрачным, я тебя, дурака, видел насквозь, и все время ждал, что кто-то сейчас подойдет и посмотрит сквозь тебя с той стороны. И когда мы шли на лодочную станцию, я точно знал – зачем. Я хотел, чтобы смерть поглядела на меня твоими глазами, Дуг, бестолковое ты существо, простейшее позвоночное, лишенное всяческих перьев. Мое нечестное зеркало. Мой сияющий лабрадор.

Ася Датнова
Дурга

«Катечка, домик я снял щелястый, зато со знатным видом – вернее, как домик – фактически, комнату, потому что в ней одной

еще можно как-то жить, крыльцо, выходящее на улицу, прогнило, а второй выход проходит через комнату, лишенную пола, – держали в ней кур и мелкую скотину. Но у меня есть койка и стол, крашенный коричневым деревянный пол, выбеленные стены – а главное, тишина, Катечка, за ней и ехал. Чувствую уже, что поработаю. Целуй сына».

«Оплаты с меня так и не взяли. Хозяева мои забавная чета – он, Иван, пенсионер рослый, весом под сто килограмм. Лицо копченого цвета, нос – средних размеров кабачок, а глаза хитрые, голубые. В селе пользуется большим уважением, как главный податель света: всю жизнь проработал на электростанции. Электрики бригадой ездят по всему району на вызовы, на аварии, отрезают свет за неуплату, находят, кто подключился в обход счетчиков. Имеют, словом, дело с материей, которой я сам побаиваюсь, силой, сродной с грозами и шаровыми молниями (которых тут множество и даже бродят по комнатам). На подстанцию в село приходит сто тысяч вольт, по селу расходится уже по триста восемьдесят, но от подстанции питаются и соседние деревни, например та, что за рекой через переправу, в долгих полях – Несказань.

А жена его, Галя, женщина добрая, страшноватая: небольшие черные глаза ее смотрят в разные стороны – один видит хуже с тех пор, как корова ткнула в него рогом. Никто в точности не знает, который ее глаз слепой, правый или левый, и, разговаривая с ней, я заглядываю по очереди в каждый, и нахожу, что оба имеют выражение одинаково пустое. Раньше она работала фельдшерицей, до сих пор, бывает, лечит. На пенсии Иван связи с таинственной силой не утратил, изобретает хитроумные сплетения тонкой, с волос, медной проволоки, оплетающей дом, старый сарай, огород, грядки с клубникой – если проволочку задеть, порвать, в доме разражается какофония, и он в широких красных трусах выскакивает на крыльцо с дробовиком. Он вообще любит мастерить, придумывать.

Он, например, давно уже строит лодку, как некий Ной, хотя село стоит на холме настолько высоком, что даже залей землю новый потоп – то едва ли подмочит нижние огороды. И совершенно очевидно, что никогда Иван не будет плавать на ней. Чинит палубу, меняет скамьи, кроет лаком – все это неспешно, с чувством, с толком, основательно, ради процесса, не результата – ведь он ездит на реку только когда купаются женщины и дети, сам спит в теньке и не будет ни рыбачить, ни кататься на лодке, такой он тяжелый. Не знаю, зачем она ему. Эта деревянная, а ведь

есть у него целая флотилия – видел я и свернутую надувную, и дюралевую казанку, и легкую «романтику» в дальнем сарае. Лодка стоит посереди двора, по ночам я спотыкаюсь о нее, когда выхожу до ветру. Галя выселила его со всеми инструментами и гвоздями в сарай, пообещав, что все, найденное ею вне стен сарая, будет немедленно выкинуто – будучи в целом женщиной ласковой, порой она делается злющая, она не любит всего старого, лишнего. Если начнет кричать – так порой себя накрутит что даже лицо синеет, неприятное зрелище, но да тут такой патриархат, который на самом деле тайно матриархатом управляется: жен все боятся, только на словах хорохорятся.

Поработать пока толком не удалось, осваиваюсь. Странное тут что-то со временем, то оно стоит, как осенняя вода, то вдруг прыгнет гигантским скачком, как небесная лягушка. Я решил пока навести порядок на вверенной мне территории, разобрать двор, может быть, починить окно».

«Катечка, жить стало можно только по ночам – такой стоит жар, такое колыхание воздуха. Несмотря на это, мы с Иваном работаем – не мог отказать ему в помощи, он увидел, как я столярничаю в попытках подновить комнату до приемлемого состояния, – помогу ему с лодкой. Он говорит, что отдаст ее мне задаром, считай, для тебя, говорит, строил – буду тогда плавать на ней по реке, ловить рыбу, всегда хотел чего-то такого, спокойного. Там и мысли быстрее в голову придут. На реке тишина, только стрекоза неслышно приседает на цветок рогоза, и вода течет так медленно, что словно бы в обратную сторону.

…Линия электропередач тянется по холму вниз и идет мимо нижнего леса – заросших и заброшенных тополиных посадок, начавших уже гнить и становиться непроходимым буреломом, – по просеке между тополями, там, где никто и не ходит в высокой траве – и у переправы перекидывается через реку на другой берег. Этот десятитысячник всегда гудит зловеще, едва слышно, может, из-за толщины проводов, может, певучие сами опоры. А только всегда, проходя под ним, грибники смолкают, а на реке рыбаки глушат мотор и складывают спиннинги, почтительно проплывая внизу.

Не все тут, конечно, так пасторально, если ты думаешь. Река регулярно приносит утопленников, и они колыхаются в ней, зацепившись за опоры моста, жесткие – словно бревна сплавляются по реке. Но это все чужие, из верховьев. Из местных новостей страшная, не хотел писать даже, – ребенок поехал на

велосипеде кататься в поля, и пропал, три сутки искали, а нашли велосипед красный у степного озера, кровь да косточки. И кто это был – не знают. Много тут смерти, Катечка, и людской, и животной. Хотя вот некий рыбак, местный убогий – провода с десятитысячника срезал на цветмет, а жив. Оказывается, в этот самый момент их отрубили – был где-то обрыв. Говорят ему: как же ты не побоялся, что тебя убьет? А я, говорит, их сперва рукой так потрогал, проверил. Иван смеется, колышется его огромный медный живот.

Смотрел сегодня обратные билеты».

«Катечка, холодает. Но я уже привык и как-то совсем обрусел. Лодку мы с Иваном спустили на воду, и правда – стал я плавать, ловить молчаливых рыб. Хозяева поят меня молоком – корова у них, Ночка, вся белая, а по одному боку черные пятна, похожие на карту мира, а молоко у нее немного жидкое, синевой отдает, как будто лунное.

Мыши пришли в дом, и очень я с ними мучаюсь. Они пахнут. Жаловался, а мне говорят: «А вы мойте». Я говорю: «Да я мою каждый день». А они: «Да вы мышей мойте». По ночам спать не могу совсем, кругом бег, писк, ужасно противный, сдавленный такой. Хочу что-то сделать – мышеловку, или клей, или отраву. Не могу решиться: все думаю, что менее мучительно – отрава в крови, тошнота или перешибленный хребет. Но что сделаешь, иногда убивать приходится, вы там просто не представляете. Взял у Гали кошку – мне кажется, у них с мышами какой-то договор, они бегают прямо при свете повсюду, а кошка лежит, прикрыв глаза, и только улыбается.

На реке стал подвозить местных – кому вдоль реки на острова, есть Змеиный, есть Кроличий – а кому на ту сторону в Несказань. Лодка у меня на всей реке самая большая, а притом быстрая, ловкая.

Вот еще что странно: узнал сегодня, что все, кого я на своей лодке подвозил, в течение недели умерли».

«Катечка, вот и морозы. Видел мышь, она выглядывала из-за «Тайной вечери» Леонардо, что висит тут в красном углу, – мышь высунула нос и нюхала меня долго, чем я пахну, какой от меня воздух – а нос ее был розовый, и усики. Потом бежала по стене, как ящерица, растопырив пальцы, и ушла в стену, за штукатурку в трещины, еще был виден хвост. Очень хочется потрогать их за хвостики – такие они гладкие. С тех пор как я полюбил мышей – они мне перестали докучать, куда-то ушли, иногда только приходят – и кажется, что-то приносят, может быть, я сам мышь,

потому что вижу и стены, и дранку, и фундамент дома, и корни под ним, и землю, и песок, и камни, и все куда-то вглубь.

Спрашиваешь, когда я вернусь. Похоже, останусь на зиму. Все меня уже узнают, привыкли, говорят – «Это Гали Дургановой нежилец».

В палисаднике по вечерам стала кричать сова. У этой совы голос как у тебя. Ты, Катечка, только не приезжай сама, пожалуйста, не приезжайте, ладно?»

Александр Шуйский
После всего

Я проснулся позже всех и у меня волосы как перья – светлые, мягкие и торчком, поэтому меня зовут Серая Сова. Я сказал, что

это не очень-то имя, но Зои сказала, что был такой индеец, книжки писал. Она говорит – хорошие.

Настоящего своего имени я не помню. У нас не все помнят. Зои – помнит, бабушка Агата – помнит. Что Рона зовут Рон – знала Зои, а потом он и сам вспомнил, Рональд, вот как. А меня, Молчуна и Ежика назвала Зои. Ежику семь, но две трети своей жизни она провела в больнице, после последней химии у нее едва-едва отросли волосы, они и правда торчат, как очень мягкие колючки. Ежик почти не говорит и все время прячется за бабушку Агату. А Молчун пришел на второй день откуда-то снизу и первые сутки вообще не сказал никому ни слова, только смотрел на все совершенно круглыми глазами. Это мне Зои потом рассказала.

Когда я первый раз вышел к Дверям, я чуть не умер от ужаса. За ними был ад. Настоящий, как в кино. Я не очень отчетливо помню, но в каком-то кино я точно это видел: плотная туча летящего пепла, спекшаяся, оплавленная земля, и до самого неба – не то туман, не то песок, то серый, то рыжеватый. Центральные двери нашей больницы стеклянные от пола до потолка, можно все разглядеть очень хорошо. Хотя, если честно, смотреть было особенно не на что. За три шага от дверей было уже не различить ничего, кроме серого или рыжего марева.

Конечно, мы пытались понять, что случилось. Как так произошло, что мы все очнулись в пустой больнице один за другим. Что произошло снаружи. То есть что произошло снаружи, было более-менее понятно – катастрофа. Но вот что было до этого? Всю клинику куда-то эвакуировали, а нас, как самых тяжелых, решили везти в последний момент – и не успели? Не нашли транспорт? Не так-то просто перевозить впавших в кому. Или просто бросили, как безнадежных? Понятно, что во время удара больница каким-то образом запечатала сама себя, хотя я про такое только читал в фантастических романах. Но, с другой стороны, последние шесть лет я пролежал в коме, за это время могли изобрести все что угодно. Поэтому меня не очень удивляло, что есть свет, вода и воздух, что работают все системы, что мыться можно хоть десять раз в день, а в кухонном блоке в морозильниках полно еды. Только телевизор не работает, да и бог с ним.

Удивляло другое: как нам удалось очнуться? Когда проснулся я, я уже просто лежал на белой кровати, чистый и умытый, бабушка и Зои постарались, а Зои рассказывала, что ей пришлось самой выпутываться из проводов и трубок. Она вообще была в

сознании глубже всех – можно же так сказать? Если бывает глубокий обморок, может быть неглубокое сознание? Потому что в каком-то сознании я все-таки был. Я кое-что помню, хотя и смутно, это как будто выныриваешь ненадолго с очень большой глубины, и тогда слышишь голоса над собой. Хоть и не всегда понимаешь, что они говорят. Зои помнит гораздо больше.

Самая старая у нас бабушка Агата, потом Рональд, потом Молчун, потом Зои, потом я, потом Ежик. Но Зои в сознании глубже всех. Я буду так говорить, потому что не знаю, как сказать иначе. Это она дает имена, потому что ей нужно называть тех, с кем она говорит, даже если они не отвечают, это она так сказала. Это она задает вопросы и ставит эксперименты. «Вы заметили, что мы совсем не хотим есть? Я попробовала не есть сутки и даже не проголодалась. А в туалет кто-нибудь из вас хоть раз ходил?»

Я ходил. Даже не один раз – вечером первого дня и утром второго. И есть я действительно не хочу. Сначала было очень приятно сгрызть яблоко или банан, съесть кусок жареного мяса – я никогда не ел мясо вот так кусками, с ножом и вилкой, только парное и протертое. А потом, на четвертый день или третий, особенно после вопросов Зои, заметил, что хватаю с утра из холодильника банку йогурта – и забываю съесть что-нибудь еще. Я даже думал, не рассказать ли об этом Зои, но понял, что она не спрашивает на самом деле. Ей не нужно, чтобы мы отвечали, ей просто так легче думается.

Так что я не отвечаю, потому что понимаю, как на самом деле, Ежик – потому что не понимает вовсе и стесняется, а вот Молчун и Рон охотно обсуждают с Зои все происходящие с нами странности. Бабушка Агата только вздыхает: «Как они могли нас бросить, ну как? Как же так можно? И что нам теперь делать? У меня скоро сердечные капли закончатся, где я новых возьму?»

«Лучше спросите, что мы будем делать, когда закончатся вода, еда и воздух», – замечает Рон не без ехидства. Мы все сидим в комнате с телевизором и диванами, которую называем гостиной, как будто это и вправду наш дом, мы сидим здесь все вместе каждый вечер. У меня, Зои, Молчуна и Рона – отдельные палаты, а Ежик перебралась к Агате, мы еще нашли им маленький диванчик и торшер, чтобы было уютнее. И стащили на диванчик все детские книжки, которые нашли в клинике. Ежик прочла их каждую уже раз по десять, но ей не надоедает.

«Вода и еда нам явно не нужны, – замечает Зои. – Бабушка Агата, а зачем вы пьете эти капли? У вас болит сердце?»

«Всю жизнь пила, – отзывается Агата и смеется. – Пью –

значит, жива. Нет, сердце не болит. Даже поясница не болит. Но будет очень обидно, если я перестану пить, а оно вдруг возьмет и остановится, понимаешь? Со мной уже один раз так было, и я не хочу повторения».

«Как же все-таки получилось, что мы все взяли и выздоровели?» – спрашивает Зои как бы про себя.

«Я думаю, это радиация, – говорит Рон очень авторитетным тоном. – Как-то она на нас повлияла. Никто же толком не знает, как могут встряхнуть организм стресс и радиация».

«То есть радиация все-таки сюда проникла?» – уточняет Зои.

«Ну да».

«Но мы тут герметезированы, как в бункере. Клиника схлопнулась сразу, автоматически, как ракушка. Р-раз и все. В наши двери можно теперь только смотреть, ни войти, ни выйти».

«Я не знаю, Зои, – говорит вдруг Молчун очень мягко. – Я знаю, что был мертв, а теперь жив, и мне, признаться, все равно, каким образом».

Вот так наши разговоры и крутятся, как бабочки вокруг фонаря, вокруг одной и той же темы, целых шесть дней.

А на седьмой день идет дождь. Он идет весь день и всю ночь, сплошной стеной, он прибивает пепел и пыль, и на утро восьмого дня идет тоже, но теперь он совсем другой, сквозь него бьет солнечный свет. Я вспоминаю, что кто-то в моем детстве называл такое «слепой дождик». И что после него всегда бывает радуга.

Каким-то образом мы все, не сговариваясь, оказываемся в холле. В наших палатах все окна и балконные двери забраны стальными жалюзи, они, видимо, опустились, когда клиника схлопнулась, как ракушка. Но большие входные двери толстенного стекла не закрыты ничем, по ним мы следим смену дня и ночи, и в них смотрим сейчас как зачарованные на мелкий слепой дождик и золотой свет сквозь него.

Мужчины переглядываются и притаскивают из угла холла большущий длинный диван, мы все садимся на него и смотрим на дождь. А потом он проходит и остается только мокрая земля, твердая и блестящая, и капли, стекающие с карнизов клиники. Но мы все равно сидим и смотрим на невероятно синее небо. Мы, наверное, уже и не думали, что увидим его, столько пепла носилось в воздухе.

Поэтому мы не сразу слышим звук, долгое, тихое шипение. Он разносится отовсюду, длится несколько минут, а потом стихает. И я понимаю, что слышу запахи. Влаги, мокрой земли. Те, которые бывают после дождя.

Я встаю с дивана, Зои сразу встает за мной, мы очень медленно идем к дверям. Потом смотрим друг на друга и изо всех сил тянем на себя одну створку. Она открывается, и в холл врывается такая невероятная свежесть, что какое-то время я стою и только дышу. Дышу изо всех сил.

А потом раздается новый звук, уже снаружи. Он низкий, тяжелый, как гудение огромной органной трубы, он нарастает и ширится, я чувствую его всем телом, от него начинают дрожать стены клиники, от него дрожит даже спекшаяся в камень земля, я изо всех сил держусь за большой поручень на двери, Зои точно так же хватает ртом воздух рядом со мной, чуть пригнув голову и держась за поручень. Гудение сносит нас с ног, как ветер, и стихает, когда мы уже думаем, что не вынесем больше ни секунды этого звука.

И на стихающем звуке приходит свет.

Это не солнечный свет, это огромный золотой пологий поток, как бывает с солнечными лучами на закате, и я почему-то думаю о луче из тарелок инопланетян, по которому они спускались и поднимались. А еще которым они похищали людей. Но тут не один такой луч, их множество, они как бесконечный дождь из света, и этот дождь теплый, самый теплый и ласковый дождь на свете.

Мы с Зои, все еще вцепившись в поручень, стоим и видим, как мимо нас молча проходит бабушка Агата, она несет на руках Ежика, и лицо у нее при этом такое, как будто ничего плохого больше не будет никогда. На ступеньках она оборачивается, говорит: «Спасибо, мои хорошие», и я вижу, что по щекам у нее текут слезы, очень мелкие и быстрые, и дорожки от них светятся так же ярко, как золотой пологий свет. Она крепче прижимает Ежика, Ежик крепче прижимает к себе самую любимую книжку, и они уходят, растворяются в золотом свете, скрываются за ним, как за стеной тумана.

Мимо меня проходит Молчун, кивает нам и проходит мимо, подставляя лицо потоку, чуть ли не ловя его губами. Я оглядываюсь: рядом со мной стоит Рон и с беспокойством смотрит на нас.

– Ребята, вы идете? – говорит он.

– Ага, – говорит Зои, потому что я не могу выдавить из себя ни слова. – Ты иди, мы чуть позже.

Он кивает, как Молчун, и тоже уходит в поток. Зои отцепляется от поручня, делает за дверь два шага и опускается на ступени крыльца, согнувшись и стиснув себя руками.

Я сажусь рядом и говорю:

– Ты чего?

Она поднимает голову, и я вижу, что она плачет, только у нее на щеках дорожки совсем не светятся.

– Я думала, что Его нет! – кричит она. – Я думала, что Его нет, а Он есть, и теперь вот это все! – она тычет пальцем в спекшуюся землю. – И я всю жизнь только сама, сама, сама, и ты посмотри, чем кончилось! И это при том, что Он есть? Да Он последняя скотина после этого!

– Ты чего, – говорю я снова, опешив, потому что я никогда не видел, чтобы Зои кричала и размахивала руками. – Ты чего, все же хорошо. Смотри, все уже ушли. Может, и мы пойдем?

Мне немного страшно этого золотого света, но все-таки очень хочется подойти поближе и хотя бы потрогать его руками. И, может быть, войти, если он теплый.

– Да как я к Нему пойду? – говорит Зои, уже немного успокоившись. – Я не могу к Нему сейчас идти. Я буду плевать Ему в лицо, пока меня не оттащат все Его ангелы или кто там у Него – она сжимает кулаки и говорит с прежней яростью: – Буду плевать, пока слюна не кончится. Как Он мог так поступить с нами? Кто угодно, только не Он.

Я какое-то время просто сижу молча, прижавшись плечом к ее напряженному плечу. А потом говорю:

– А куда мы тогда пойдем? Нужно же все-таки пойти куда-нибудь.

Зои вдруг встает. И говорит:

– Мы пойдем к морю. Я думала, что больше никогда его не увижу. И я хочу его видеть гораздо больше, чем Этого, – она дергает подбородком в сторону золотого потока. Потом смотрит на меня. – Пойдешь?

– Пойду, – говорю я. И добавляю: – Только я даже не знаю, в какую сторону идти.

– На юг, – говорит Зои. – Мы пойдем на юг. Эта штука должна указывать на восток, так всегда бывает, значит, юг вон там. Если идти на юг, рано или поздно придешь к морю.

– А если она не с востока? – смеюсь я. – И мы пойдем совсем не туда?

– Рано или поздно придем. Будем идти, пока не придем. Ты забыл? Мы теперь мертвые, нам все можно.

Я киваю, мы огибаем здание больницы так, чтобы поток света оказался слева. Когда-то вокруг всего комплекса был большой парк, я видел его мельком, когда меня привезли сюда, но сейчас на мили и мили вокруг нет ни единого деревца, и горизонт просматривается очень хорошо. Я тяну носом воздух и мне кажется, что я слышу запах моря. Мы встаем боком к свету, лицом к горизонту, – и идем к морю.

Александр Шуйский
Кого хочешь забирай

Хоровод из дюжины детишек бодро бежит против часовой стрелки.

– Как на Танины именины испекли мы каравай…

Дети останавливаются, задирают сцепленные руки верх.

– Вот такой вышины…

Кольцо стремительно приседает.

– Вот такой нижины…

Опять срываются с места, бегут по кругу. Главное – не расцепить рук.

– Каравай, каравай, кого хочешь забирай. Я люблю вас всех, а…

Если зажмуриться и стиснуть сильнее пальцы соседа, Алика, то пронесет.

– Тимошу больше всех!

Пронесло.

Больше всего на свете боялась этой игры. Потом с удивлением узнала, что их воспитательница переиначила текст – полагалось петь «кого любишь, выбирай». А, может быть, она сама ослышалась и запомнила навсегда именно эту формулу: кого хочешь забирай. Забирай кого хочешь. Ирина Витальевна была худой, костлявой, очень старой, пучком седых волос, во время игры в «каравай» несколько прядей всегда выбивались и вставали белесым пухом вокруг лица. В самой драгоценной книжке на свете, в тяжелом переплете, с толстыми страницами и картинками в рамках тисненого золота, именно так выглядела Смерть, когда пришла стать крестной матерью сыну бедняка. Столько, сколько помнит себя, Яся каждый раз обмирала на этой картинке. В сказке Смерть запросто заходила в людские дома, не по службе, а так, будто она тоже живой человек, вот хоть на крестины, и это было самое страшное, куда страшнее любой ведьмы в лесу, любого дикого зверя. В чащу можно не заходить, от зверя – убежать или влезть на дерево, а куда денешься от крестной, да еще и одарившей тебя, будто это и в самом деле подарок: остальным, мол, не видна буду, а крестник всегда меня будет видеть. И вот заходишь ты к соседям или друзьям, а там уже крестная мама сидит, кивает тебе от двери: здравствуй крестничек. На столе каравай, кого хочешь забирай.

Два года, сколько жили они в темной коммуналке на Пряжке, сколько Яся ходила в детский сад «Солнышко», два года группа

время от времени принималась играть в «каравай». Ясю ни разу не выбрали. Но каждый раз, когда повисала секундная пауза, она чувствовала, как на шее встают дыбом короткие волоски, вдоль позвоночника прокатывалась жаркая, томная волна, ноги подкашивались, а в глазах темнело.

Много лет спустя школьная подруга затащила Ясю в парк на аттракцион «Сюрприз». На деле это оказалась гигантская центрифуга, и было очень здорово воображать себя космонавтом в центре подготовки к полетам – тогда все бредили космосом. Колесо вставало чуть ли не вертикально, ты несся по кругу вниз, наваливалась ужасная тяжесть, но потом колесо взлетало вверх, и внутри у Яси тоже все взлетало, волоски вставали дыбом, а по телу прокатывала знакомая волна – не в полную силу, но очень близко.

Еще несколько лет спустя, на втором уже курсе, Яся наконец узнала, что такое множественный оргазм. Впервые, потому что все детские эксперименты с собой она старалась закончить как можно скорее, саму ее ни разу не застукали, но от подруг она наслушалась, как за такое влетает от родителей. Так вот, был там один момент, когда одна волна уже прошла, но остается еще какое-то послевкусие, недосказанность, то самое томное и горячее по позвоночнику, что обещает новую волну, если не остановиться. Вот этот момент лишь отчасти напоминал то сильное, нестерпимое наслаждение детства, когда выбор падал не на нее. «Взрослый» эксперимент так и остался экспериментом, молодой человек сначала исчез на лето, а потом взял после второго курса академический отпуск, и так и не появился в институте, Яся его не искала и вообще больше никого не искала – справлялась собственными силами, и получалось у нее куда лучше, чем в паре с кем бы то ни было еще. Может быть, дело было в том, что восхитительное полуобморочное состояние, которое накатывало одной волной за другой, ни с кем не хотелось делить, она пробовала, и с мальчиками, и с девочками – все было как-то не то. Партнер сопел, стонал, отвлекал, да попросту мешал партнер, как мешали визжащие соседи на аттракционе «Сюрприз».

Каравай-каравай, кого хочешь забирай. Я люблю вас всех, ну а Ясю – больше всех.

Поэтому когда ей объявили диагноз, она даже с некоторым удовольствием почуяла, как бегут мурашки вниз по затылку, как волоски на шее встают дыбом, а от груди к животу прокатывает томное и горячее. Ей показалось на секунду, что сидит в углу прямая седая старуха и кивает: ну, здравствуй, крестница.

Старуху она, конечно же, выдумала. Да и диагноз оказался не

смертельным, хотя и неприятным, не рак груди, так, новообразование. В больнице все-таки пришлось посидеть, но и это было не так плохо, как могло показаться сначала: больница была за городом, апрель выдался очень теплым, ужасную соседку с раком горла перевели в другую палату на второй день, мать приезжала раз в три дня и привозила тонны фруктов – словом, больничная жизнь оказалась очень недурна.

Если бы не собака.

В самой собаке не было ничего необыкновенного. Обычная дворняга с узкой улыбчивой мордой, цвета очень грязной овчарки. Она приходила по утрам и садилась на одном и том же месте, прямо под окном Ясиной палаты. Яся потом вычислила, что как раз под ее корпусом должна размещаться кухня, и пес, скорее всего, просто дожидался объедков. Во всяком случае, около десяти утра собака вставала и уходила, быстро исчезая из зоны видимости.

Необыкновенно было то, что каждый раз, выглядывая в окно и видя на газоне песочно-серого пса, Яся ловила свою невероятную волну, едва не умирая от наслаждения. Это было сильнее, чем карусель «Сюрприз», сильнее, чем множественный оргазм. Приходящая обморочная волна накрывала, как прилив, окружающий мир превращался в размытые пятна, в центре живота нарастал огромный и горячий, как солнце, тугой шар какого-то невероятного усилия, он рос и рос, а потом взрывался вместе с Ясей вспышкой такой яростной, что темнело в глазах.

Два или три раза она пыталась выскочить на улицу, чтобы познакомиться с удивительным псом, но каждый раз, пока она бегала по коридорам и лестницам, пес уходил. А в другое время он не появлялся.

После операции Яся два дня лежала пластом. На третье утро заставила себя встать и дойти до окна. Собаки не было.

Прошло больше двадцати лет, когда она снова увидела эту собаку. Большую часть этих лет Яся не помнила – так, выскакивали иногда какие-то обрывки. Она жила от одной волны до другой, и каждый прилив приходил на несколько дней, за годы практики Яся научилась распознавать скорое приближение «таких дней», стелила соломку, как опытный эпилептик: запасалась едой и срочно доделывала всю работу, которую следовало сдать в первую очередь, отделывалась от всех встреч и запиралась в своей однокомнатной квартире. Приливы приходили, когда хотели, один раз их не было целых два года, и Яся даже успела закрутить какой-то невнятный роман, который немедленно бросила, как только почуяла приближение новой волны. Отношения требовали

сосредоточенности на ком-то еще, а она едва справлялась с проживанием собственных ощущений. И еще отношения требовали постоянного выбора. А выбирать Яся не любила больше всего на свете. Она любила, чтобы выбирали ее, то есть не ее, а кого-то рядом с ней. В итоге она лет за шесть успешно выдала замуж четверых подруг – каждый раз сдавая приятельницу общему знакомому и каждый раз немедленно исчезая из дальнейшей жизни новообразованной парочки. Каравай-каравай.

О своих приливах она никому не рассказывала. То есть попробовала один раз объясниться, сбивчиво и беспомощно – и еще в процессе объяснения с ужасом увидела, как ее самые яркие, самые лучшие мгновения превращаются в какую-то постыдную блажь, сродни просмотру порнографических роликов в одиночестве. Собственно, после этой попытки приливы и прекратились на два года, и это были самые худшие двадцать шесть месяцев в ее жизни, несмотря на влюбленность, покупку общего жилья (из раздела которого потом получилась ее квартирка) и предсвадебные хлопоты.

Был период, когда она запоем читала эзотерическую литературу, без системы и разбора, потому что большая часть этих книг попадала ей в руки на редактуру – эзотерика была в моде, большей частью переводная, переводчики «гнали объем», а ей доставалось придавать чужим откровениям, и без того невнятным, мало-мальски читабельную форму. Там много было о видениях, о переживаниях во время клинической смерти, о порталах слепящего света, о множественных мирах, в которые вели эти порталы. Но ни разу она не встретила описание переживаний, похожих на ее собственные: ее портал раскрывался не снаружи, а внутри нее самой, и самым замечательным было не то, что в него можно было выйти, а то, что можно было как раз не выходить. Проживать его во всей полноте, но не выбирать. Обещание возможной избранности было слаще избранности состоявшейся, и, если уж совсем начистоту, самым сладким был последний вечер «таких дней», когда было уже понятно, что прилив ушел восвояси и можно приготовить обильный ужин и положить ощущение сытости поверх только что прошедшего урагана. В «такие дни» она ела не меньше пяти раз в день, однообразно, но жадно – голод и его утоление были абсолютно контрастны приливам: тяжелые, почти животные, очень понятные, и оттого особенно ценные.

Приливы всегда приносили сильные ощущения, но все это не шло ни в какое сравнение с ослепительной волной, которой ее накрыло в то утро, когда она снова увидела больничную собаку.

То есть, конечно же, не ту самую больничную собаку, просто очень похожую. Какая собака прожила бы столько времени, да и откуда бы взяться тому псу из поселка Песочное в ее микрорайоне, за десятки километров? Яся стояла перед окном, ее тело, только что взорвавшееся сверхновой, медленно превращалось в атомный гриб высоко над горизонтом, а во дворе сидела собака. Точно такая же собака, которая сидела тогда в апреле под окнами онкологического центра.

Но на этот раз пес имел дело не с дурочкой-студенткой, а со вполне взрослой женщиной, начитанной и умной. Поэтому на следующий день Яся уболтала очередную подругу заночевать у нее, и за утренним чаем, поймав знакомую волну, попросила выглянуть во двор.

– А что? – сказала Нина, озирая чахлые кусты сирени и детскую площадку. – Что я должна увидеть?

– Собака не сидит?

– Нету никакой собаки. Машина стоит моя криво. Вот это я вчера запарковалась, пять баллов просто. А должна быть собака?

Яся соврала что-то небрежное, быстро накормила подругу завтраком, быстро выпроводила из дома. Можно было попытаться показать загадочного пса кому-нибудь еще, но Яся заранее знала результат. Еще можно было попробовать выскочить на улицу и постараться все-таки застать собаку, ей бы очень сильно полегчало, если бы это оказался самый обычный пес, с влажной, вонючей шерстью, мокрым носом и репейником в пушистых штанах. Но почему-то именно этого она сделать не могла.

Зато она смогла заставить себя сходить до клиники. Ее покрутили так и эдак, сделали кучу анализов, отправили на УЗИ. И УЗИ что-то показало. Что-то сомнительное, что требовалось на всякий случай изучить, тем более, что анамнез не очень хороший, две недели в онкоцентре в Песочном не может быть хорошим анамнезом, даже если прошло двадцать лет.

Яся послушно еще раз сдала анализы, записалась на пункцию, покивала на множественные уверения, что пока ничего не понятно и бояться нечего, – и пустила в ход операцию «такие дни», то есть отказалась от новой работы, закончила старую, набила морозилку едой и отменила все встречи. К собственному удивлению, бояться она как раз не боялась. Состояние, которое она называла «я плыву», было теперь при ней почти постоянно, и лучше этого не могло быть ничего на свете.

Утром она выглянула в окно. Пес сидел на месте. Его улыбчивая морда была немного отвернута в сторону, как будто он делал вид, что вовсе даже не смотрит на ее окна. Начинались первые заморозки, трава была влажной от изморози, над травой

стоял туман, такой густой, что сквозь него еле проглядывали качели, а соседнего дома не было видно вовсе. «Привет, крестная», – сказала Яся собаке и взялась готовить завтрак.

Второе утро выдалось солнечным, пес не сидел на газоне, а полулежал, вывалив розовый язык. Тень от одинокого большого клена тянулась через весь двор, листья на нем опали еще не все, и от солнца сквозь ветки рябило в глазах, поэтому Яся не сразу заметила, что со вчера детскую площадку демонтировали и увезли. На третий день со двора исчезла половина машин, но Яся возвращалась из клиники после пункции, и ей было не до таких подробностей, до дома бы добраться.

Утром четвертого дня прошел дождь, намыл траву, сбил последние листья с клена и двух каштанов, вычистил асфальт – и вот тогда, выглянув в окно, Яся увидела совершенно незнакомый ей двор. Нет, это был, несомненно, ее двор, и соседний дом был виден за деревьями. Но в этом дворе не стояло ни одной машины, бывшая детская площадка заросла травой, а на траве толстым слоем лежали ярко-рыжие листья. Поверх листьев лежал пес, вывалив свой розовый язык, и смотрел уже прямо на ее окна.

– Фиг тебе, – тихо сказала Яся. Со вчерашней пункции сильно болел живот, ее подташнивало, а от привычной фоновой эйфории теперь скорее кружилась голова, чем делалось хорошо и томно.

Пес прикрыл пасть, сглотнул и снова вывалил язык.

Яся вышла в коридор и посмотрела на ботинки. Тумбочка с зеркалом в прихожей была полна медицинских бумаг – ее карта, отдельные листки анализов, какие-то выписки. В зеркале отражалось размытое белое лицо с темными пятнами глаз, с резкими тенями, некрасивое и испуганное. Завтра или послезавтра ей скажут результат. Если она, конечно, вообще пойдет за ним. Если сможет хотя бы позвонить.

– Фиг тебе, – повторила Яся и сунула ноги в ботинки. Потом надела куртку, замотала горло шарфом, постояла еще перед дверью, пока не стало жарко до такой степени, что либо выходить, либо раздеваться, – и вышла из квартиры.

Лифт вызывать не стала, пошла по лестнице пешком. Жаркая, мотающая из стороны в сторону волна заносила ее к стене на каждом повороте лестничных пролетов. В ушах звенело, в глазах рябило. Дверь подъезда она просто толкнула плечом, не глядя. Волоски на шее стояли дыбом. Лицо горело. Завтрак просился наружу.

Когда муть перед глазами немного разошлась, она увидела, как лучи ветра косо бьют сквозь зеленую гладь дороги, и от этого по шелковой поверхности идет легкая рябь, собираясь в складки,

а по дороге уходит вперед собака цвета песка с подпалинами.

Александр Шуйский
Обратная сторона

Наверное, о множестве городов, больших и малых, можно сказать «нет ничего проще, чем устроить здесь чью-то жизнь». Но если слышишь «Нет ничего проще, чем устроить здесь чью-то смерть», – можешь быть уверен: речь идет о единственном городе на свете.

Это было первое, что я услышал в Венеции.

Когда садился мой самолет, уже темнело, и на островах я оказался почти ночью. В глазах прыгали только болотные огни на зеленых сваях – никаких дворцов и стрельчатых окон на фоне бледного неба. Зато отовсюду доносился внятный тихий плеск – о камень, о дерево, о набережные и пристани, – как будто кто-то очень серьезно и вдумчиво аплодировал сам себе. И запах, от которого сводило горло и вычищало пазухи – запах зимнего моря. Карнавал уже кончился, сезон еще не начался, фонари на обглоданных морем сваях светили сквозь туман у самой воды.

Я не мог спать, мне хотелось немедленно, сию же минуту пересчитать все мосты и набережные, я добрался до гостиницы, оставил рюкзак в узком, как пенал, номере с окном от пола до потолка, и помчался, приплясывая, по желобам улочек, будто шарик, выброшенный в лабиринт ловким пинком. Я шел, вдыхая каждый камень, я нырял в темные арки, больше похожие на щели в домах, я трогал пористую, рыхлую штукатурку и дверные молотки под ромбами зарешеченных крохотных окошек.

Улочка неожиданно нырнула под дом, а потом оборвалась. Я отшатнулся и еле удержался на скользком камне. Еще полшага – и я был бы в канале, невидимом из-под дома. Ни ограды, ни ступенек, а плеск воды теперь походил на смех сквозь прикрытый ладонью рот.

– Нет ничего проще, чем устроить в этом городе чью-то смерть, – сказали мне прямо над плечом, я обернулся, но увидел только спину, – разумеется, в темном плаще до пят, и, разумеется, незнакомец тут же исчез между темных арок. Мне и в голову не пришло бежать за ним вслед: скорее всего, мне послышалось. Я пожал плечами и снова превратился в шарик в узких желобах, и слонялся по городу до тех пор, пока не начал засыпать на ходу. До кровати я добрался глубокой ночью и провалился в сон разом, как в воду того самого канала.

Утро выдалось солнечным и ветреным, я проглотил

положенный мне от отеля завтрак и поспешил в город. Мне не терпелось пройти тем же маршрутом – узнаю я черный обрыв улицы в канал или при свете дня он будет выглядеть совсем иначе? Или вовсе никогда не смогу снова оказаться меж тех же самых стен с низкими балками проходов через дворы? У меня была карта, но я довольно быстро понял, что она бесполезна – половина улиц и лазов на ней не значилась, пытаясь выйти к палаццо Контарини, я дважды описал большой круг, и когда оказался у моста Риальто в третий раз, сложил карту, убрал в рюкзак и пошел, куда поведут глаза, а им было куда повести.

В переулки, на Страда Нова, опять в переулки, вот между домами снова мелькнул мост Риальто – с перепугу я принял его за башню, он показался мне стоящим вертикально, будто крыло разводного моста. Какая-то церковь, снова переулки, крошечный двор… дальше было не пройти. Весь двор был залит водой, ровной зеркальной поверхностью, так что дома, окна и подворотни двоились в отражении, но верхние стояли неподвижно, а нижние, яркие, как витражи или акварели, подергивались и вздрагивали. Я подумал, что если пройти по воде через двор и нырнуть в черный зев между белыми колонами, то мое отражение, кривляясь и подмигивая, зайдет в зеркального близнеца – и пойдет себе путешествовать по другой, зеркальной Венеции, подвижной, как ртуть, яркой, как вещий сон.

Чем ближе я подходил к Соборной площади, тем больше становилось воды и медленнее двигался людской поток. Наконец в одном из переулков пришлось подняться на деревянные подмостья, которые всегда стоят наготове в Венеции, сложенные друг на друга, как пластиковые стулья в доме, где часто случаются внезапные гости. Свернув по ним за угол, я оказался прямо под часовой башней. Женщина-полицейский, вооруженная полосатым жезлом, отмеряла порции желающих пройти с площади и на площадь, как машины на перекрестке.

Я остановился, дожидаясь своей очереди. Вся площадь была залита водой, арки двоились, как карточная колода, кирпично-красный карандаш кампанилы пронзал небо, темно-бордовый отражения – уходил глубоко вниз. Солнце сияло на небе цвета июня, плясало бликами на воде. Столы и стулья кафе как ни в чем не бывало занимали привычные места, разве что скатерти были подвернуты. Я снял мокасины и носки, подвернул джинсы и спрыгнул в воду. В первый момент она обожгла холодом, а потом показалась довольно теплой. Кто-то заливисто свистнул мне вслед.

…Оказалось, что площадь Святого Марка во всем похожа на берег моря. У собора и башни вода стояла довольно высоко, зато

вглубь, к аркам, становилось все мельче и теплее, в одном месте, ближе к «Флориану», плиты мостовой выгибались настоящей отмелью, и на эту отмель набегали крохотные волны прибоя. Чайки плескали крыльями по воде, эхо от этого плеска тихо расходилось по сотням арок. Я прошел всю площадь наискосок, но в тени башни стазу стало очень холодно, и я вернулся на освещенную сторону, к рядам столов и желтых стульев. Кофе здесь стоил пять евро за чашку, но за один только невозмутимый вид официанта по колено в воде – при фраке, перчатках и в высоченных резиновых сапогах, – можно было отдать все десять. У меня внутри рос огромный горячий шар, он расширялся с тем самым многократным плеском, который разносился отовсюду, и брань чаек звучала как часть всеобщего ритма.

Я допил кофе, снова перешел площадь, выбрался на ступени, обулся и продолжил кружение по городу, бессмысленный и восхитительный вальс на одного, под тихий плеск, под разноязыкий говор туристов, под золотое тепло сверху и сине-зеленый холод снизу, под скрип множества уключин, хлопки белья на веревках в узких переулках, под воркование голубей.

Что-то странное происходило со мной. Щеки горели, непривычные к такому солнцу посреди зимы. Я по-прежнему отчетливо видел город, до каждой трещины на штукатурке, но одновременно передо мной плясало марево, какое встает летом над разогретой дорогой – как если бы я смотрел одновременно сквозь воздух и через прозрачный слой зеленоватой воды. Слой становился все толще, щеки горели все сильнее, спина была уже совершенно мокрая под курткой. Мое отражение в зеленой воде было совершенно черным и бесформенным, как будто отражался не я, а давешний незнакомец в плаще до пят.

Где-то на краю сознания мелькнула мысль, что очень глупо было в феврале ходить по колено в воде, даже если это доставляет настолько острое удовольствие. Что сейчас нужно немедленно закинуть в себя каких-нибудь таблеток и напиться горячего. Но одновременно с этой мыслью ноги вынесли меня на край Гранд-канала, теплый южный ветер ударил во все тело, я на миг задохнулся, а потом нарочно задержал дыхание, продлевая ощущение. Ерунда. Я не болен, я же великолепно себя чувствую. Я вообще очень давно не чувствовал себя настолько великолепно. Может быть, никогда в жизни.

В отель я вернулся уже в сумерках, еле волоча ноги, и даже умудрился заснуть в вапоретто, хорошо, что моя станция была конечная. Чтобы зажечь в комнате свет, нужно было вставить в выключатель карточку-ключ, поэтому когда я вошел и закрыл за

собой дверь, то не сразу понял, где нахожусь: на миг мне показалось, что я в узкой коробке одного из сотопортего – черном квадратном тоннеле, пробивающем первый этаж дома, с неизменным светлым окном в конце, и никогда не угадаешь, что там, в этом окне – двор, новая улица или канал. В моем номере это, конечно, было просто окно, выходящее на маленький балкончик, за окном стремительно густели сумерки, и светлым пятном оно могло показаться только в абсолютной тьме.

Я был счастлив, но совершенно без сил, глаза слипались, голова кружилась. Кое-как раздевшись – утром буду собирать вещи по всей комнате, – я втиснулся в холодный конверт постели, выдернул заправленное в матрас одеяло, свернул из него плотный кокон и заснул почти мгновенно.

Когда я открыл глаза, было еще темно. Меня познабливало, в горле поселилось с десяток рыболовных крючьев, я все-таки простыл. Я кое-как нашарил на столе карточку, вставил ее в прорезь и зажег свет. В углу стола на подносе имелись чайник, чашка и несколько видов заварки, я благословил администрацию отеля и напился горячего. Мне мгновенно полегчало, крючья разошлись, я забрался обратно в постель, еще поворочался и заснул снова. И на этот раз мне приснился сон, такой отчетливый и яркий, каких я никогда не видел, даже в глубоком детстве.

Мне снилось, что уже утро, ясное и солнечное, я иду в город, но не вслепую наугад, а точно зная, куда мне нужно и как туда попасть, я знаю лабиринт этих улиц, потому что я здесь родился и вырос. Меня окликают, здороваются, желают хорошего дня, я киваю и машу в ответ, ловкий, тощий, смуглый и веселый, как ветер накануне карнавала: вот-вот в моем распоряжении будут флаги, лодки, шлейфы и подолы огромных платьев, парики, шарфы, зонтики и бесконечный дождь конфетти. И карнавал, судя по всему, на подходе, потому что навстречу мне то и дело попадаются барышни, одетые вычурно и пышно, я хорошо их знаю, я остроумно шучу и грациозно кланяюсь, и барышни наперебой сообщают мне, как неплохо было бы познакомиться поближе, чтобы они могли поведать, какими птицами расшиты самые нижние юбки их платьев. Кто-то окликает меня по-английски, я перехожу на чужой язык, и в этот момент понимаю, что до сих пор говорил по-итальянски, но понятна мне любая речь, летящая над зеленой водой, и речь самой воды, и ее сверкающий плеск. Город готовится к карнавалу, на Сан-Марко сооружают сцену, тут же кто-то репетирует пародию на обручение дожа с морем, меня зовут смотреть, а потом и втаскивают в картонную золотую галеру, я размахиваю кольцом, целюсь им куда-то за площадь – доброшу, не доброшу? – и смеюсь вместе со

всеми.

…Заснул я рано вечером, заболевающим, а проснулся поздним утром уже совсем больным. Глаза, нос и горло были воспалены, как при сильнейшей ангине, голова пылала, тело ныло и не желало никуда идти, и это был такой контраст с тем, что мне только что снилось, что можно было подумать, будто я все еще сплю.

Я решил, что глупо тратить время на болезнь: как-нибудь управлюсь. Сейчас в первой же аптеке куплю таблеток, наглотаюсь как следует, весь день буду пить, но ни за что не останусь в постели.

В фойе гостиницы я напился горячего молока, потом нашел аптеку, купил таблеток и заглотил сразу ударную дозу. На свежем воздухе мне стало легче, я встряхнулся и заново пошел бродить.

В этот день, то ли из-за сна, то ли из-за болезни, ноги несли меня как можно дальше от парадных кварталов, за мост Академии, на улицы и набережные Дорсодуро. К середине дня я уже вдоволь набродился по синим от теней переулкам и узким мостикам, замерз и проголодался. Может быть, в какой-то жизни я действительно родился и вырос среди этих улиц, потому что безошибочно свернул вдоль нужного мне канала и вышел почти на край лагуны, на залитую солнцем золотую набережную, где пахло жареной рыбой, кофе и свежей выпечкой. Я устроился за столиком прямо у нагретой солнцем стены, съел тарелку чего-то очень вкусного и хрустящего, обхватил обеими руками большущую чашку капучино и сонно смотрел на то, как входит в пролив огромный белый лайнер, слепой айсберг, ведомый крошечным катером-собачонкой.

Наверное, я пригрелся и задремал, потому что ничем другим я не могу объяснить то, что случилось потом.

…Мне приснилось, что меня вдруг стало очень много, настолько много, что мной можно было заполнить город. Отличная мысль, подумал я, почему бы на пойти гулять сразу везде. И я пошел.

Я чувствовал, как меня согревает солнце – первый поверхностный слой – и как тьма и холод лениво колышутся гораздо глубже, у самого дна, где вбиты колья. Пористая губка штукатурки впитывала меня и отдавала обратно, я был ее воздух и ее кровь. Черные решетки на окнах первых этажей оставляли привкус металла у меня во рту. Я дышал очень медленно, очень глубоко. Вдох – и в зеленое живое стекло погружаются мраморные ступени, барельефы под мостами, сваи множества причалов и сходней, а кое-где – и пороги. Выдох – они снова над водой, солнце мгновенно выбеливает их заново. Я лениво

колыхался в пределах каналов, переливаясь маслянисто, и ночью размытые кляксы фонарей отражались во мне как в нефти или в крови.

И это было лучшее, что могло со мной произойти – я был ни жив ни мертв, но абсолютно, бесконечно свободен.

Видимо, я так и побрел тогда по набережной в полусне, потому что очнулся только у Сан-Марко, причем от холода и боли в горле. Действие таблеток кончилось, солнце валилось за Салюте, я не совсем понимал, где нахожусь и кто я такой. Мне хотелось продолжать этот сон, очень похожий на бред, но бесконечно прекрасный. Но моему телу было совершенно плевать на все бредни сознания. Оно хотело, нет, оно требовало, чтобы прошли боль, жар и тошнотворная слабость.

Я съел еще четыре таблетки, две – обезболивающего. Но минут сорок не мог двинуться с места, и слабость на этот раз была ни при чем: над лагуной разгорался закат такой невыносимой яркости, будто лилово-алый дракон собрался пожрать этот город или хотя бы спалить ему небо дотла. Я досидел до темноты, с удивлением отметил, насколько в Венеции тусклые фонари – во всех городах Европы на центральной площади можно свободно читать, не напрягаясь, а тут я едва мог разглядеть собственные руки, – и снова пошел по набережной в сторону порта.

В крохотном помещении – ни дать ни взять освещенная норка в сплошной кладке стены, вывеска гласила, что здесь продают мороженое, но на деле там продавали чуть ли не все на свете – я попросил горячего вина, но меня, видимо, неверно поняли и вручили целую бутылку, тут же при мне звонко открыли и пожелали очень хорошего вечера. А и ладно, напьюсь, решил я, хотя какое там напьюсь с бутылки легчайшего красного. Я шел по набережной, отпивая прямо из горлышка, набережная была почти черной, редкие фонари двоились над водой, простуда отступила, я был пьян, но совсем немного.

Время от времени сквозь плеск воды раздавался глухой одиночный залп – как если бы где-то очень далеко била пушка. Но звук доносился не издалека, а отовсюду разом – ба-бах! – десять секунд передышки и потом снова – ба-бах! Одновременно со звуком мои ноги, бредущие по набережной, чувствовали слабый, но внятный толчок. Сердце, понял вдруг я. Я слышу огромное водяное сердце, которое бьется снизу во все дома и все набережные.

В отель я вернулся, мало что соображая. Самым верным

решением было бы как следует пропарить ноги, напиться горячего чаю, выпить еще таблетку и лечь спать. А я зачем-то вышагивал по номеру при свете тусклой настольной лампы, от двери до окна, четыре шага туда, четыре – обратно. Мне то казалось, что я бреду по улице, скользкой от ночного света, и фонари отражаются в мокрых плитах, а вода подступает к самому краю канала, то представлялся длинный лакированный бок гондолы, в черных перьях и золотых кистях, и неразличимая тень гондольера, молча везущего меня вдоль черных окон и дверных проемов.

Какая-то часть меня хорошо понимала, что я просто немного болен и немного пьян, но гораздо большая часть плыла в золотом мареве, как младенец в колыбели, желая только одного: чтобы это не кончалось никогда. Чтобы не различать, где граница между мной и лодкой, между глубиной и поверхностью, между водой и городом, между жизнью и смертью, чтобы никаких границ не было вообще никогда, чтобы золотой поток нес золотую галеру и золотое кольцо летело в воду, чтобы мы были одним целым навсегда, навсегда.

В очередной раз развернувшись к окну, я сначала замер, потом сделал шаг вперед и замер снова. За окном больше не было ночной тьмы и едва обозначенных в ней теней кипарисов – черные свечи, слегка вызолоченные фонарями снизу и сбоку. За стеклом была вода. Зеленоватая вода канала стояла за окном, как самый огромный аквариум в мире, верхний слой был светлее, дальше вода густела, темнела и превращалась в бездну. И в этой воде что-то шевелилось.

Я сделал еще шаг.

За окном колыхалось белое лицо, припадая к стеклу, прижимаясь так тесно, будто хотело вдавить его внутрь. Туча длинных черных волос колыхалась вокруг лица, как плащ или мантилья. Глаза цвета воды смотрели на меня, по ним рябью в ветреный день пробегали обрывки эмоций – гнев, боль, радость, снова гнев, снова радость. Пальцы выбивали неслышную дробь, перебирали раму, как паучьи лапы или как побеги фасоли. Я прижался к раме со своей стороны, я почти чувствовал запах воды – йода, соли и подгнивших водорослей. Сонная рыба тенью проплыла мимо окна – рука в воде смахнула ее, как муху с пирожного. Мы смотрели друг на друга, как отражения, как близнецы, как единое целое. Наконец лицо отхлынуло от стекла, тут же стало зеленым в толще воды и пропало. Я сделал шаг назад, сел на узкой постели, завернулся в одеяло и только полчаса спустя вспомнил о том, что могу согреть себе чаю.

Утром я проснулся совсем разбитым, зато без всяких потусторонних видений и кошмаров. Болезнь, при всех ее неприятностях, одновременно стала для меня стальным якорем, отделяющим бред от яви – нежеланным, неприятным, но надежным, как и полагается якорю. Мне оставалось провести в номере всего одну ночь, самолет улетал завтра около полудня, а это означало, что у меня есть еще один день в городе, и я был полон решимости прожить этот день как следует, а уж с завтра можно будет добраться до родного дивана и там разболеться по-настоящему. А до того я еще побуду ветром накануне карнавала, чего бы мне это ни стоило потом.

Утро выдалось пасмурным и зябким, к середине дня тучи немного разошлись, но теплее не стало. Передвигался я преимущественно от чашки капучино к пластиковому стаканчику глинтвейна и наоборот. У меня из головы не шло ночное видение. Когда я ночью напился чаю и согрелся, я снова взглянул в окно и снова увидел там то же лицо – собственное размытое отражение, такое яркое в черном стекле, что казалось, будто кто-то заглядывает в комнату. У того, в воде, тоже было мое лицо, я это хорошо помнил, разве что черты были немного ярче и мягче, чем у моего привычного отражения.

Самое странное, что ночной морок больше меня совсем не пугал. В конце концов здесь все так – часть над поверхностью воды, часть – под водой. Все здания двоятся в отражениях, почему бы не двоиться и людям, которые здесь живут, даже если живут всего три дня? Если бы я здесь родился, думал я, меня непременно было бы двое: один я носился бы по улицам загорелым вихрем, а второй – плыл, как рыба на глубине, растворенный в стылой воде.

Я так увлекся этой идеей, что почти не замечал города вокруг. Между тем совсем развиднелось, из-под туч показалось солнце, вызолотило купола собора Сан-Марко, зажгло их невыносимым глазу заревом, но я повернулся спиной к алому и золотому и побрел, глядя в плиты, через синюю тень, к арке Наполеона. Уезжать не хотелось. Уезжать не хотелось просто до слез.

– Attento! – раздалось у меня над самым ухом, а потом на меня полетело что-то вроде золотой оглобли, я инстинктивно выбросил руки перед собой и поймал это что-то, скользящее по наклонной прямо на меня. Это действительно был вызолоченный шест, вернее, огромное весло, длинное, толще моей руки. Если бы я его не перехватил, получил бы лопастью прямо в нос.

Я поднял глаза. Передо мной был остов высокой сцены,

рабочие возились с драпировками, обтягивая ее по периметру. На сцене, чуть накренясь, возвышалась золотая галера, бутафорская, но такая внушительная, как будто ее в самом деле собирались спускать на воду. К ее бортам как раз крепили весла. Видимо, одно соскочило, вырвалось из рук декораторов и поехало вниз, как санки с ледяной горки.

Мне снова что-то крикнули – длинную и очень эмоциональную фразу по-итальянски, а я стоял, обнимая весло, и только мотал головой.

– Инглиш? – с надеждой спросили сверху. Тут я опомнился и заверил, что да, говорю по-английски, но по-итальянски не понимаю ни слова.

– Парень, ты в порядке? – спросили меня очень озабоченно.

– В полном, – сказал я. – А что это будет?

На сцене засмеялись. Один из рабочих спрыгнул вниз, второй перехватил тот конец весла, который еще торчал над сценой.

– Спектакль, – сказал тот, что спрыгнул. – Венчание с морем, потом публичная казнь, потом немножко Гольдони, в общем, все как обычно бывает в нашей Серениссиме. Весло-то подашь или ты теперь с ним сроднился?

Я пожал плечами, приподнял толстенную деревяшку и дождался, когда тот конец, что на сцене, ухватят поудобнее и потянут на себя. Весло втащили наверх, понесли к декорации, замахали и закричали тем, кто был внутри. Парень, который спрыгнул мне навстречу, ловко подтянулся на краю сцены, забрался на нее и вдруг обернулся на меня.

– Ты залезаешь или как?

– А можно?

У меня, видимо, был очень дурацкий и растерянный вид, потому что парень просто согнулся от хохота, упираясь ладонями в колени и тряся головой.

– «Можно»! Мадонна! Вот чудак, мы же тебя едва не зашибли! Я чуть в штаны не наделал со страху – все увидел, и суд, и тюрьму, и родную маму при смерти от горя. Давай я тебе хотя бы горячего кофе налью.

Я кивнул и вцепился в протянутую руку.

Нина Хеймец
Смещение

Ничего не обошлось. Пока спускались с крыши в подъезд, пока мчались вниз по лестнице, перескакивая через ступеньки, отталкиваясь ладонями от стен, холодных и влажных от вечерней росы, была надежда – три этажа, бывает и выше, бывает еще и не

так, откуда только не падают люди, и ничего, ушибы, переломы, сотрясение мозга, да все что угодно. С трудом справляясь с дрожью в руках и коленях, делали Заку массаж сердца, старались задержать в нем жизнь, сдавить ее ладонями, нащупать, не пустить – словно огромное, запутавшееся в одежде насекомое. Потом появилась машина скорой помощи, всполохи перетряхивали небо, подняли над домами пульсирующий красный купол, но Зака уже не было.

Свидетели сходились в показаниях. Следователь, пожилой полный человек с усталым лицом, зачитывал их Гаю одно за другим, ровно пять документов. Пока читал, несколько раз поправлял очки, и Гай успевал заметить на его переносице узкую зеленую полоску – след от металлической оправы. Потом солнце светило прямо в окно, слепило глаза. Черты человека перед ним постепенно исчезли, остался контур на фоне сияющего стекла. «Можете идти», – сказал следователь.

В воздухе стоял песок. Марево подступало к перилам крыши, скрывая от них другие дома и улицы. Вечернее небо казалось почти оранжевым – словно они находились внутри гигантского апельсина. Казалось, еще немного, еще несколько вдохов и выходов, и воздух кончится. Теплое облако медленно заполнит их легкие. И тогда Гай разбежался и прыгнул на перила. «Здесь ветер!» – крикнул он. То, о чем еще не знали на крыше, уже ощущалось здесь, всего лишь полутора метрами выше. Что-то менялось вдали, над морем, поднималось над невидимым им горизонтом, приближалось, касалось его лица и волос. Зак подтянулся на перилах, встал на них, балансируя. «Слезайте! – кричали им, – возвращайтесь!»

– Тут классно! – крикнул Гай, – правда, Зак?

Что было раньше, ветер или Зак? В протоколах все записано, заверено. В памяти полицейского компьютера тот вечер – вереница нулей и единиц, их порядок не будет нарушен. Ради этого в комнате с кодовым замком на невзрачной двери всегда немного прохладно – круглый год работают кондиционеры, обеспечивая оптимальный температурный режим; на панелях управления круглосуточно горят маленькие разноцветные лампочки. Гай возвращается к тем секундам раз за разом, восстанавливает события. Он помнит, что все произошло немного иначе, но все менее в этом уверен.

Он смеется, приплясывая на перилах. Зак стоит рядом, его

руки вытянуты в стороны. Кажется, что все вокруг запаяно невесомым полупрозрачным пластиком. С крыши им кричат, зовут вернуться. Гай оборачивается к Заку, но его нет. И тогда Гай чувствует, что воздух пришел в движение.

Когда исчезает человек, ветер врывается в создавшуюся брешь. Он дует с такой силой, что там, на оборванных краях этих бреши, происходит смещение, нестыковка – детали событий перемешиваются – машину заносит на дороге на долю секунды после того, как был сбит пешеход; все еще живы, а случайный выстрел уже был слышан. Те, кто это заметил, часто не помнят об этом.

Зак улыбается ему. Было это или нет? За ветром можно наблюдать – пока хватит зрения. Мчатся облака, обнажая небо с прозрачными звездами. Брешь не затянута, холодный воздух проникает все глубже. Смещение начинается с мелких предметов; в шкафу обнаруживается прежде не виденная чашка (видимо, забыл кто-то из гостей); на лестнице ты натыкаешься на оставленные кем-то книги; с шахматной доски в гостиной одна за другой куда-то исчезают фигуры, и приходится заменять их чем попало – пуговицами, севшими батарейками, клубками разноцветных ниток, хрустальной рюмкой с отколовшейся ножкой, камешками, нашедшимися в карманах куртки. Потом меняются соседи, потом вокруг тебя оказываются другие дома, другие улицы.

Дует ветер, и ты подставляешь ему лицо.

Нина Хеймец
Жизнь и смерть снеговика Виктора

Касаются гладкие и теплые. Касаются шершавые. Сжимают, хлопают, катят, ставят, хлопают. Касаются.

– …ши, ну и уши. Из апельсиновых корок. Игаль, ну ты даешь! Ты когда-нибудь видел снеговика с такими-то ушами?

Смеются. Что-то ухает и, на дне этого звука, другой – скрип. Шаги? Да, это и есть шаги. Тонкий свист, переплетение с другим свистом. Птицы. Низкий звук, будто внутри себя разрывается. Мотоцикл. Звонки, сирена, шаги, говорят. «Да, я в центре. Нет, автобусы не ходят. У нас же снег! Снег!». «Слишком сильное лекарство». «Мы увидимся?». «Надела шапку, а она – будто на другую голову».

– Глаза ему вот из этих камешков сделаем. Смотри.

Два пятна проступают на белесом фоне. Сначала почти незаметно, а потом – красное, синее. Потом – руки, лица. Наклоняются ко мне. Смотрят.

– А это будет рот.

…Держит веточку. Ломает ее на кусочки, касается меня, надавливает пальцами.

– И нос!

Достает из кармана куртки желтый кружок. На нем буквы, я различаю надпись: Fanta.

Пахнет мокрым асфальтом, нагретым мазутом, ванилью – из кондитерской слева от меня.

Отступают от меня на шаг, разглядывают, хохочут.

– Игаль, Рон, куда вы пропали? Пойдемте домой!

Теперь вижу перекресток. Снова идет снег. Прохожие кутаются в шарфы. Улицы, небо, их одежда – все становится белым. Сквозь белое медленно скользит светящийся трамвай.

Смотрю на окна, на опустевшую улицу. Далеко впереди, над крышами, серая птица борется с потоком ветра. Снежинки падают мне на глаза. Дом напротив начинается с четвертого этажа. Прохожий машет рукой, делает шаг навстречу кому-то и исчезает в непрозрачном.

Потом снег закрывает мне лицо. Наступает ночь. Очень светлая. Снеговикам веки не полагаются, но мне повезло.

Синева отовсюду. Линии сходятся под новым углом. Дома наклонились, касаются друг друга. Рельсы трамвая уходят вверх. По моей голове текут капли воды. «Мама, смотри, снеговик улыбается!». Веточки рта тоже, получается, сместились. Глаза просохли на солнце, все видно очень четко. Угол продолжает меняться. Дома срослись крышами, как сиамские близнецы. Человек в плаще с оторванными пуговицами оборачивается на звук своего имени, но за ним – никого нет. Бродячая собака проходит сквозь стеклянную дверь кондитерской и стоит, оглядываясь.

Капли стекают с головы на землю. В момент, когда я слышу визг тормозов, я вижу, как блестящий бок автомобиля огибает закутанную в платок женщину, ее не касаясь. Вздох ужаса в толпе на остановке достанется подростку, взлетающему на маленьком акробатическом велосипеде в самое небо и исчезающему за горизонтом.

Солнце приближается, заполняет все собой. Я вижу его, и вижу улицу, которая потом. Раннее утро. На перекрестке безлюдно. Я замечаю на асфальте два черных камешка, рядом – желтая крышка от фанты и несколько веточек, по бокам – две набухшие от воды апельсиновые корки. В этих широтах снег тает так быстро, что кроме него ничего не успевает исчезнуть. Я знаю, что именно в это мгновенье я могу увидеть все, все линии, которые были мне недоступны, все события, которые уже произошли и произойдут потом – все они случаются сейчас, перед моими глазами.

Я смотрю на желтую крышку. Через час ее подберет сумасшедшая старуха, местная достопримечательность. Старуха носит огромную соломенную шляпу, украшенную гирляндами из лопнувших воздушных шариков, и шлепанцы, как у Маленького Мука, которые ей, по доброте душевной, подарил на базаре один торговец, родом из Исфахана. Перед собой она катит тележку – фанерный ящик на каркасе от детской коляски, украшенную наклейками, птичьими перьями и такими вот пластмассовыми

крышками самых разных цветов. Старуха заметит желтую кругляшку, поднимет ее, спрячет в рукаве, и покатит свою тележку дальше, вдоль рельсов.

Солнце касается меня.

Мария Станкевич
Как жаль, что вас не было с нами

Жаль, что вас не было с нами, когда мы бежали. Земля горела у нас под ногами, нам было страшно и смешно, мы оставили кучу

всего, включая лекарства, цветочные горшки и архивы в коробках из-под обуви (что-то с ними теперь? сожгли, вернули родственникам, раздали вам на память?). Зато мы успели прихватить Леонтьева и собак. А вы отказались бежать с нами. Предпочли неласковых сестер, серые простыни, серую кашу на ужин, спокойствие.

Так жаль, что вы испугались.

В ту ночь он умер, Леонтьев. В нашем возрасте это вовсе и не странно, к тому же он был противный, постоянно ныл и жаловался и носил грязный полосатый халат. Кто бы мог грустить о нем? Но все переполошились, как куры, к которым залезла лиса. Впрочем, так-то оно все и было. Смерть-лиса залезла и съела самую гадкую курицу. У кого-то поднялось давление, кому-то стало плохо с сердцем, кому-то срочно понадобился ингалятор… Сестры бегали из комнаты в комнату, раздавая целительные пилюли и резкие советы успокоиться и лечь спать. Мы легли и решили, что ждать больше нельзя, и воспользовались суматохой.

…Жаль, что вас не было с нами, когда мы угоняли серебристый бусик. Мы заприметили его давно, он стоял напротив наших окон уже несколько месяцев и мы расчетливо надеялись, что его еще долго не хватятся. Нин говорила, что завести такую машину ничего не стоит даже без ключа. И завела, когда пришло время. Канистра бензина у нас была припасена еще с лета.

Леонтьева мы взяли с собой, его очень удачно оставили на каталке прямо у входа. А каталка очень удачно вошла в заднюю часть бусика; мы закрепили ее жгутами из разорванной простыни, чтобы не болтало. Занятно, но Леонтьев оказался гораздо сговорчивее и вас, и самого себя, каким он был до того, как помер.

Жаль, вы не видели, с какой тоской смотрели нам вслед прикормленные сестрами дворняги. И с какой радостью эти две бестолковые твари ломились в бусик, когда Нин сказала «мы забираем их с собой», и мы забрали их с собой. Бо пытался протестовать, не очень-то он любит собак. Но нас было четверо против одного (Леонтьев не вмешивался) и ему пришлось уступить. За это мы поклялись, что собаки даже не притронутся к его вещам.

Жаль, что вас не было с нами, когда мы успокаивали на море свои подпаленные побегом нервы. Ноябрьское море холодное,

лезть в него годится разве что Леонтьеву, ему все равно. Но нам и так было хорошо, только Бо несколько раз изливал желчь по поводу неидеально выбранного места. Ему, видите ли, было неудобно ходить по каменным пляжам со своим пижонским костылем, а крики чаек фонили в слуховом аппарате. Мы отняли у него слуховой аппарат и пригрозили отобрать костыль, после чего он значительно подобрел. Даже погладил одну из собак, ту, которая была почище.

Каждый божий день, хихикая, как подростки, мы покупали бутылку рома в маленьком магазинчике на второй линии. И ни разу не смогли ее не то что выпить – открыть. Мы разбивали бутылки о волнорез, неудачно поставив сумку, забывали на прилавке с гранатами, одну и вовсе отдали какому-то унылому бродяге. Надеемся, она его немного развеселила. Йо-хо-хо, мы были самые бездарные пираты на всем белом свете! Йо-хо-хо, но зато мы не были мертвецами. Даже Леонтьев, даже Леонтьев.

Жаль, что вас не было с нами, когда сломался бусик. К счастью, это случилось, когда мы только отъехали от города, где есть автосервисы и вежливые мальчики с тросами. Один из них, рыженький как лиса, оттащил бусик в гараж и заломил такую цену за ремонт, что у Нин потекли слезы из глаз, а Бо разразился страшными ругательствами. Мы не испытывали недостатка в деньгах, мы успели немного подкопить, а в пути были достаточно экономны. Но это было просто нечестно: требовать столько за устранение маленькой неисправности.

Как жаль, что вы не принимали участие в ограблении автосервиса вместе с нами. Это было очень весело! И машину они нам отлично перекрасили.

Жаль, что вас не было с нами, когда наш красный бусик с размаху въехал в большой рождественский туман. В тумане все становится другим, неожиданным, почти красивым, как в сказках, которые мы когда-то рассказывали нашим детям. Мы пытались им звонить после побега, чтобы сказать, что с нами все хорошо и можно не волноваться. Дочери Бо кричали ему, чтобы он прекратил портить им жизнь и вернулся на место. Нинин сын оказался вне доступа, а с невесткой она никогда не могла найти общий язык, поэтому даже и набирать ее не стала. Мне сообщать о своем благополучии было некому, а номера родственников Леонтьева мы не знали.

Как же жаль, что вы не заблудились там вместе с нами. Очарованные туманом, мы потеряли направление к бусику, потеряли собак и чуть-чуть не потеряли Леонтьева. Мы уже были

готовы звать на помощь, но Бо, полковник, великий герой и гений ориентирования, проложил наш путь и нашел наш бусик. Собаки уже ждали нас там. Жаль, вы не почувствовали, как вам могут быть рады после долгого отсутствия.

Жаль, что вас не было с нами, когда мы лезли в гору, чтобы посмотреть на звезды. Гора была невысока, но идти было тяжело, в какой-то момент нам даже пришлось спрятать Леонтьева в кустах и продолжать наш путь без него. Мы с Нин нашли палки и шли вверх, опираясь на них, а у Бо был его костыль. Мы подбадривали друг друга бородатыми шутками и щетинистыми колкостями и отдыхали каждые десять минут. Когда мы дошли, то почти час не могли отдышаться. В ту ночь мы сильно замерзли и много раз поминали невыпитый у моря ром, сейчас он бы здорово нам пригодился. Йо-хо-хо, бестолковые пираты.

Как жаль, что вы не видели зимних звезд над горой.

Жаль, что вас не было с нами, когда мы ввязались в драку. Это была эпическая битва! Как был прекрасен полковник Бо, разящий врагов костылем. А как умело Нин орудовала своей красной сумкой, отражая атаки нападавших. Ее всегда строгий пучок развалился, глаза пылали и щеки налились румянцем. Никто никогда не видел такую Нин! А как яростно сражались наши собаки, бестолковые мелкие шавки, не укусившие в своей жизни даже собственной ноги, чтобы достать оттуда блоху. Они вгрызались в обидчиков, и укусы их были подобны укусам скорпиона, а рычание отпугнуло бы и тигра. Мне оставалось только успокаивать двух напуганных девушек, которые не захотели проводить вечер с подбитыми нами недоумками.

Жаль, вы не заметили, какими глазами смотрели потом они на нашего великолепного Бо!

Потом нам требовалась медицинская помощь. У Бо онемела рука и отказывалась держать костыль не то что в боевой, а даже в самой мирной, требующейся для перемещения в пространстве, позиции. У Нин прыгнул сахар, у меня подскочило давление. Собаки тяжело дышали и еле слышно поскуливали на дне бусика, им тоже досталось, нашим храбрым дворняжкам.

Мы не сдались и не отправились к врачам, обошлись автомобильной аптечкой и бутылочкой дешевого коньяка из ближайшего магазина. Это был лучший вечер в нашей жизни. Жаль, что вы не могли разделить наш триумф.

Жаль, что вас не было с нами, когда умер Бо. Нин тогда немного испугалась и хотела пойти в полицию. Но мне удалось

уговорить ее, что мы должны справиться сами. Это заняло много времени, но мы похоронили Бо в мерзлой земле, решив, что одного Леонтьева нам в машине хватит. Мы даже нашли большой камень и написали на нем полное имя Бо, но потом, представив, как бы он взбеленился, увидев это «Борис Аркадьевич Зайчик», замазали все к чертовой матери и оставили просто «Бо».

Жаль, вас не было с нами. Теперь мы уже и не найдем место, где лежит наш Бо, полковник, ворчун и верный друг. Собаки, которым было наплевать на Леонтьева, скулили над его могилой…

Немного подумав и отдохнув, мы закопали и Леонтьева. После столь долгого путешествия он был уже не в лучшей форме. Каталку мы бросили там же, а коньяк допили только в мотеле, иначе Нин наотрез отказывалась садиться за руль.

Жаль, что вас не было с нами, когда мы поехали дальше. Когда ночевали в мотелях, хостелах и прямо в бусике, потому что далеко не каждый хозяин пустит в свои номера двух бестолковых и не очень-то чистых дворняг. А мы не готовы были оставить наших собак в одиночестве даже на одну ночь. Вас не было с нами, когда мы менялись за рулем через каждые два часа и останавливались у каждого столба, который нам хотелось разглядеть поближе, слонялись по музеям и подворотням, мерзли на зимнем ветру и согревались слабым кофе из бумажных стаканчиков, отдыхали на лавочках и пересиживали приступы на бордюрах, медленно взбирались на лестницы и мосты, чтобы постояв наверху ровно столько, сколько нужно перевести дух и успокоить дрожащие ноги, начинать спускаться обратно, швыряли камни в море и озера, уговаривали милых полицейских простить нам неправильную парковку и отсутствие документов на машину, воровали шоколадки в супермаркетах – просто так, на интерес. Мы с Нин всегда были очень правильными, а теперь нам смертельно надоело.

Вас не было с нами, когда со смерти Бо прошло сорок дней и мы наконец-то дали волю слезам. Мы сидели в чужом неуютном дворе и плакали, обнявшись. К нам подходили какие-то славные молодые люди и пытались нас утешить. Им удалось, мы провели ночь в незнакомой квартире, слушали странные песни, каких не было в нашей юности, и впервые попробовали марихуану. Утром мы с Нин поклялись, что никогда не расскажем об этом Бо. Ни о слезах, ни о косяке.

Как жаль, что вы пока еще не знаете, сколько прекрасных людей есть вокруг.

Жаль, что вас нет с нами сейчас. Мы сидим в кафе на окраине города, из которого сбежали в прошлом ноябре, всего-то четыре месяца назад. На столе стоит большой френч-пресс с наикрепчайшим кофе (у меня повышенное давление), много маленьких сладких пирожных (у Нин диабет), огромный сендвич с солеными огурчиками и острым соусом (Бо уже ничего не страшно) и большая тарелка с отвратительной на вид кашей (Леонтьев и после смерти остался довольно занудным). Собакам милейшая официантка принесла целую миску мясных обрезков и под ногами у нас довольно шумно и грязно.

Неделю назад мы рискнули и отправили вам послание. Бессмысленную нелепую миленькую открыточку. Сестры ни черта не поймут, но кто-нибудь из вас, кто-то, кто дожил до этого марта на серых простынях, обязательно сообразит. На открытке нет обратного адреса, зато есть точное время, когда наш красный бусик встанет прямо напротив окон вашего чертова дома… И если кто-то из вас так же жалеет, как и мы, что его не было с нами, мы готовы взять его с собой.

Мария Станкевич
Полли, что приходит холодным утром

– Но Полли, что приходит холодным утром и пахнет мятой, отвечает только на один вопрос…

Люська бубнила в сторону окна, еле слышно, так что приходилось сильно напрягать слух и злиться на посторонние шумы. Посторонних шумов в машине завались, но историю про Полли я услышала почти всю.

У моей племяшки здоровские фантазии. Сказки, которые она рассказывает, сначала пугали нас, потом мы к ним привыкли и просто слушали, стараясь не мешать. Даже лишних вопросов не задавали. Люське, кстати, все равно: ей главное, чтобы рядом был хоть кто-то, обладающий ушами, а уж слышит он чего-нибудь или нет, понимает или так – если что, сам себе виноват будет потом. Людмила Владимировна два раз не повторяет.

– Умереть – не встать, – сказал Володька с переднего сиденья. Володька – муж моей систер Елизаветы и Люськин отец. Мы только что забрали Люську из школы, сейчас заберем Елизавету с работы и поедем к ним домой есть куриный суп и что там еще найдется в их большом семейном холодильнике.

…Той зимой мне как-то не очень хотелось жить. Все шло наперекосяк, все было не так, не то, не затем, бессмысленно и пусто. Тело предавало меня на каждом шагу, обожаемая и лелеемая годами работа перестала приносить удовольствие и даже мужчины, последняя отрада, любили меня совсем не так, как мне того хотелось. Я в ответ не любила их вовсе.

Только драгоценный систер Елизавета и ее маленькая семья держали меня на плаву. Я проводила у них каждый второй вечер, и лишь остатки такта не давали мне переселиться к ним насовсем. А как было бы хорошо: Люськины сказки, Володькина еда, Елизаветина забота… Систер младше меня на два года, но маму дает даже лучше, чем наша с ней родная мать.

– Мара, ешь, – строго говорит она мне и я с радостью окунаюсь в горячий суп или даже какую-нибудь экспериментальную кашу, в доме у Елизаветы я готова на все, лишь бы не выставили меня в февральскую мглу моей тоски. И так неделя за неделей, той зимой я не чувствовала хода времени, а только терпеливо ждала, когда оно закончится совсем.

– Мара! Мара, слушай, такое дело!.. – Володька говорил очень быстро, и это само по себе было удивительно. Спокойный как танк, временами даже слегка заторможенный в противовес нам с Елизаветой, он никогда не захлебывался словами, не частил и не вывинчивал свой глуховатый голос до таких звенящих частот. – Мара, ты помнишь сказку про Полли? Про Полли, что приходит холодным утром?

Конечно, я помнила сказку про Полли. Я вообще помню все Люськины сказки, и регулярно клянусь, что когда-нибудь соберусь с силами, запру племяшку в чулан и не выпущу, пока она заново не расскажет их на диктофон. Но, конечно, никогда этого не сделаю.

– Короче, Мара, это все сложно объяснить словами. Я лучше сейчас тебе на почту кое-что скину, а ты почитай. Потом наберешь, – Володькин голос звенел в моей голове уже почти невыносимо и я даже почувствовала облегчение, когда телефон отключился.

Но тут же засвистел снова – принятым сообщением. Хороший гаджет, не даст остаться без информации, даже если ты не уверен, что она тебе нужна.

В письме было несколько ссылок. Все сайты, на которые они вели, создавались теми типами, которые проводят дни и ночи, по сотому кругу объясняя, каким именно образом состоится конец света и что все-таки убило группу Дятлова – инопланетяне или Сорни-Най (версии с лавиной или обычным, человеческим, убийством такие даже и не рассматривают, как недостаточно правдоподобные). Чисто клуб любителей телеканала РЕН-ТВ… но вот где тот телеканал, а где мы с Володькой, люди, которых у телевизора не застанешь даже в самом плохом состоянии.

«Полли, что приходит холодным утром, – говорилось на одной из страниц, – для всех выглядит одинаково, пахнет мятой, говорит голосом нежным, смотрит ласково, встреча с ней обещает исцеление от страданий». Обещает, ага. Не факт, что исцелит, но обещает.

«Полли, что приходит холодным утром, – вещал другой любитель страшных сказок на ночь, – никогда не просит за исполнение желания больше, чем вы можете дать. Но вы должны дать ей ровно то, что можете – не больше и не меньше».

«Полли, что приходит холодным утром, можно задать только один вопрос. Поэтому убедитесь, что вы хорошо подумали, прежде чем спросить ее о чем-либо…»

«Полли, что приходит холодным утром, приносит с собой трепет и ужас, и прокляты будут те, кто осмелится…»

Последнюю ссылку я закрыла, даже не дочитав. Трепет и ужас, глядите. От Полли, что приходит холодным утром, пахнет мятой и выполняет желания. От Полли, которую придумала моя племянница.

Кстати, почему именно Полли? Если бы это была только Люськина история, я бы и не удивлялась, ей сейчас нравятся «не наши» имена, так что Полли, Агаты и Терезы появляются в каждом первом ее повествовании. Или, допустим, Полли была бы духом с британских островов, но так нет же. Все источники сходились во мнении, что она появляется где-то в Прикамье или Приуралье, в общем, где-то там, где таких имен не бывает в принципе.

– Ну хорошо, – я перезвонила Володьке сразу же, как ознакомилась с этим безыскусным трешем от лучших дятловедов страны. – Ну, допустим, есть такая городская легенда, Люська где-то ее услышала и пересказала нам… Где повод для паники?

Я врала и сама слышала это. Во-первых, где сайты, а где Люська, которая к компьютеру подходит только домашку сделать и музыку вконтакте послушать. Во-вторых, нет такой силы, которая бы заставила Люську рассказывать чужие истории – она даже в школе за пересказы получает одновременно две оценки: двойку за безответственное отношение к предмету и пятерку за богатое воображение. В-третьих, если смотреть по whois (а я посмотрела), сайты были созданы примерно через неделю после того, как племяшка рассказала нам о Полли. Беглый пробег по гуглю, как нашему, так и англоязычному, не принес никакой более ранней информации.

– Я спросил у Люськи, где она взяла эту историю, – Володькин голос немного замедлился, но все равно был неуютно возбужден.

– Где, где… сама придумала, – ворчу я, перебивая.

– Ну, да… Ты понимаешь что-нибудь?

Я ничего не понимала, ничего. Но внутри, там, где находится пресловутая «ложечка», уже ворочался клубок змеек. Змейка Страх, змейка Любопытство и та, особенная змейка, которой невозможно противостоять и которая несет меня в самые разнообразные авантюры и никогда не дает пожалеть об этом. У этой змейки имени нет, но иногда я называю ее Чем-хуже-тем-лучше. В конце концов, подумала я, меня решительно ничего не держит. И систер с семейством от меня отдохнут немного.

– Володенька, ты можешь у Люськи спросить, где ее вообще ищут – эту Полли? – не то, чтобы я хотела задавать этот вопрос,

но некоторые змейки кусаются очень больно.

– Спрошу. Через час заберу ее из школы и спрошу, – пообещал Володька и отключился.

СМС от него пришла через два часа, когда я уже сбегала заплатить за квартиру, отключила на время интернет, позвонила боссу и прикупила запас сигарет и прокладок.

Ехать предстояло долго и извилисто. Сначала поездом до Москвы, потом самолетом до Ижевска, потом автобусом до маленького поселка на краю Пермского края, а от него еще двадцать километров неизвестно на чем до места назначения – маленькой деревни с тихим названием. Почти двое суток пути, если не останавливаться.

К тому моменту, как юный таксист довольно невежливо выставил меня на окраине деревни, безымянная змейка сладко спала, а змейка Любопытство вяло зевала, наглядевшись на заснеженные пейзажи, и явно собиралась последовать за сестрой. Зато змейка по имени Страх подняла голову еще в Ижевске и за остаток пути успела залить мне внутренности ядом настоящей паники. Даже виски, верный способ растворить эту дрянь, не помогал.

Я стояла на развилке двух дорог, курила и думала о том, что, наверное, немного сошла с ума, что сейчас замерзну прям тут и никто никогда не узнает, где, собственно, это самое тут есть. И о том, что сейчас из леса, обступившего деревню и трассу со всех сторон, выйдут какие-нибудь чертовы волки или даже медведь, которого я разбудила грохотом своего сердца, и разорвут меня. Или еще вот маньяки есть… И еще я думала о том, что чем я вообще думала, когда ехала в эту глушь и даже не побеспокоилась о том, где буду ночевать… В общем, о многом я успела подумать, пока не скурила сигарету до запаха подожженной перчатки.

– Доброго утречка, – сказал кто-то сзади. Вероятно, волк, вряд ли медведи – даже медведицы – говорят такими высокими голосами. Тем более, маньяки, среди них все-таки мужчин побольше будет. Вторая, еще не подкуренная сигарета, упала из моих пальцев в снег, и я стала медленно-медленно оборачиваться. О том, что это может быть, например, Полли, подумать я даже и не рискнула, это было бы слишком хорошо и слишком уж страшно. Я не готова!

У меня за спиной стояла очень высокая и худая женщина с такими ярко-красными губами, словно только что слопала баночку гуаши. Одета она была не в пример теплее меня, а ее

лицо выражало что-то очень странное, какую-то смесь приветливости, любопытства и легкого отвращения.

– Утро, говорю, доброе, – сказала она еще раз. – Надолго в наши края?

Радостная, что это оказался не медведь, я кивнула, потом помотала головой из стороны в сторону, еще раз кивнула и, наконец, промычала что-то неопределенное.

– Понятно, – женщина наконец улыбнулась. – Ждать Полли можно сколько угодно, поэтому вопрос несколько некорректен. Меня зовут Марина.

Я назвала свое имя, и через десять минут мы с моей новой знакомой уже входили в маленький домик, спрятавшийся среди двух десятков таких же. Вся деревня.

– Поживешь здесь, – сказала Марина. – Не лучший вариант, но лучших здесь днем с огнем не найдешь. Зато тепло. И газ есть.

– Скажите… – мне было неловко, но я должна была спросить. – Полли… Вы тоже ждете Полли, что приходит холодным утром и это… пахнет мятой?..

Марина прищурилась, ухмыльнулась красными губами.

– Многие ждут. Не все дожидаются.

– Сейчас достаточно холодно, – я произнесла это, хотя хотела сказать совершенно другое.

– Холодным – это не обязательно зимним, – ласково ответила Марина. – Даже совсем-совсем не обязательно. Наши зимние утра морозные, ледяные, чудовищные, так что называть их холодными будет не совсем верно.

Мы с Мариной проговорили еще какое-то время, в основном обсуждая бытовые вопросы. Деревня спокойная, мирная, газ есть, работы нет, но можно ездить в поселок, до которого четыре раза в день ходит автобус. Когда Марина уходила, единственным моим желанием было допить виски, упасть и умереть. Что я и сделала, как только за ней закрылась дверь. Допила, упала и умерла почти на сутки.

Несколько дней я думала над словами Марины, и все отчетливее понимала, что влипла. Потому что если сейчас, в феврале, утра ледяные и морозные, то весной – по сравнению – они будут становиться все теплее и теплее, и разве что только к осени… Логика была, прямо скажем, нелепая, но она была, а не то, чтобы бессмысленный треп, рассчитанный на романтичных девиц. Безымянная змейка хорошо чует такие вещи.

Мне ничего не мешало в любой день уехать оттуда. Никто меня здесь не держал, сочувствия моим страданиям не

высказывал, вообще здесь мало интересовались чужим состоянием дел, если это не касалось строго физической помощи. Я отвечала своим новым соседям взаимностью, и до самого конца не удосужилась даже узнать всех имен и причин, по которым они сидят в этой глуши. Здесь это было чем-то вроде хорошего тона: не задавать лишних вопросов и принимать любую правду в тех дозах, в которых ее выдают.

Я обустроилась в маленьком доме, по субботам, как все, стала ездить в поселок за продуктами и готовила из них какую-то нехитрую еду (иногда мы с Мариной объединяли усилия, и вместо двух разных куриных супов у нас получался один и он всегда был вкуснее тех, что мы варили по отдельности, хотя готовили мы примерно одинаково, лениво стараясь минимизировать количество телодвижений).

…Весной я заскучала и устроилась на работу. Пошла мыть полы в поселковой школе. Денег это не приносило почти никаких, но хоть какое-то дело, тем более, что мои, безусловно нужные в большом городе навыки системного администратора, в этих местах никому не сдались. А без дела здесь нельзя, говорила мне Марина еще в самом начале, и была права. Быть уборщицей оказалось вполне недурно, маши себе тряпками, ни о чем не беспокойся и жди. Поселковые дети звали меня по имени-отчеству.

Там же, в поселке, обнаружилась совершенно маргинального вида забегаловка, в которой наливали отвратительное пойло и сидели не самого приятного вида типы, зато имелся большой бильярдный стол. В силу совершенно других интересов, у завсегдатаев популярностью он не пользовался, поэтому мы с Мариной стали наведываться туда, сначала изредка, а потом сделали это своей пятничной традицией. Местные нас не беспокоили, считалось, что деревенских лучше не трогать.

С Мариной мы не подружились, я уже давно перестала питать иллюзии насчет поиска своих. Но это не мешало нам проводить время за бильярдом, перемывать косточки бывшим и пить красное сухое. Марина научила меня разбавлять его водой, и это оказалось довольно вкусно.

Время от времени змейки поднимали головы, но, утомленные моим размеренным существованием, практически сразу же складывали их обратно. Самой главной новостью этих мест была перемена погоды: холодно, еще холоднее, очень холодно, пиздец и великий праздник – температура поднялась на пару градусов.

Со временем я вспоминала про Полли все чаще, и все чаще

думала о том, какую глупость сделала, уехав из своего города и так бездарно все бросив. Особенно жалко было мужчин. Ну да, любили не так, но ведь любили же! По утрам становилось все теплее и теплее.

– Марина, это ужасно, просто ужасно, – говорила я, промахиваясь мимо очередного шара. – Как тут вообще можно жить? Годами? Рождаться, воспроизводить себе подобных и умирать. Ну мы-то ладно, Марина, мы Полли ждем. Допустим, она даже когда-нибудь придет. Остальным-то зачем, Марина, зачем?

Мой пафос оправдывает то, что бутылка вина была открыта уже вторая, а вода кончилась еще на первой. Лето в наших краях выдалось чрезвычайно жарким.

– Годами?! – Марина так поразилась моему вопросу, что чуть не взрезала кием сукно. Мы вздрогнули и мысленно пересчитали наличность. Порвись зеленая ткань, мыть нам тут посуду до конца дней наших.

Тут-то мне и открылась удивительная правда этих мест. Годами… ха! За последние пятьдесят лет в деревне не родился и не умер ни один человек. Странность эта проходила мимо всех статистических учреждений, не замечалась журналистами и властями, и уж тем более не разносилась ни самими живущими в деревне, ни теми, кто уже уехал. Дураков нет. Ну, разве что я, так и не заметившая этого за несколько месяцев.

Все, все, кто жил в деревне, ждали Полли. Некоторые, тут Марина лукавила, вполне себе годами. Скажем, сама Марина пошла на четвертый и все еще не отчаялась. А настоящим старожилом был некто Марат, его дом стоял справа от моего и ничем от него не отличался, разве что выкрашен был в другой цвет. Марат торчал в деревне уже седьмой год, а Полли все не шла к нему и не шла. Ко всем, объясняла Марина, приходит рано или поздно, но не к нему. Марат, правда, не унывал, ездил подрабатывать в поселок и регулярно устраивал всей деревне небольшие пирушки; такие золотые руки были в цене и на отсутствие денег он не жаловался. Говорят, в поселке у него даже родился ребенок, но так то в поселке.

Здесь же население действительно прирастало исключительно теми, кто повелся на странную историю о Полли, что приходит холодным утром, пахнет мятой и отвечает всего на один вопрос. Я чувствовала себя идиоткой: прожить здесь столько времени и ничего не заметить.

К сентябрю я окончательно одурела мыть полы и гонять

шары, в голове нарастало глухое раздражение. В деревне прибавилось народу, Марина говорила, что осенью это обычное дело и к новому году большая часть сбежит, так и не дождавшись. Полли же за это время видели всего двое: старый полуслепой удмурт, почти не говорящий по-русски, и хипстерского вида чувак откуда-то из Подмосковья. Этот, по-моему, от встречи слегка тронулся головой. Уезжал он во всяком случае в таком просветленном виде, что нас с Мариной слегка подташнивало. Раздал оставшимся свое барахло и укатил на попутной машине, глазами подсвечивая трассу не хуже фар. Мне от него достался старый полосатый плед, Марине – Библия на английском в тонком кожаном переплете, Марату – деревянные четки… Ни удмурта, ни хипстера никто особо не провожал, как оказалось, не принято, но после обоих отъездов вся деревня уходила в тихий недельный запой.

Ко мне Полли пришла в утро, когда я как раз твердо и окончательно решила, что с меня хватит, я так больше не могу и надо убираться отсюда. Гори эта деревня синим пламенем и вся прикамская мистика вместе с ней. Не могу больше, не могу, не могу, не буду. Мне надо домой.

Это было действительно холодное утро, третье после моего дня рождения, первые октябрьские заморозки. Ночь мне не спалось, я выкурила столько сигарет, что у меня болели легкие, и чудовищно замерзла. Обмотавшись пледами и платками, я напоминала француза из детских исторических книжек. Горестного такого француза, которому наплевать на этих русских, эту Москву и хочется к маме.

На Полли же было летнее платье, в каких-то детских цветочках, они были ей к лицу, но совершенно не гармонировали с ее мистическим образом. Она села к столу, поджала босые ноги, и не было похоже, что это от того, что она замерзла. Ей явно не было холодно этим холодным утром, и мне стало неловко за свои платки и носки. В конце концов, не крещенские морозы стоят, всего-то около ноля; а в доме-то всяко теплее.

Полли сидела и молчала, а я стояла, переминаясь с ноги на ногу, и смотрела на нее. На ее волосы, на ее нос и уши, на пальцы с обгрызенными ногтями, на веснушки, на цветы на платье… В комнате остро пахло мятой, и это было приятно и мучительно одновременно. Насмотревшись, я сказала:

– Доброе утро. Один вопрос, да?

Полли кивнула. Я уже не ждала ее, я хотела уехать и все вопросы, которые я по-настоящему хотела ей задать, съела змейка

по имени Тоска. Поэтому я помялась еще немного, набрала воздуха и спросила:

– Почему такое имя? Полли – это же не по-русски…

Правая бровь Полли взлетела под челку, рот приоткрылся. Мне показалось, что она удивилась или, что будет очень плохо, обиделась и самое время начинать оправдываться.

– Я в смысле… ну, это просто непривычно. Русские… ну, русскоязычные таких имен не дают же…

Я сбилась и заткнулась, будучи уверена, что испортила все и насовсем. Но, оказалось, нет. Полли вернула бровь на место и улыбнулась, и не было в этой улыбке ничего мистического, таинственного или зловещего. Обычная женщина, обычная улыбка. Может быть мы могли бы подружиться, или хотя бы просто ходить играть на бильярде и пить красное сухое, разбавляя его водой.

– А меня в честь бабки назвали, – и голос у нее тоже самый обыкновенный. Приятный, негромкий, плавный… – Ее Аполлинария звали. Но я сократила…

По-моему, я так в жизни не смеялась. От моего хриплого хохота взлетели птицы с деревьев, треснул ночной ледок на лужах, где-то над ГЭС жахнула молния и проснулась вся деревня – но тут же обратно сделала вид, что спит крепким сном. А под ложечкой, там, где происходит вся внутренняя жизнь, издав сиплый звук, сдохла змейка по имени Страх. Товарки тут же сожрали ее, не дав ни единого шанса разложиться и отравить меня в последний раз.

Я уехала сразу же. Не дожидаясь петухов, не подумав о том, что надо бы разбудить Марину или еще кого-нибудь и хотя бы попрощаться. Закинула все, что нашла, в чемодан, попрыгала на нем для верности и рванула. Мне повезло, на трассе до поселка меня подхватил ранний дальнобойщик, а там уже было просто: автобус до Ижевска, такси в аэропорт, самолет до Москвы, аэроэкспресс, метро, поезд, маршрутка. Уцелевшие змейки внутри шипели, извивались, задевая хвостами сердце и прокусывая кожу изнутри. Я шипела в ответ и неслась через билетные кассы, турникеты, эскалаторы, туннели и переходы. Быстрее, быстрее, впереди еще столько всего, а я уже почти опоздала.

– Где ты была, господи, где ты была столько времени? – орала на меня заплаканная систер Елизавета, а ее муж смотрел тяжелым взглядом, и я явно ощущала его желание стукнуть меня посильнее. – Господи, ну почему ты даже не позвонила?!

Возможно, я бы извинилась за эти слезы, если бы не была уверена, что они в курсе. Потому что только им-то я, кажется, и звонила несколько раз пока была в деревне. Не так часто как могла бы, но в конце концов это же систер, она всегда понимала меня. В конце концов, именно Володька прислал мне эти дурацкие ссылки, в конце концов, именно Люська рассказала нам всем сказку о Полли…

Я не стала ничего объяснять, что тут скажешь-то вообще? Прокричавшись и проплакавшись, систер велела мне оставаться у них и вообще не сметь выходить из дома минимум неделю, а Володька подкрепил гостеприимное предложение взмахом увесистого кулака из-за ее спины. Спорить я не стала бы даже в более мирных обстоятельствах.

Когда я уже лежала в постели, под одеяло ко мне забралась Люська. Весь предыдущий гранд-шкандаль она благоразумно отсиживалась у себя в комнате, но теперь, когда страсти поутихли, самое время было заглянуть к блудной тетке.

– Где ты была, Мара? – Люська засунула нос мне под мышку, и ее голос звучал глухо. – Ты ждала Полли, что приходит холодным утром?

Что ж, кому-то я должна ответить на этот вопрос честно. Пусть он и был риторическим: кто-кто, а Люська все знала наверняка и теперь всего лишь подтверждала свое знание сонным голосом, и в общем, даже не особенно ждала от меня дальнейших подробностей.

– Ждала, котенок.

– И дождалась?

– И дождалась.

Я обняла племяшку крепко-крепко, соскучилась. Змейка Нежность обвила нас колечком, и мы начали засыпать, убаюканные ее тихим шипением.

В комнате остро пахло мятой.

Марина Воробьева
На границе между бегом и сном

Ты так устал, что не можешь заснуть. Ты лежишь в постели, за окном светит фонарь так ярко, что ты не знаешь, ночь ли еще или утро, ты не будешь вставать, чтобы посмотреть в окно, ты не оставишь границу сна, ты не оставишь своего поста на подушке,

ты обязан отдохнуть, завтра тебе рано вставать, завтра снова бежать и успевать и делать сразу сто пятнадцать дел, которые ты сам на себя взял.

Завтра или сегодня? Чтобы это узнать, надо пошевелиться, надо дотянуться до мобильника, посмотреть на часы, нет, лучше встать и посмотреть на фонарь. На тот самый фонарь, который в небе. Или на небо вокруг фонаря? Когда-то в прошлой жизни небо вокруг фонарей в парках было темно-бордовым, на фонарях сидели вороны и по фонарям стекало белое.

Если белое, то это свет, утро, а если бордовое – нет, стоп, ночь какого-то другого цвета. Очень ярко светит фонарь и, если долго на него смотреть через ресницы, упершись лбом в стену и не поворачиваясь к окну, можно увидеть, как кружится снег в свете фонаря. Да, ты знаешь, сейчас лето, это не снег, а мухи или птицы, те существа, которым нет названья, они живут там, где кончается фонарный свет и начинается тот цвет, название которого ты не можешь вспомнить, и они умеют превращаться в головастиков.

Нет, ты о чем, тут не день и не ночь, завтра у тебя нет никаких дел, какое такое «завтра». Ты не в своей постели, ты на больничной койке, ты не чувствуешь тела, боли нет, ты не знаешь, как сюда попал, но это точно больничная койка, вот кнопка вызова сестры. Надо поднять руку, дотянуться до мобильника.

Нет, стоп, никакого мобильника здесь нет, дотянись до этой проклятой кнопки. А у тебя вообще есть руки?

Ты уже когда-то был в больнице, тогда тебе было лет пять и ты был без сознания, а потом очнулся и увидел свою комнату и настенную лампу над спинкой кровати, и свой рисунок на стене, и ты закричал «ба-буш-ка!». Когда тебе было пять или четыре, ты каждое утро начинал с протяжного «ба-буш-ка» и она приходила и говорила: «Доброе утро, дорогой». Она пахла кухней и свежим снегом, она всегда пахла свежим снегом.

А в тот раз комната рассеялась, растаяла и вокруг оказалась чужая комната и спящие синие младенцы в люльках над тобой, и на твой крик пришла медсестра и сказала, чтобы ты сейчас же перестал орать, вот малыши же не орут, а они тоже в больнице.

Надо вспомнить, хотя бы вспомнить кто ты, как ты здесь оказался, открыть глаза до конца, до рези от белого света, до боли, чтобы знать, что живой.

Ты вспоминаешь вдруг, ты где-то читал, что если не можешь проснуться обратно, ты видишь свет и надо идти, идти к тому фонарю или к настенной лампе, к тем существам, холодным, как снег.

И ты понимаешь, что не хочешь возвращаться, не хочешь обнаружить, что тебе уже нечем тянуться к кнопке звонка или уже незачем, ты не хочешь никакого холода и никакой лампы, тебе нравится здесь, в полном неведении, в полной пустоте, ты не можешь видеть, что там, за ресницами.

Ты не станешь вспоминать, что все же случилось вчера или не вчера, как ты сюда попал и есть ли у тебя руки, ноги и все, что должно быть, всего не упомнишь. У тебя завтра сто пятнадцать дел, которые подождут, а пока под ресницами показывают цветное кино.

Цветные бесформенные кляксы вытекают одна из другой, становятся мультяшными человечками, у одного из них длинная борода до пола и он стоит на помосте, а все ему кричат:

– Горчица! Горчица!

Кого-то так звали по ту сторону ресниц, кажется, твоего пса.

Горчица действительно горчичного цвета, как твой пес, а синее пятно, кажется, маленький мальчик, спрашивает его – «Скажите, пожалуйста, Ребе, что будет, если громко закричать и нарушить тишину на границе между бегом и сном?» Все поднимают пальцы к губам, все говорят: «Шшшшш», а синий мальчик взлетает и кричит во все горло. Он кричит, и Горчица вслед за ним безудержно радостно лает, и все пятна перемешиваются и взрываются, мальчик из синего пятна кричит твоим голосом и ты просыпаешься в своей кровати. Сейчас ты откроешь глаза до рези, до боли, ты откроешь, а твоя комната и фонарь за окном и сто пятнадцать дел на завтра никуда не исчезнут. Ты помнишь, что еще вечером хотел выспаться получше, чтобы переделать каждое из них, одно интереснее другого, а в холодильнике у тебя твой любимый салат, оставшийся от ужина и его можно съесть на завтрак, и еще у тебя есть кенийский кофе, и что тебе стоит заснуть и проснуться утром.

Но ты не спешишь убедиться, что ты здесь, и не торопишься заснуть, ты смотришь сквозь ресницы на свет фонаря, уткнувшись в стену, тебе хочется еще немного побыть в этой пустоте, плыть по ней, оставаясь на месте.

Шшш, не кричи, мальчик-клякса, тебе тоже нечем дотянуться до мобильника, ты никогда не узнаешь, день сейчас или ночь, не кричи.

А кофе уже кто-то варит, запах проникает в комнату, кофейный запах громче крика, прозрачнее небытия.

Как хочется кофе. Не кричи, пожалуйста, не кричи.

Лора Белоиван
Борщ со взбитыми сливками

Ежик деловито бегал по веранде и срал чем-то синим, не синим даже, а лазоревым – красивый цвет.

– Кто ежу чего давал?

Плечами пожимают. Кто ежу давал: да никто, еж сам ест, не маленький. Ел улиток из коробочки, это все видели, чавкал ими как свинья, а потом пришел под стол и съел половинку яйца, оброненного Михасем. Но улитки коричневые, немного сиреневые на просвет, яйцо – белое с желтым, а кал такой, будто кусок мартовского неба ежу под стол уронили. Чувствовал себя вроде неплохо, судя по виду. Вид был обычный – недовольный.

И никто не сознается.

Михась весь в фейсбуке: «у нас тут еж бегает по веранде и срет чем-то синим» – сфотографировал планшетом ежа (отдельно), праздничное ежовое дерьмо (отдельно), запостил фотографии и теперь ждет, пока кто-нибудь его лайкнет. Елена заглянула через Михасево плечо в планшет и ударила брата яблоком по голове. Михась, не оборачиваясь, пихнул Елену локтем и сказал: «Отвали».

Тетя Шура убрала за ежом салфеткой и пошла выбрасывать ее в мусорку. Нет, это не она ежу синего дала: она бы сказала, если бы видела, что еж ест необычное.

Дядя Слава сидел на ступеньках, босыми ногами в траву, и читал бумажную газету. Он тоже не кормил ежа; он вообще вряд ли знает, что в семье есть еж; иногда кажется, дядя Слава не в курсе, какое нынче время года.

Еще есть бабушка и дедушка, но они ушли вздремнуть. Хорошо бы, если в одну комнату, а не в две разные: в доме буквально пустого угла не найти, везде кто-нибудь есть – или спит, или жрет, или торчит в интернете, или торчит в интернете и одновременно жрет, или смотрит телик, или заперся в уборной – кажется, будто не шесть человек приехало вчера, а тридцать пять.

Но нас тут всего семеро. Седьмой – я. Точнее, я первый, а Петренки приехали. Нет, не совсем ко мне, конечно. Дом, в котором я живу, принадлежит им. Три года назад тетя Шура

позвала меня поселиться в их овчаровском доме, потому что они городские. Можно подумать, я был такой уж деревенский. Но я согласился, потому что как раз накануне мне стало негде жить. Так получилось. И вот они теперь сами приехали. Мне сказали: Саша, ты можешь съездить куда-нибудь, мы пока тут побудем. Они это от чистого сердца предложили, – мол, присмотрим за домом, устрой себе каникулы – но я остался. Мне пока никуда нельзя ехать, и странно, что тетя Шура об этом забыла. В общем-то они хорошие люди – за стол с собой зовут всегда. Хорошие. Только шумные. И много их сильно.

– Сашка как будто похудел, – сказала тетя Шура, – тебе не кажется?

– Шура, – Вячеслав Иванович вздохнул тяжело, – ну перестань, пожалуйста.

– Похудел, похудел. И бледный. Вроде вот на свежем воздухе постоянно, почему бледный? Питается как попало, наверное. За столом пока, смотрю – ничего не поел практически.

– Шура!!

– Слав, ну ты отрицаешь очевидные вещи же, почему ты такой, а?

– Шура. Шура. Шура. Я не хочу об этом говорить.

Я все слышу. Это моя беда: у меня не уши, а локаторы, настроенные на малейший шорох. Голоса Петренок доносятся до меня отовсюду, и я боюсь, что привыкнуть к этому мне будет очень сложно. Дядя Слава большей частью молчит, зато ходит так, что половицы прогибаются под его ногами, и их стон отдается в моей голове физической болью. Тетя Шура, наоборот, ходит бесшумно, почти не касаясь ногами пола, но говорит таким громким шепотом, что меня почти сносит звуковой волной. За те три года, что я живу в их доме, я совсем отвык от постоянного присутствия людей. Иногда мне кажется, что и сам я почти перестал быть человеком. Меня не пугаются лесные коты: приходят во двор и, глядя мне в глаза, ссут на гараж. Может быть, думают, что я тоже лесной кот, которому надо показать ареал обитания? Мол, парень, живешь в доме – живи, а на двор и на гаражные ворота не зарься, это наше. Однажды, когда их собралось во дворе штук пятнадцать, я вышел и демонстративно поссал на гараж. У котов сделались такие каменные лица, будто они все палата лордов, а я, официант, присел к ним за стол и отхлебнул из чьей-то чашки. Честное слово: такой неловкости я не испытывал с тех пор, как лежал в больнице и сестра-практикантка ставила мне катетер, стараясь не смотреть на то,

что у нее в руках, и поэтому смотрела мне в лицо.

– Шура, – говорит дядя Слава, – я не хочу об этом говорить.

А придется.

– Мам, почему мы раньше сюда никогда не приезжали? – Елена крутится на кухне, уверенная, что помогает матери готовить ужин, – здесь так здорово! И у бабушки с дедушкой своя комната есть, и у меня, и у Михасика, а дома мы все друг у друга на головах. Давай совсем сюда переедем? Не только пока ремонт, а вообще. Давай?

– Подай, пожалуйста, лавровый лист. Он вон там, в литровой банке, за сахаром.

– Мам?

О боже. У них, оказывается, ремонт. Значит, я был прав: только тетя Шура более-менее понимает, из-за чего они здесь. И то я не уверен.

– Саша, – говорит тетя Шура, когда дочь вышла из кухни, – ты очень мало ешь и совсем перестал ухаживать за своим местом, а кто это будет делать?

…Все перепутала. Я должен ухаживать за их домом, и я это делаю очень хорошо. При чем тут мое место? Я уж и найти его не смогу, наверное. Да и зачем.

– Теть Шур, – говорю, – кто еще думает, что у вас в квартире ремонт?

Молчит. Ясно: так думают все, кроме нее. Она им не сказала.

Это значит, что ей одной придется ухаживать за местами всех членов семьи. В самом начале важно, чтобы все было в порядке, это потом можно забить. Конечно, я ей стану помогать в меру сил, в одиночку ей тяжело будет. Хотел спросить ее о настоящей причине приезда, но передумал. Решил: и так узнаю.

На ужин тетя Шура приготовила сладкие рисовые котлеты, а на гарнир к ним – гречневую кашу. На обед был борщ с малиновым вареньем и взбитыми сливками, на завтрак – яичница, приправленная какао-порошком. Я знаю, что чуть погодя

все войдет в свою колею, примет более-менее нормальную форму, но пока вот так. Еще бы я это ел, ага. Дернулся было приготовить на всех что-нибудь приемлемое, но подумал, что нет смысла: я просто не знаю, что для них приемлемо, а что нет. Пусть уж шоколадная яичница, так безопаснее.

Ужинали на веранде. После ужина (Саша, съешь хотя бы котлетку) пришел еж и нагадил синим. Посмотрев на дерьмо, бабушка засмеялась и сказала: «Мать моя, ну наконец-то я увидела, как ежики срут», дедушка сделал ехидное лицо и ответил ей: «Поздравляю», Михась хмыкнул и уткнулся в планшет, остальные не отреагировали никак. Я подумал, что бабушка ближе всех, и угадал – через неделю ей предложили путевку в хороший санаторий, но она сказала, что без дедушки ей санаторий на черта не сдался, дедушка сперва заупрямился, но вынужден был согласиться, так как расставаться с бабушкой ему не хотелось.

И они уехали вместе.

Как это происходило, я пропустил: отвлекся на ежа, который снова нагадил синим; я наклонился, собрал ежовое дерьмо пальцем и, повинуясь мимолетному хулиганскому импульсу, намазал на стене знак бесконечности. Получилось красиво и загадочно, а на следующий день я увидел рядом с моим синим знаком бесконечности еще один синий знак бесконечности: его прямо на моих глазах рисовал дядя Слава, так же как и я, окуная палец в ежовое говно.

После отъезда бабушки и дедушки в доме сделалось посвободнее. Уже можно было без труда найти комнату, где никого нет, но я все равно не мог остаться в одиночестве надолго, потому что за мной, как привязанный, ходил печальный и злой Михась, которого с момента приезда в деревню, с самой первой фотографии ежа, не комментировали и не лайкали в фейсбуке.

– Этого не может быть, – бубнил Михась, – двести семь друзей, и прям чтоб никому ежик не понравился, ага.

Но окончательно он разозлился после того, как разослал друзьям запросы на дополнительную жизнь в какой-то новой игрушке – при мне такой еще не было – и не получил ни одной. «Как это трогательно и символично, – подумал я, – просить игрушечную жизнь в сложившихся обстоятельствах».

Довольной абсолютно всем была только Елена. Мне даже стало казаться, что она знает секрет, но я по собственному опыту знал, что это просто невозможно: слишком мало прошло времени после того, как они приехали. Хотя тете Шуре времени не понадобилось совсем, но она совершенно особенный человек, она все понимала еще тогда, когда до ее приезда сюда оставалось целых три года. И когда к ней приперся я.

– Ах ты ж боже мой, – сказала мне тогда тетя Шура, – тебя же никуда не пустят, где же ты жить будешь?

И велела мне стеречь этот дом – до тех пор, пока что-нибудь не изменится. И оно изменилось: сперва стали приходить лесные коты, потом поселился ежик, которого я кормил улитками. Коты с приездом тети Шуриной семьи приходить перестали, и ежик начал гадить синим, так что изменений случилось уже как минимум два. Даже три: Михась нарисовал синим ежовым говном третий знак бесконечности. И, несмотря на все эти перемены, я не чувствовал, что они как-то касаются моей собственной судьбы.

– Тетя Шура, – я в конце концов улучил момент, когда Михась где-то замешкался, – а как так получилось, что вы здесь все сразу?

Тетя Шура вопросу не удивилась. Или не подала виду.
– …Ты знаешь, Саша, – ответила она, – я этого совершенно не помню. Как отрезало. Понимаешь?

Я сперва промолчал, а потом, конечно, кивнул. Я тоже не помню, почему три года назад выбрал сделать так, как сделал. И тоже – как отрезало.

– Пойдем-ка сходим с тобой, твое место в порядок приведем. Пока Слава спит и дети где-то гуляют.

Я не особо хотел туда идти, но перечить тете Шуре не стал. И мы с ней сходили сначала ко мне – и тетя Шура, пока я стоял как болван, протерла мое имя и повыдергала всю старую траву вокруг, а потом мы пошли к ним, и еще издали увидели Михася и Елену.

– Мам, – крикнул Михась, обернувшийся на наши шаги, – смотри, какая ржака! – и показал пальцем на шесть мест.

Елена ударила брата яблоком по голове.

– Он так радуется, потому что понятно теперь, почему его статусы никто не лайкает, а то он думал уже, что ежик – фигня, – сказала она и откусила от яблока. Оно у нее всегда с собой.

«Конечно, ржака, – подумал я, – еще бы не ржака».

Отваживаться на более глубокую мысль мне было лень.

Потом мы вернулись домой, где дядя Слава пытался приготовить ужин из рыбы, но не понимал, что должно пойти в пищу: куски рыбы слева или кишки и рыбья голова справа.

– …Шур, – сказал он, – что варить: это или это?

– Давай лучше пожарим, – сказала тетя Шура и сгребла обе кучи на сковородку.

От ужина я отказался и, несмотря на раннее еще время, пошел спать – в ту комнату, которая выходит окном на гараж. Эту комнату я люблю больше других: отсюда видно почти весь двор и лесных котов, когда им приходит в голову припереться. Их не было с тех пор, как приехала семья, поэтому я даже обрадовался, когда увидел полосатый хвост, мелькнувший и скрывшийся за углом гаража. Это был хороший знак. Я лег и действительно уснул, а когда проснулся утром, то в доме уже никого не было. Я это почувствовал; можно было не проверять. Я вылез во двор через окно, обогнул дом и вошел на веранду, весь пол которой был обгажен синим. Еж как ни в чем не бывало хрустел в углу веранды яблоком.

Я обмакнул палец в ближайшее дерьмо и нарисовал на стене знак бесконечности. Работы предстояло много.

* * *

Петренковский дом – крайний, наполовину вдавленный в лес. Он стоит к Косому переулку передом, а к лесу всем остальным периметром. Дом выглядит не страшно, даже приветливо. Наверное, потому, что Петренки никогда в нем не жили постоянно, а лишь использовали в качестве дачи, да и то последние годы не появлялись. Соседи говорят, что вся их семья, включая бабушку, дедушку и двоих детей-подростков, вышла на

арендованном катере на морскую прогулку в честь дня рождения дочери – и пропала без вести, хотя их искали даже с привлечением вертолетов. Через две недели был найден спасательный круг, но этого было слишком мало, чтобы официально считать семью погибшей: ждали, пока пройдет пять лет, и они прошли, но уже, конечно, ничего не изменилось – и дом как стоял, так и стоит, и стекла в нем целые, и труба на месте, и крепкие на вид стены – снизу доверху в синих кляксах – не покосились и не растрескались. Как будто заговоренный стоит дом, ничто его не берет.

И никто в него не суется, хотя участок огорожен легкомысленным штакетником.

Сквозь штакетник видно все, что происходит во дворе. А во дворе у Петренок происходят сорняки, ржавые качели, беседка с сорванной давним тайфуном крышей и гараж с заржавленными воротами. Когда едешь мимо на велосипеде, то в нос ударяет запах кошачьей мочи – лесные коты считают петренковскую собственность своей. У них тут что-то вроде гайд-парка: обычно страшные территориалы, лесные коты собираются во дворе заброшенного дома в стаи, густо метят гараж и долго толкуют о чем-то заунывными, толстыми голосами.

Лора Белоиван
Кто покормит сову

– Смерть, – кивает Ася, – почти не отличается от жизни, только силы больше, а потребностей меньше.

Ася знает, о чем говорит: у нее у самой два мертвеца в работниках. Муж и жена. Нестарые еще, раннего пенсионного возраста. Зульфия и Самат. Мы не спрашивали, где она их подобрала, но знаем, что они у Аси уже три года, живут в маленьком домике в саду, Ася его сама построила и сама в нем обитала, пока настоящие строители большой дом строили. Сейчас Ася в большом доме живет, а мертвецы в маленьком. Все там есть, в том домике: вода, туалет. Две комнатки, кухня отдельно. Сперва была одна комната, но Самат перегородку поставил, им с Зульфией так удобнее показалось. Зульфия у Аси по хозяйству, а Самат все снаружи: сад на нем, мелкий ремонт какой-нибудь, стрижка газона. Или снег, если зима. Ася зимой уезжает обычно, и мертвецы приглядывают за домом и собаками. Собак у Аси шестеро, и столько же котов. Сперва все они относились к Зульфие и Самату настороженно, а потом привыкли. Наши мертвецы живут не в таких роскошных условиях: дом у нас один-единственный, и для Энди с Сережей мы купили 20-футовый контейнер.

Энди и Сережа – голубая семья, разбившаяся в предновогодний гололед на аэропортовской трассе. Парни сидели на обочине такие растерянные – невозможно было не остановиться. Мы и остановились; первым в машину сел более решительный Энди, потом Сережа, но мы еще минут десять никуда не ехали – ждали, пока закончится агония у их пекинеса, всю машину выстудили, пока он к ним на заднее сиденье запрыгнул. Сережа тогда сказал:

– Ну все, можно ехать.

И взял собаку на колени.

Мы поехали, а по дороге договорились, что жить они останутся у нас, но не с нами, а как-нибудь отдельно, потому что так всем будет лучше. И тогда Энди сказал: «Может быть, контейнер купить?» И мы купили контейнер прямо в тот же день,

просто позвонили по объявлению, и нам его привезли на большом грузовике с краном, и выгрузили за забор. Контейнер нам достался очень дешево: на терминале была рождественская распродажа, плюс частично можно было расплатиться накопленными бонусами с кредитки. Потом началась череда этих дурацких праздничных дней, когда везде все закрыто, и первое время мертвецы спали прямо на матрасе, брошенном на стальной пол. Но не унывали. Потом, после праздников, мы докупили им в контейнер все необходимое: пенополистерол для утепления, сайдинг для красоты, окна для света, дверь, чтоб входить и выходить. Отдали свою икеевскую кровать, кое-какую посуду, постельное белье. И старое кресло для пекинеса.

Унывать Энди с Сережей начали ближе к весне, и не унывать даже, а как-то меланхолично истончаться: иногда казалось даже, что через них видно, но наваждение быстро проходило, хотя и оставляло после себя неприятный тревожный осадок. Никто из нас не помнит, кому первому пришло в голову спросить их, что с ними не так; но факт, что вопрос был задан и проблема в конце концов решилась. Оказалось, что у Энди, Сережи и их пекинеса начал подходить к концу ресурс, но ни они сами, ни тем более мы понятия не имели, чем обычно поддерживают жизнь в мертвецах. И тогда Энди сказал:

– Надо у кого-то спросить.

– Надо спросить, – повторил Сережа, – в том доме под зеленой крышей, на углу, там надо спросить. А то спать все время хочется.

В доме на углу, под зеленой крышей, жила Ася.

– У Аси спросить, – удивились мы, – откуда ей это известно?!

– Так она же двух мертвецов содержит, – ответил Энди, – судя по всему, довольно давно.

Мы чуть в обморок тогда не упали, честное слово. Два мертвеца у Аси? Зульфия, которую мы то и дело подвозим до дома? Самат, с которым обмениваемся саженцами и цветочными луковицами?

– …Хорошо выглядят, да, – не без сарказма сказал Сережа, – как живые. Сходите, а?

Мы, конечно, решились не сразу, хотя понятно было, что идти

придется. Но в голове не укладывалось, каким образом начать разговор с дальней соседкой, с которой до этого лишь здоровались, но никогда не имели бесед длиннее вежливых small-talks? «Ася, простите, чем вы кормите своих мертвецов?»

– Ася, – сказали мы, – тут такое дело.

Пока мы рассказывали про аварию на аэропортовской трассе, не сразу умершего пекинеса и наших сонных геев, Ася нас не перебивала, но каждую секунду нам казалось, что она вот-вот встанет и крикнет в окно что-нибудь вроде «Самат, выпусти собак из вольеров, срочно». Но ничего подобного не произошло.

– Кровь из пальца, – сказала Ася.

– Что? – не поняли мы.

– Кровь из пальца, – повторила Ася и показала нам забинтованный указательный палец, – раз в неделю достаточно. И обязательно чтоб работа у них была.

– И у пекинеса? – по-дурацки уточнили мы.

– Нет, – сказала Ася, – пекинес за их счет.

Возвращались домой мы молча, совершенно не понимая, как будем сообщать Энди и Сереже про кровь и работу. Но получилось все легко и просто. Они нас с нетерпением ждали.

– …Ну, что? – спросил Энди.

– Сказала? – спросил Сережа. У него на руках спал полупрозрачный пекинес.

– Да, – ответили мы, – на вас, говорят, пахать надо.

И дальше рассказали им про палец и бросили жребий на зубочистках, кому из нас первому добывать из себя кровь. Кстати, ее потребовалось совсем немного, но пальцы у нас болели долго; в общем-то они и не заживали, их все время приходилось бинтовать: только перестанут ныть, как снова пора прокалывать.

Несмотря ни на что, вопрос с вынужденным донорством решился гораздо проще, чем со вторым обязательным пунктом безбедного существования Сережи и Энди. Ни тот, ни другой ничего не имели против работы, но при этом совершенно не могли предложить нам никаких услуг, в которых бы мы по-настоящему нуждались. А услуги понарошку свели бы на нет всю пользу, приносимую кровью.

Пришлось опять идти к Асе.

Калитку нам открыл Самат.

– Здравствуйте, Самат, – сказали мы, – Ася дома?

– Улетела вчера, – ответил мертвец, – в Лондон. Но скоро будет, через где-то неделю. А вам поди спросить срочно, чем Энди с Сережей занять?

– Откуда вы знаете?

– Опытный… человек все знает, – Самат явно хотел сказать слово «мертвец», но в последний момент предпочел другой термин.

– Да, – сказали мы, – они у нас уже вон сколько, а толку ни им, ни нам.

– Это плохо, – согласился Самат, – ну заходите давайте, а то вон дождь или что там такое с неба неприятное.

На улице и вправду начинало моросить. Самат провел нас мимо собачьих вольеров в маленький домик в глубине сада. Дверь открыла Зульфия. Она улыбалась, но смотрела на нас слегка настороженно.

– Гости у нас, – сказал ей Самат, – по делу.

– Я тому удивляюсь, – сказала Зульфия, – что мальчики к нам сами не пришли. Стесняются, что ли?

– Нас вот попросили, – сказали мы.

– Ну мы видим, да, – сказал Самат.

Мы зашли в дом, и Зульфия закрыла за нами дверь.

– Чай? Сок? У нас, правда, такой сок, вам может не понравиться, – сказала Зульфия, – свекольный.

– Если с яблоком, то ничего, – сказал Самат.

– Будете свекольный сок? – спросила нас Зульфия, проигнорировав реплику мужа, – полезная вещь. На вкус привыкнуть надо, конечно, но полезная.

– Землей пахнет, – сказал Самат, – с яблоком когда, то лучше.

– Спасибо, – отказались мы от сока, – чаю тоже не нужно, мы ж ненадолго.

– Ладно, – легко согласилась Зульфия, – спрашивайте.

– Парням работа нужна, – сказали мы, – а ничего в голову не приходит. Помогите придумать, пожалуйста.

– С молодыми всегда так, – кивнул Самат, – умрут, а сами ничего толком не умеют.

– Да, – вздохнула Зульфия, – и образование, наверное,

высшее.

– Высшее, – подтвердили мы.

– Трудно, – опять вздохнула Зульфия, – когда высшее, то почти всегда никакой мелкой моторики.

– А обязательно, да? – спросили мы.

– В первую очередь, – подтвердил Самат, – можно кровь не пить, свекольный сок пить без яблока, а без мелкой моторики все, элим кетты.

– Это что же нам придумать? – растерялись мы.

– Спицы, шерсть, пусть вяжут чего-нибудь, – сказала Зульфия, – пусть приходят, научу.

– А Ася сказала, чтоб такая работа, которая нам нужна, – усомнились мы.

– Вам нужна, – уверенно сказала она, – очень вам нужна эта работа. Вы же уедете.

– Куда мы уедем, у нас сову кормить некому, – сказали мы.

– Вот я и говорю, – сказал Самат.

– А вы как без мелкой моторики обходитесь? – спросили мы. – Сад, снег, газон, пылесос – где тут моторика-то?

Вместо ответа Зульфия встала из-за стола, шагнула к закрытой двери в комнату, распахнула ее и кивнула: мол, гляньте-ка.

Мы глянули. Стены, потолок, пол, мебель, оконные рамы – все, абсолютно все в этой комнате было обвязано светло-серой и белой пряжей. Своеобразный интерьер, даже приятный вполне.

– …А как надоест, распускаем и другим цветом вяжем, – сказала Зульфия.

– Это чтоб не просто так, – сказал Самат, делая пальцами, как будто это спицы, – надо, чтоб труд был видимый. Даже тот, который только для собственного здоровья.

– Тем более тот, который для здоровья, – поправила мужа Зульфия.

– А потом все остальное, – сказал Самат.

– Любое, – уточнила Зульфия, – но потом.

Потом, спустя много времени, мы с ужасом вспоминали о тех первых месяцах, которые наши мертвецы провели без крови и вязания. По нашей и их собственной неопытности они могли попросту исчезнуть, превратиться в какую-нибудь фигню вроде праха или тлена, перестать быть. Как бы тогда мы ходили мимо опустевшего контейнера, который стал бы для нас вечным укором? Хотя, возможно, мы бы так и не узнали никогда, куда делись Сережа, Энди и их пекинес. Подумали бы, что они уехали

куда-нибудь, не простившись. И кто бы тогда кормил сову в наше отсутствие?

Сережа за месяц обвязал все деревья в саду. Энди обвязал деревья вдоль лесной тропы, по которой мы обычно ходим к морю. Потом они вместе обвязали несколько старых дубов на спуске к лагуне, и только тогда до нас дошло, откуда и почему появилась мода на обвязанные деревья в некоторых городах.

К концу лета мертвецы так окрепли от тренировки мелкой моторики, что начали использовать крупную: Энди починил старую тачку, а Сережа взял лопату и нечаянно выкопал яму – пришлось его хвалить и срочно назначать яме применение (яма не должна была оставаться напрасной: зряшный труд очень губителен даже для живого человека, а Сережа таковым не являлся); решили, что будем складывать в яму компост, вот, например, целый ворох свекольной ботвы – кстати, никто из нас не помнил, чтоб мы сажали свеклу.

– Это мы посадили, – сказал Энди.

– Нам свекольный сок нужен, – сказал Сережа.

– Мы его уже заготовили, – сказал Энди.

– Сорок литров, – сказал Сережа.

– Зачем? – спросили мы. – Это же гадость.

– Если с яблоком, – сказал Сережа, – то ничего.

– Вы же уедете, – сказал Энди.

– На всю зиму, – сказал Сережа.

– Да? – удивились мы.

– Ну да, – кивнули мертвецы. – Вы уедете до весны, а мы тут останемся, – сказал Энди.

– Собак кормить и котов, – сказал Сережа.

– И сову, – сказал Энди.

– И за домом следить, – сказал Сережа.

– Вы же всегда этого хотели, – сказал Энди, – чтоб кому-то доверить.

– Много лет, – сказал Сережа.

– Много лет вы хотели иметь возможность уехать на зиму, но совершенно некому было поручить следить за домом и кормить сову, – сказал Энди.

– Для кормления собак и котов можно было нанять специальную службу за деньги, но сова – совсем другое дело, – сказал Сережа.

– Сову абсолютно невозможно никому поручить, – сказал Энди.

– Сова не выносит посторонних живых людей, – сказал

Сережа.

…Все знают.

– Ну хорошо, – сказали мы, – а при чем тут свекольный сок? Сорок литров.

– Ну как при чем, – сказал Сережа, – вы же пальцы нам не оставите?

– С собой же пальцы-то заберете? – сказал Энди.

Ну да, точно же, заберем.

И пекинес такой: «тяв», «тяв».

Шумный до ужаса, сроду не скажешь, что мертвый.

Илья Данишевский
Хребет Алекто

Труп девочки лежит у окна. Плоть все еще немного вибрирует, Юлия видела, как крошку виском приложили о подоконник. Тисифона. Теперь, когда фурий нет, Юлия воскуривает благовония: табак и ментол. Она подходит к окну,

аккуратно, чтобы не потревожить убитого ребенка. Она не хочет, чтобы мертвые прикасались к ее одежде. В этом есть суеверия – женщины Столешникова переулка не прикасаются к мертвым. Там, за стеклом, глухая темнота. Три часа пополудни, но она не знает других слов, чтобы описать Волоколамск. Там – глухая темнота. Убитые беспомощно лежат на полу спальни, как два пакета с протекающим мясом. Женщина тридцати восьми лет и четырехлетняя девочка. Что-то шуршит, и тени мелькают в бабушкином зеркале. Открытки заложены за его чугунный лацкан: Анапа, детский пляж и серебристый песок, родительская блядка с вином в пластиковых стаканчиках, Юлии презрительно больно от незнания этой жизни, там, в этом грязном море, как бы происходит что-то важное, ночные дискотеки 80-х, где твой ребенок упрашивает «купи тамагочи», там, далеко-далеко, в пьянящей нищей глубине анапского пляжа… ребенок в воздушном жилете, ребенок и его мать на «банане», ярко-красная горка упирается в надувной бассейн, общественный туалет с неработающим замком, огромный жук на прогретой деревянной двери, мучительная боль, детский спасатель неумело трогает грудь только что разведенной мамочки, его руки с выцветшими волосками, там, под редкими каштанами в уютной тени, сжимается на груди, и сосок упирается в линию жизни; там протекает их молодость – июнь, июль, август, бархатный сезон замусоренной линии моря, аквапарк с запахом хлорки, и она замечает, что ее четырнадцатилетний паренек «первый раз», где на закате его детская сперма на вельветовый животик южанки кажется совсем несерьезной; пятирублевые монеты в одноруком бандите и почти порнографическое откровение «Пляжа» и голого Ди Каприо в провинциальном кинозале; ребенок огромной палкой рубит крапиву и зонтики борщевика, и он приходит в квартиру, и она не знает, сказать ли, что у нее есть ребенок до или после, и, лучше все же после, его рука оттягивает резинку ее капроновых колготок, а другая щупает пластиковый амулет на шее «для любви», потом запускает руку в ее волосы, они приклеиваются к пальцам дешевой пенкой, и она быстрым движением стягивает с себя трусы, чтобы он не увидел ежедневку; она наглухо выбрита только лишь для него этим утром, он вводит указательный палец, и она успевает понять, что в этом есть что-то не о любви, и потом, когда она уже лежит и он как бы тоже, но только сверху, она понимает, что вообще не нужно говорить о ребенке, не сегодня и не ему, – все то, о чем Юлия только брезгливо догадывается, и в чем она брезгливо находит настоящую жизнь. Вся эта настоящая жизнь лежит мертвой на ворсистом ковре. Оля освоила fake GPS, и теперь чекинится на

лазурном берегу, в Альпах, катится по горнолыжным склонах и пишет свое мнение о гриле Турандота, об ощущениях под его синеватым нефом. Теперь ее диджитал-существование закончилось. Больше никаких Гоа, Варанаси, Георга V, серпантина ЛяМортДёАртур, Ритц-Карлтона – больше ничего.

Над ее телом она распускает свои браслеты Пандоры. В золотых и серебряных чармах больше нет смысла, заклинания, клифоты и таинства, артефакты и песнопения – ничего. Оли больше нет, и Юлия убеждается в этом прикосновением к ее шее. Ребенка тоже больше нет, а благостные дочери где-то в темноте. Они найдут где спрятаться даже в двухкомнатной распашонке Волоколамска. Закрывает глаза, и снова оказывается там, – оно возвращается страшным сном. Под ногами покрытая легкой изморозью опавшая хвоя. Огромные деревья поднимаются над головой и переплетаются, острые лучи редкого света падают к подножию этого «брюха»; Юлия в лесном люфте, в этом хитроумной шварцвальде, куда не ходит даже капитолийская волчица. Ей подлинно ясно, что этот морозный воздух и вечные ели – принадлежат только ей. Здесь свежий аромат беды, и на тонких лужах хрустит лед под каблуками. Когда-то ей казалось, что все это место – находится в какой-то воронке, ты можешь помнить отражение своих губ в дорогом зеркале, а потом сразу же этот лес. За многие годы дорога известна, как тело любовника, даже можно найти отметины своих прошлых подъемов на страшную гору. Здесь оторванная ветка или – след летних туфель на подмерзшей грязи; иногда даже кажется, что ты чувствуешь запах парфюма-своего-прошлого. Она меланхолично идет вперед. В первый раз эта тюрьма свежего альпийского воздуха наполнила Юлию счастьем, но сейчас она хорошо знает – что, где и почему. Трудно понять – даже представить – полную тишину. Лес, в котором никогда не бывало птиц, ни одна землеройка, и ни одно насекомое не являются частью этого уравнения. Это пронзительная и мрачная тишина изоляции. Тропа ведет вверх, а рядом застывший ручей с переливающимся льдом. Лед, похожий на вену. Выше. И еще. Можно курить, останавливаться, кричать и ползать на коленях. Ничего не изменится, шварцвальд не покинет тебя, он твой самый преданный друг. Ты должна пройти до конца, увидеть то, что он хочет тебе открыть – на вершине холма, будто в какой-то компьютерной игре, где все подвержено внутренней логике; как в крупном бизнесе – воплощение одних и тех же паттерном по кругу. Ты можешь дрочить под ледяными елями или вспарывать себе горло их твердыми иглами. Бежать вниз по ручью, но всегда возвращаться к необходимости подняться на самый верх. Этот сон всегда повторяется – кошмаром, фарсом,

банальностью, а затем просто привычкой. Так больные энурезом полностью перестраивают жизнь под болезнь. Ко всему можно привыкнуть, и к шварцвальду тоже. А на самом верху, где отступают деревья, ты видишь безграничное пространство черной крыши, километры или сотни жизней пешком. И над всем этим высится – но, конечно, до него нельзя добежать, и твой крик не достанет его стен – хребет Алекто. Белая гора с красными зазубринами пиков. Словно перепачкан в солнце ее хребет, и – именно ее, а не названный ее именем – это позвонки, перепачканные утренней кровью выходят наружу сквозь разошедшийся шов кожи. Она лежит собственным идолом, ее змеиное тело – ткано девственницами и снегом, холод запорошил все дефекты ее пигментации, она белоснежна, как после фотошопа, великая порно-актриса, королева генг-бенга, Алекто, рука которой небрежно откинута вниз по склону, и черная река – это огромная страшная вена от локтя до запястья, то ли вскрытая, то ли столь отчетливая даже отсюда. Алекто насажена на горы, горы втискиваются в ее живот и выбивают кость наружу сквозь спину, и где-то далеко вдали теряется хвост, и несколькими уже сгнившими солнцами в ее волосах маслянисто блестят цветы репейника. Призраки вьют гнезда в ее черепе. И мало кому удавалось видеть ее – отсюда, где расходится шварцвальд, – будто с военной вышки, – упираясь взглядом в огромную пещеру, где когда-то в сводах костяного дворца античные шлюхи читали молебен – ее выгнившего левого глаза. Будто вылупляясь из белого с красным бархата, глазница источает ту тишину, которая не дает Юлии дышать.

Идея о том, что именно внутри когда-то был жреческий нексус, особенно будоражил мозг в двадцать три года. Тайное собрание внутри богини отмщения. Злобная инверсия, уроборос настоящей культуры. Подлинная история вопреки всему, что называет «Тайной историей» двадцать первый век.

Конечно, Алекто привлекает ее внимание больше, чем кульминация сна – старый дом на вершине шварцвальдского холма. То, к чему тянутся ее надежды, страшнее декоративного трупа на излете альпийского пейзажа. Это обертка рождественской конфеты или белая лента Болотной площади – декоративное искусство. Дом же, который она всегда называла странным и вычурным именем «Парцифаль», является последней точкой реальности. Иногда можно увидеть, как сквозь него начинает блестеть жизнь. Видимо, у каждого найдется такой Парцифаль – такой дом, заточенный в стеклянный шар, такая тайная память и нерастраченный ресурс ностальгии, который единожды полностью заполняет твою жизнь, вытесняя все

остальное. В четырнадцать ты впервые видишь его на витрине и уже предчувствуешь. Потом он становится твоим настоящим, затем – прошлым, гештальтом, причиной психотерапии, рефлексии, о нем ты плачешь, когда прижимаешься лбом к его сильному плечу и когда сжимаешь лопатку, того, к кому сегодня тянутся твои ожидания; завтра – ты уже насыщаешься, но никогда, стоит запомнить, тебе не спастись от подобного Парцифаля. От этих книг, без всякой видимой причины, вызывающих приступы ревности и судорожное желание обладания. Для всех остальных такие предметы не имеют никакой значимости, для тебя же их тайные имена яснее всего остального. Вероятно, Парцифаль начали строить в конце 70-х (так или иначе Юлия должна придумать его историю собственноручно, в этом кульминационная часть приключения) миниатюрным подарком очередной любовнице. Какой-то из первых нуворишей пытался пленить ее европейским шармом. Неуклюжее чудовище, не имеющее ничего общего ни с одним архитектурным течением. Эта желтокрылая пташка была актрисой, и Парцифаль, став ее клеткой, пропах запахом пудры и обил свои стены зеркалами. Многие из этих зеркал никогда не отражали действительности. Это были черные зеркала, другие зеркала, именно такие, какие всегда необходимы актрисам. И необходимы таким, как Юлия – больше, чем класса люкс, эксклюзивные артефакты другого мира, несущие в себе аромат тосканских преданий Джеймса Гюнтера и античного жертвоприношения.

Парцифаль стоит на вершине холма. Кажется, что он упирается в пропасть, но это не так. Он – начинает пропасть, он является ее источником. Холм резко осыпался северным боком под тяжестью напудренного чудовища, и обнажил острые базальтовые уступы. Далеко внизу виднеются еловые заросли, и дальше – хребет Алекто. Юлия знает, что сон заканчивается внутри. Когда захлопывается входная дверь, пространство съеживается до размера Парцифаля. Это не ощущение гроба. Это большое двухэтажное пространство. Радости, розмарина, потрескивающих каминных бревен, эбонитового херувима на полке, пыльных корешков, мандариновых корок. Это суррогатная реальность, где папа жив, мама жива, любовь существует, торжество дружбы. Запах обманчивой старины. Прямо за дверью начинается громоздкая лестница. Здесь первая хозяйка сломала шею. Начиная с античности, люди строили дома-коробки и дома-ящики, способные запереть в себе зло. Известный дом Пандоры. Эти метафизические ловушки не только пили кровь своих хозяев, но и вызывали в них любовь. Одержимость стропилами,

лестницами, перекрытиями, спальнями. Эти дома вступали в прихотливые и ревностные отношения со своими хозяевами. Они занимаются с ними любовью. Иногда – они ебут их до смерти. Дома-однолюбы и дома-гомосексуалы. Дома, как Парцифаль, способны наполнить твое сердце ностальгической печалью. Навсегда. Заполнить тебя до краев. Любая история этих домов – еще одна история похитителей тел.

Пространство демонов – это точки, где чекин невозможен. Юлия знает, что находится внутри. Дом, с которого все продолжилось. Чья величественная история принудила ее делать карьеру. Его доски, его дорогие окна – все, что она заработала, посвящено Парцифалю. Смерть Оли и ее ребенка. Добро пожаловать вечная тема моего сердца мой Алехандро мои беременные надеждой мои дорогие мои устремления, вот он снова зовет с вершины шварцвальда – невредимый вечно ускользающий возлюбленный. Невзаимная любовь к дому по имени Парцифаль сделала Юлию подлинным наследником римских императоров.

…они приходят снова и снова силой дежавю, незнакомые улицы с приметами родственной близости, мужчины с отчетливой предначертанностью в любовники, фурии приходят днем, приходят ночью, мучают Ореста мухами и Юлию формами искореженных женщин. Рождественский подарок тем, кто совершил убийство, подлость, предательство и использовал fake GPS, то есть – они преследуют каждого, и их цель уничтожение человеческого рода. Она поднимается по ступеням Парцифаля. То ли для того, чтобы закончить сон, то ли из внутренней необходимости. Дверь. Небольшой коридор, и обнажается зал, и вот погасший камин. Фигурки из фарфора – каждая, как знак зодиака или символ ушедшего года, все то, что приятно нам, когда мы влюблены – над этим камином. И ковер, созданный для пятен красного вина и пролитых телесных жидкостей. Здесь свершается секс и детоубийство. Что угодно. Как удобно, что все трактуется и кажется именно тем, что нужно именно сегодня. Кровать паралитика = брачное ложе. Все одинаково. На этой лестнице актриса погибла, а остальные хозяева продавали Парцифаль из рук в руки, как неудобный и старомодный чемодан, вряд ли кто-то чувствовал тревогу или беды прошлого, этот дом не одержим призраками, совсем нет, дело совсем в другом. Это просто дом. Но некоторым придется полюбить его до конца. Юлия сидит на его диване. Все ей кажется немного другим, родом из прошлого, значительным. Она покупала бусины Пандоры, чтобы запомнить взлеты по карьерной лестнице, посещение значимых выставок, и чтобы не потеряться в арт-пространствах и

небоскребах. Это были заклинания возвращения, мольбы о любви, попытка отогнать фурий. И вот она снова в этом доме, с новым убийством на пальцах, а браслеты на ее руках опустели.

Последнее, что испытала Оля, – удар в грудную клетку. В общем, это не было больно. Даже страшно не было. Но перед смертью она видела их – идущих наперекор тому, что чудовищ не существует. Алекто, Тисифона, Мегера. Тисифона крепко держит шею ее девочки, можно пересчитать кольца на пальцах, все это так медленно, вся кровь деторождения и весь сок жизни, мой персик и мое утешение и я не смогу жить если с тобой что-то случится – все это в руках того, что не должно существовать. Оля не знает о Тисифоне, она видит лишь ее силуэт, страшная женщина, да и женщина ли(?): странная маска из тончайшего зеленоватого стекла, стеклянной плесени и шов, где маска переходит в лицо, это похоже на ожог, одно вплавляется в другое с грацией и внутренним умыслом, но Оля этого не знает. Ее головастик и единственный котенок в длинных пальцах судьбы, шея не может выдержать подобной силы, кажется, жизнь обрывается гораздо раньше удара, и резкое движение, с которым Тисифона разбивает голову малышки о подоконник, – просто символ, триумф жестокости старого мира, триумф символической справедливости, и в этом нет уже убийства, это – надругательство над мертвыми, ведь Оля слышала, с каким хрустом пальцы и шея, она все слышала, она все понимала… она уже не могла броситься вперед, ей претило прикоснуться к мертвому ребенку, так – вдалеке – она дергано сглатывала слюну, и ей казалось, что у котенка девять жизней, и это просто какая-то игра; стоит прикоснуться к мертвым, как иллюзии осыпаются. Она родила ее по любви, по тому, что хотя бы чуть-чуть можно назвать любовью после того, как ты ебаная-переебаная в провинциальном поиске любви, – и нельзя понять, за что приходит это возмездие. В темной комнате. Просто так, ударом о подоконник. Пальцы Тисифоны в дорогих кольцах. Тиффани и что-то еще, Оля не знает названий, она никогда не мечтала – боялась и незачем, совсем незачем – заучивать эти иезуитские имена – Алекто, Тисифона, Мегера – западных брендов. Чекин в Ритц-Карлтоне просто так, этого ведь недостаточно для казни…

Впервые Юлия поднялась на холм шварцвальда в четырнадцать. Льдистый воздух. Он покалывал ее тело первым эротическим возбуждением, которое возможно только в четырнадцать. Как тебе хочется крепких объятий. Ты не смеешь использовать слово «обнимашки», все очень серьезно и трагично. Дышать в яремную вену (ты не знаешь, как называется эта вена на его шее, но она очень притягательна, и эта притягательность

вынудила валахов придумать вампиров), тереться носом. В первый раз совсем не было страшно. Застывший зимний лес, первая австрийская сказка для рожденной в СССР. Запах елового освежителя воздуха и бриз ручья. Наверху – никакого Парцифаля. И когда она увидела Алекто, то вначале не поняла, что это такое. Четырнадцатилетняя девочка не знает слов, не знает впечатлений, чтобы описать огромное распятое на горном хребте чудовище. Змеиный торс кажется известняком, а ребра камнем. Черный абисс ее глаза – притягательной пещерой. Алекто и девочка впервые встретились. Это был сон застывшей и от рождения утраченной красоты, это сама идея хоть чего-то бесконечного, пусть даже муки и возмездия, там, в их непосредственной близости, героические саги поднимаются из распоротой вены фурии, и шепчут о других бесконечных вещах – бесконечной преданности, утренней эрекции и любовном экстазе. Юлия не знает, что мужчина ее жизни, конечно, пару раз передернет на порно, вернувшись с работы, она не знает, сколь извилист путь измены и внутреннего распада. Ее четырнадцатилетняя жизнь лишь самым краешком приоткрыла тайны семейственного насилия, таинство расчехления девственности, подлинный коэффициент рентабельности уличной проститутки, – и смерть на пол шишечки. Исаак находит маленькую Сару не для поцелуя едва проявившейся груди; нет никаких рек, кроме реки монструозного комфорта, в котором мужчина отыскивает пристанище, женщина впускательными механизмами и хитрой системой шлюзов блокирует путь к отступлению. Персефона должна породить подземное царство, и ее будут ебать до победного. А еще – всех других, секс – это форма трафика, даже не триумфа, но единственная колыбельная. Великая песня, которую поют умирающим, младенцам, монахиням и йогам. Ящик Пандоры, если он все же был ящиком, а не домом – как Парцифаль – должно быть наполнен спермой.

Потом Юлия множество раз пробовала прервать черную дрему фурий. Даже прыгнуть с северного обрыва. Убить в себе шварцвальд самоубийством. Но нет, снова и снова что-то мелькает в темноте, и ты думаешь, что в этот раз совсем не так, как тогда. Будущее кажется многообещающим. Пение щеглов снова заполняет Альпы. А тысячи чернорабочих с востока очистили горнолыжный склон для твоего блистательного падения. Некоторое время снов не было. Может быть, четыре миллиона благотворительного взноса на счет дома св. Малютки сделали свое дело. Четыре миллиона – это действительно внушительная сумма, чтобы демоны успокоились. Но они вернулись, и Юлия думает, что виной всему – неуплаченные

налоги. Или две случайные связи, когда она была на грани отчаяния. Минет трудно назвать чем-то запоминающимся, считающимся как грех, но все же – может быть, их сумма (1 + 1) сделали свое дело, шварцвальд снова пришел к ней в стеклянном кабинете. На этот раз на его вершине был Парцифаль, и с этого дня – чудовища уже не отпускали ее. Еще три миллиона, и банк прислал возврат. В мире знаков и античных суеверий это значило только одно: взрослые девочки никогда не встречают свою любовь, взрослые девочки должны запомнить раз и навсегда, что человечество уродливо и только обманчивые маяки фурий, которые можно считать надеждой, что-то оживляют в твоей грудной клетке; они настолько же принадлежат миру сомнамбул, как все остальное, и надежда – это просто более приятное аутодафе в контрастной системе познания.

В мире женского разочарования – любовь к недвижимости может оказаться спасением. И Парцифаль, прекрасный и старомодный дом-метросексуал, ответил Юлии взаимностью. Они встретились, когда она искала дачу, еще одну дачу, что-то особенное. Подарок на 8 Марта, затычку для ран. Грациозные эркеры, которые не дают половых сбоев. Надежность пола и потолка. Камерность и сердечность спальной камеры. Некая неряшливость, которая всегда придает мужчинам своеобразный шарм. Юлия не помнит, как звали риелтора, который познакомил ее с Парцифалем. И цена была завышена, но это не имело значение. Может быть, это была доплата за умершую на лестнице актрису. Любовь с первого взгляда, как иногда это случается в метро: любовь глазами, часто взаимная, на одну или две станции, а потом выходить – такая любовь, которая, как обычно, и происходит, ебет тебя до смерти.

Как галантный любовник, Парцифаль пытался отвоевать в Юлии все больше и больше места. Он отрывал от нее прошлое, открывал его тайную историю. В его спальне она узнала, что происходило тем летом, когда родители отправили ее в детский лагерь. Мама нашла отца с двумя проститутками. Может быть, была и третья, но успела уйти. Он драл их в задницу, а потом те принимали на клык. Они принимали слезы его старости, белесые рыдания первой седины. А потом он избил жену за то, что она сомкнула две его жизни – тайную и видимую. И потом тоже пытался выебать, но уже не получилось, ведь старость бережлива, как белочка. Парцифаль рассказал ей подлинную историю первого мальчика. Что ему на самом деле не нравились ее бантики и атласные ленты. Его интересовала ее тайная ямка, легкая прореха в песчаном пляже. В общем, он готов был любить и ее ленты, и ее бантики, почему бы и нет, главное, чтобы омытая

морем влажная брешь была нараспашку открыта. Парцифаль рассказал, что бантики и ленты других – ничем не хуже. Ты совсем не особенная, ты – просто каждая. Юлия плакала и зарывалась в Парцифаля глубже и глубже. Эта привязанность была обоюдной и сдавливала насмерть. Элитная шлюха готова дарить экзистенциальные радости, ее дырка – это фейерверк и сквирт эпикурейского счастья. Ее дела шли в гору, и она покупала Парцифалю дорогие подарки. Шкафы, комоды, все то, что показывает качество твоей жизни, все, за что тебя можно полюбить. Он рассказал ей все, всю ее жизни с другой стороны. То, что мы никогда не видим изнутри. Как подлинный друг, он рассказал, что ее ненавидят подруги. Коллеги смеются над цветом ее волос. Все то, без чего наша жизнь кажется обрезанной и цензурной. Ты никогда не можешь быть нужна. «Нужность» – это хитроумная ловушка ума. Все заканчивается, не начинаясь. Там, между двумя поцелуями, не существует прослойки нежности, между ними зияние и разрывы аорты. Он напомнил, как Юлия поднималась к успеху. О страшных компромиссах, трещинах, минуте, где идеология превращается в деньги, о проданных возможностях. Он напомнил чем и как она покупала этот паркет, балдахин, все эти стеклопакеты. И как любой возлюбленный, которого мы покидаем, чтобы навсегда оставить его в своей памяти, предать ему особую значимость, центрировать им свою жизнь, Парцифаль превратился в кошмар, навязчивое видение, возник на короне шварцвальда вечным немым укором, навсегда потерянным шансом, последним и самым изысканным инструментом фурий. Но перед этим он напомнил Юлии – почему Алекто смотрит на нее хищным взглядом.

…Оля знала много причин, по которым женщина может ненавидеть женщину. Мало кто способен на убийство, но все же. Перстни Тисифоны сверкают воспоминаниями. Они как бы в честь каждого ужаса твоей жизни, поименно, перечень, листинг, ТОП-100 ужасающего. И рука опускается – как бы очень медленно – увлекая за собой вниз зажатую страшными пальцами шею твоего ребенка, а затем резко отпускает ее, и висок ударяется о подоконник, его угол врывается в череп, и больше ничего не видно, даже раны, потому что все заполняет кровь. Иногда они выживают после самых страшных ударов, но чаще, конечно, нет. Так же – может быть, как форма патологии, он любит тебя до гроба, но чаще, конечно, нет. Ты ведь даже не знаешь, правда ли делала ее по любви, хоть по какой-то искре… скорее всего, да. Возможность социального лифта и предвкушение – это ведь тоже искра. Ты просто пристально смотришь на пальцы Тисифоны. Бесчеловечная красота. То, что ты делаешь всю жизнь, но как бы

исподволь, обнажено в ее фалангах. Нет, ее руки никогда не делали ничего, что не делала бы рука человека. Фурии – это ремейк, высокобюджетная ретроспектива. Все, что было значимого, значительного и цена всего этого – в одном месте, в ее пальцах, и кольцами на ее пальцах.

Сны вернулись, как только она сделала Парцифаля своей памятью. До того, как встретила Олю, и нашла причину ее ненавидеть. Парцифаль сдал навязчивой идеей Юлии, первой любовью, которую ты портишь своей человеческой натурой. Акт I возвращений в шварцвальд был вполне невинен. Она поднималась вверх по холму (и с каждым разом это давалось все труднее), и ветер напоминал ей, что тело лишилось всякой эротической напряженности, ничего внизу ее тела больше не пульсировало навстречу романтическим возможностям, ее красивое лицо уже вобрало в морщины отсутствие таких возможностей. Она всегда поднималась наверх и смотрела на Алекто. Черный глаз правды. А потом входила в дом и обследовала его. Каждый раз в нем что-то менялось, какая-то невидимая деталь или штрих, то есть по каплям Парцифаль переставал быть только ее и демонстрировал новых хозяев. Фигурка синего львенка на каменной полке. Юлия никогда не купила бы подобную дрянь. Новые шторы на кухне и новый смеситель. Что-то становилось чужим, и нельзя вернуться в детство. Теперь похабные тайны, которые рассказывал ей дом, становились еще чудовищнее, ведь медленно превращались в сплетню. Дом пересказывал историю ее семьи новым хозяевам – и Юлия чувствовала это – он хохотал о трех проститутках, об избитой матери. Он хохотал над ее мещанской пошлой кровью. Над тем, как однажды она взмокла на своего начальника, а потом ее повысили. Нет, правда взмокла, так совпало. Но никто не поверит. И теперь – все узнают. Каждый изъян твоего тела в пересказе бывшего возлюбленного становится разомкнутой грудной клеткой. Ты никогда не остановишь кровотечения прошлого. Фуриям только и оставалось, что отдать возмездие в руки людей. Их привычки сами разрушат мир. Вся твоя жизнь – станет грязной историей, твой образ – сатирической новеллой. А вот и второй синий львенок на каминной полке. Юлия продала Парцифаль, потому что больше ничего не хотела знать о человечестве, она не могла быть женой безысходного пророчества, и теперь дом-чудовище хотел от Юлии того же, что и фурии. Его волшебные стены теперь укрывали кого-то еще. Тех, кто покупал синих львов. И новые шторы. А вот новые часы. И все тайны Юлии выскальзывают из сердца дома в новые головы. И однажды он расскажет, почему демоны мщения преследуют ее. Он

расскажет новым обитателям дома ее самую страшную историю. Парцифаль такой же, как люди, и любая доверенная ему тайна рано или поздно станет достоянием истории.

Это был декабрь, когда пришла пора рассказать – настоящую сказку. Подарок на Новый год, страстный поцелуй под омелой. Шварцвальд выхватил Юлию из пьяной темноты, ее дыхание, пахнущее текилой, омрачало хрустальный лес. Она вновь поднимается вверх. Алекто все так же меланхолично лежит на скале и бесстрастно демонстрирует распоротую от локтя до запястья руку. Руку ли? То, что у демонов как бы в пародию над людьми является рукой. И вена ли(?) или какой-то другой неизвестный Юлии символ… может быть, бурление ненависти, и то, что ничего другого и не циркулирует по кровеносной системе. Парцифаль горел рыжими огнями. И внутри поселился кот. Коты ведь как бы защищают человека от мыслей, что однажды все кончится. Ты упадешь с лестницы или северного обрыва. Или что Тисифона разобьет твой череп о подоконник. Юлия услышала звуки любви. То есть – звуки любви, и эхом эти отвратительные звуки, с которыми вспотевшие яйца бьются о ягодицы. Очень хочется вырезать из любви ее физиологию и хотя бы мысленно излечиться от грибка стопы. Пусть все будет иначе. Так, как не бывает в жизни. Юлии нужно было узнать, кто она, кому Парцифаль продал ее потроха. Кто живет внутри ее единственной настоящей любви. Бледные волосы или зеленые глаза? Какой у нее подбородок. Есть ли мимические морщины и, может быть, в губах силикон? Возможно, ей стоило понимать, что фурии наносят самые страшные оскорбления из возможных, в них нет компромиссного массмаркета. Она заходит в комнату. Ту, где камин и где на полке убожество синего цвета. Она видит тела на полу. Вначале ничего не понятно. Женщины к этому не готовы. Две или три проститутки – может быть, но не это. По-крайней мере приличные женщины. Парцифаль хохочет, о, как он хохочет, и эти звуки, с которым одно тело входит в другое, и, конечно, запахи всего этого, о, как он хохочет! Мужчины на полу с какой-то неясной ей нежностью целуют друг друга, у одного борода с сединой, то есть она рыжая, но с яркой благородной сединой. Юлия хочет найти в них изъян, но нет, их тела – с поправкой на возраст – весьма впечатляют. Она знает, что мир античности приносил в жертвы весталок, потерявших девичество; что Геката окружена не только сворой псов, но множеством более страшных существ; что Платон любил мальчиков и называл это настоящей любовью. Возможно, и Парцифаль тяготел к рыцарской любви. Этого Юлия не знает и не хочет знать. Две бороды сливаются в одну, это похоже на какое-то кошмарное животное. Катоблепас,

Тиамат, Анфисбена? Мойры плетут нити судьбы двух мужчин и сплетают две в одну так же, как мужчин и женщин. Фурии приходят к тем, кто нарушает движение подлинности, необратимости. В той комнате, где Юлия узнает о том, что отец избивал мать, двое мужчин – один на другом, слитые в одно, но разделяемые оттенком кожи – ебутся в сочельник. Им Парцифаль рассказывает ее тайны, укрепляя сомнения в женщинах, множа их связь друг с другом. Двое мужчин, кот, уродливые львы, Парцифаль – дом-чудовище, дом, в который не входит зло, или дом, который хранит в себе зло. Это просто вопрос восприятия. Инверсия: глаз Алекто преследует Юлию, но игнорирует этих мужчин – им рассказана чудовищная история, случившаяся с маленькой девочкой в четырнадцать лет. Ты сама во всем виновата, ты сама накажешь себя, и они – сами накажут себя разрывами прямой кишки, геморроем, изменами и болью. К счастью для разума, Юлия не только не верит в любовь между мужчинами, она вовсе не верит в любовь.

Это сказание о Мегере. Последней из первобытных дочерей. История, которую стоило бы оставить на месте, но для этого надо было никогда не предавать Парцифаля. Чудовища не прощают измен и никогда не наносят удар милосердия. Юлии слишком хотелось оставить что-то только своим, навсегда-навсегда, она продает Парцифаль ценой проявления этого сказания в публичное пространство. Мегера, самая страшная из фурий. Та, которая изображена со змеями в волосах, и в жилах которой ночной кошмар. И Юлии четырнадцать лет. Пионерский лагерь, красный галстук, тот самый год, когда проститутки берут на клык у ее отца, то самое жаркое лето, которое мать Юлии обрушивает на саму себя каждой тревожной ночью; лето, которое заставило многих женщин стать навеки сухими. Мегера, рожденная из крови оскопленного хаоса. С красным галстуком на перерезанной шее. Великий знак женского отмщения и одновременно беспрепятственного насилия над женщинами.

Лагерь, крохотное озеро в центре, несколько блоков – два для мальчиков и три для девочек, лестница взбирается по холму, и на холме, словно Парцифаль, столовая. Каждый день надо подняться по этой лестнице, а затем спуститься. Ноги устают. А еще есть домик-развлеки-себя-сам. Там учат делать зайчиков из цветной бумаги, и есть зал, где в конце смены показывают спектакль. Юлю тошнит от всего этого. Она уже хочет быть Юлией и жить где-нибудь в Бельгии, она рождена для этого. Это не смешно – многие чувствуют свое предназначение даже в четырнадцать. Но она помещена в комнату с еще четырьмя девочками. Две из них уже женщины. А еще есть вожатая. Она разбитная, охотная на клык и

все остальное. Это не блядство, это такой крой: соль земли, душа нараспашку, оружие массового поражения; еби кто хочет – не жалко. Вожатую вроде зовут Настя, а еще есть девочка Маша. Три остальные – Катя, Даша и Ваня (Иванна). Но гнобят не Иванну, что было бы очень понятно, а Машу. Маша странная девочка. Она изъясняется как-то иначе. Юля, с одной стороны, тянется к ней, потому что тоже не такая, как все. Но с другой – это какая-то ревность, и совсем не хочется, чтобы другие думали о тебе, как о чем-то похожем на Машу. Гнобят не так, как сегодня. Это лайтовый вариант. Юля – взрослая Юлия, Маноло Бланики и настоящие ночи в настоящем Ритц-Карлтоне – читала Масодова, и все было совсем не так. Отпиздили Машу всего два раза, и то за дело и с молчаливого разрешения Насти. Это за то, что Настю все любили, а Маша сказала, что она прости-господи. Все хотели дружить с Настей, ведь тогда можно голой плескаться в озере и все такое. И, может, Настя расскажет, как Петя играл на ее губной гармошке. Всякое может случиться в летнюю ночь. А еще Маша должна играть Шамаханскую царицу, и это ужасно. Юля хочет играть Шамаханскую царицу. И другие девочки хотят, чтобы Юля играла, потому что Юля классная. Но Машу утвердила Валерия Павловна, а Юля ее заменит, если грипп или еще какая-нибудь смерть.

Дети умерших не спят, даже если кажется обратное; они просыпаются сквозь каждое твое действие, в каждом твоем шорохе их чешуйчатые движения; они рождаются из малейших случайностей и несостыковок реальности. Тогда – их пробудила Настя. Она пришла ночью пьяная, чтобы сказать «спокойной ночи, девочки» и, как обычно бывает, рассказать страшную историю. Он приходит из ночной глубины, из неведомой складки, зажима реальности, на ночной дороге, и когда он идет, кричит ночная птица. Слышен шелест его одежд и почему-то скрежет железа. Он стучит в первый попавшийся дом и протягивает руку, и когда руку выхватывает свет, видно, что это не рука, а то, что как бы под рукой, ведь мы знаем, что руки обтянуты кожей, все наше тело обтянуто кожей, и это делает нас людьми – кожей мы привлекаем других, меж ее складок они впиваются, эти другие, в наши тела – а там нет кожи, под ноль содранные эпителии. Может быть, он рожден фуриями, может быть – это отбившийся щенок из своры Гекаты. Он просит два килограмма мяса. Ровно столько, сколько поместится в руку. Духи древности не знают жадности. Все, что обхватят пальцы. Каждую ночь – два килограмма мяса и не более того. Но если нет, он возьмет свое сам. Из детской колыбели, оторвав столько, сколько нужно от мясистого малыша. Половину или две пятых младенца. Больше

нет смысла, остальное – оставь себе.

Он приходит с западной тьмой. Что происходит с мясом? Под грязной одеждой, в скоплении струпьев на его груди – стальная дверь сейфа, ободранная рука крутит замок, шесть влево, четыре вправо, щелчок, открывается потайное ящик, подлинная грудная клетка, вся в гнилой материи – свинина, говядина, конина и человечина; и он складывает, надеясь сохранить жаркую плоть, бережливый любовник, разжимающий свои внутренности и впускающий возлюбленного; но там, внутри, как во всех возлюбленных, происходит распад, и к следующей ночи новая жажда любви и сохранения гонит его по улице, обескровленный, обезображенный прокаженный без кожи, с ржавым сейфом в груди, шесть влево, четыре вправо, щелчок, два килограмма мяса.

Девочкам страшно. История Насти – это не советские черные тапочки, черные занавески, не мертвецы на колесиках, будто что-то инородное вышептывает всю эту правду опьяневшей девкой. Все знают, что это подлинная, настоящая правда жизни. Вечный скиталец плоти. Тайная история задолго до первого перевода Донны Тартт.

Юле особенно не по себе. Она хочет как-то обезопасить себя от вечного скитальца, он грозит отрезать ее от желанной любви, будущего в бенгальских огнях, она еще не знает, что происходит с ее родителями на другом конце вселенной, кто шпарит двух шлюх, а третья в уме, кто бьет ее мать и что чувствует старая женщина… Юля принимает душ, это общий душ для всех девочек, и всем страшно, но от горячей воды как бы становится чуть легче. А потом страх превращается в злобу, злоба многих становится действием, Машу «случайно» роняют виском на вентиль горячей воды. Кажется, такого не бывает. Может быть, и Юлия радостно выбрасывает это, прячет – шестая книжная полка четвертого шкафа на втором этаже Парцифаля – но сейчас, когда она смотрит, как борода в бороду, это вновь поднимается вверх, как галлюциногенный газ в дельфийском храме, и пророк откровенничает жестоко и черство. Внечеловечно.

Настя должна всех спасти. И ей единственной не страшно. Она приказывает, чтобы взялись за руки-ноги, и несли тело. Вначале думают выкинуть в озеро, но кто-то говорит, что всплывет. Нельзя кинуть и в крапиву у забора. Но есть кое-что еще. Юля знает, что в сцене есть небольшой люк в нижнее помещение, это своеобразный люфт, который раньше использовался для хранения реквизита, а сейчас просто мешается под ногами, когда танцует Шамаханская царица… никто не найдет тебя, никто не вспомнит твоего грустного имени, пыльная штольня под детскими танцами. Царица танцует страшный

ритуальный танец рока, и фурии приходят на ее зов. Настя говорит, что Машу забрали родители, и почему-то все верят, а Шамаханская царица танцует, отстукивает по доскам, пляшет, и топот ее проникает в подземное царство, где возле костюма Петрушки лежит маленькая девочка с пробоиной в черепе. Вот и все, это сказание о Мегере. Последней из первобытных дочерей. История, которую стоило бы оставить на месте, но для этого надо было никогда не предавать Парцифаля, а предательство всегда возвращает правду на законное место.

И вот она снова здесь. Убийство Оли и ребенка не пошатнуло мироздания, ничего не изменилось, ничего никогда не изменится. Алекто никогда не принимает участие в расправе, она молчаливый корифей, лежащей на склоне. Ее глаз пронзает Парцифаль, и Юлия не сомневается, что черное зияние смотрит именно в нее. Больше здесь никого нет. Кот и двое его хозяев уехали. К кому-нибудь в гости или к толерантным родителям. Все это не имеет значения, хотя она знает, что один является врачом, а другой архитектором – дом-чудовище по старой влюбленности делится с ней жизнью новых хозяев. В основе его садисткой привязанности то, что их с Юлией связывает правда. Она единственная знает, что является душой его комнат. Он – единственный знает, зачем она убила женщину и ее ребенка. Возможно, эту историю он так и оставит тайной. Ведь у женщин всегда найдутся причины ненавидеть друг друга. Даже у таких, как Юлия, в чьей душе Бельгия, есть причины для настоящей всепожирающей злобы. Там, где нет места любви, всегда найдется люфт для бесконечного отмщения человечеству. В какой-то степени она тоже является фурией, прекрасным чудовищем с модной стрижкой. У нее нет мужчины, но есть платиновые запонки. Ателье шьют по ее заказу. Убийство – это не вопрос цели, это вопрос участия. И, конечно, Парцифаль хорошо знает об этом, ведь именно он в нужный момент случайно дернул красным ковром на лестнице, и актриса свернула шею. Алекто, Тисифона и Мегера. Они всегда здесь, шварцвальд – это просто твое сердце, древо твоей семейственности сплетается ветвями домашнего насилия и всеобщего унижения, бесплодие этой смоковницы позволяет тебе зарабатывать деньги. Однажды Юлия просто купила билет в Волоколамск. Город похожий на темноту. Его фотографии часто печатают в журнале «Антиафиша», один из тех городов, куда никогда не покупает билеты с добрым сердцем. Юлия как вырвана из контекста этого города. Так же, как она была вырезана из контекста детского лагеря и пришита к его фотографии грубыми нитками. Иногда жизнь оказывается суррогатом, и это нормально, а бенгальский огонь – просто

случайным бликом на глянцевой поверхности презерватива. Твоя путеводная звезда, дом твоей великой любви – все это когда-нибудь окажется банальной частью твоей памяти, смешанным со всем остальным. И тогда ты просто едешь в Волоколамск, чтобы сделать необходимое. Даже если это – убийство женщины и ее ребенка. Ты сделаешь это в ее квартире. Где бабушкино зеркало на стене, и в нем отражены провинциальные иллюзии. На каком-то кругу ада ты принимаешь эти иллюзии, ты пропитываешься к ним жалостью так же, как к тем мужчинам, которые ебутся на полу твоей гостиной. Ты понимаешь, что все это сплетено мойрами. И чудовище с сейфом в груди, и твоя собственная холодная грудь второго размера, и все убийства на земле. Тогда ты проникаешься всеобщей жалостью, и становишься одно из милосердных дочерей хаоса. Алекто с яростной жалостью смотрит на заточенных в Парцифаль, в тех давно мертвых, кто поднимается на склон шварцвальда. Алекто знает, что не все могут утонуть в воображаемой любви к котику или докторской диссертации, многим приходится утопить себя в жизни. В тьме Волоколамска. В вечных воспоминаниях. В изучении античной космогонии и биографии двенадцати цезарей. Юлия очень спокойна. Она покупает сигареты и пытается не разглядывать город. Она видела достаточно пустого и безнадежного. Поэтому это убийство – в какой-то степени тот удар милосердия, в котором отказали самой Юлии Тисифона и Мегера.

Женщина открывает дверь, и ребенок прижимается к ее ноге. Юлия не скрывает зачем пришла. Она как Ума Турман, и она не хочет лгать Биллу. Оля знает, что у Юлии есть веские причины рисковать своим благосостоянием и статусом. Пусть вечная ночь заберет их жизни. Юлия думает о своей любви, о своей жизни, о Парцифале. Она слышит, как комкается реальность. Будто из шарика выпускают воздух, вначале медленно, а потом происходит коллапс, и он улетает на Юпитер силой собственного умирания. Все на мгновение исчезает, а потом уже женщина и ее дочь оказываются мертвыми.

…шварцвальд в крови рассвета, красивый и праздничный, как возвращение Одиссея или студентка, осилившая «Одиссею», лазуритовый ручей и опутавший холм Парфенон. Колоннады, белый мрамор, первобытное лакшери. Оля понимает, что ребенок пропал. Его нет, и она бежит вверх, оступается, падает в весеннюю грязь, поднимается, и бежит вновь. Туда, наверх, где огромные статуи трех вещих сестер. И хребет Алекто на заднем плане. В ЭТОМ шварцвальде глаз ее полон жизни, и уже нельзя подумать, что ее круп – является частью скалы. Движется мясистое око, и рука шевелит огромными когтями, зачерпывая

воздух. Оля рассматривает хребет – всего пару мгновений, ведь это не имеет значения, где-то котенок, затерявшийся на огромной Пьяцца Ля-Морт. Она успевает увидеть порванную кожу Алекто, и взвинченный сквозь прореху позвоночник, а потом уже вбегает в храм вещих сестер. Атропос уже наточила ножницы, но Оля не разбирается в античных символах. Все эти гуманитарные знания бесполезны перед жестокими фантазиями о вечной любви. Она бежит, и скользок мрамор, и колоннады, в прорехи которых постоянно виден наполненный фатумом и обреченностью глаз Алекто. И, наконец, на самом конце своей нити, она вбегает в темную комнату. Мраморный подоконник огромного окна, увитый красивым виноградом. Это спальня патриция, где он занимается любовью со своими наложницами. Здесь нет игры в любовь, здесь вино льют на теплую податливую грудь и облизывают его жадным движением языка. Сейчас на кровати лежит окровавленное нечто, широко раздвинув ноги. Там женское зияние. Enter the Void и сказание смерти. У Мегеры нет головы, но на ее освежеванной шее еще один глубокий разрез. Это не попытка усекновения, это – удар унижения. Это и вечный символ человечества, убивающего дважды. Она лежит, теребя свою голую от кожи грудь, но потом становится ясно, что это не грудь, а свинцовый ящик, внутренность которого мечтают о человеческом мясе. Шесть влево, четыре вправо, щелчок, сейф открывается. Тисифона держит маленькую девочку за шею, и разглядывает в прорези бело-зеленой маски красоту виноградника. Возмездие и возвращение к природе одинаково ценны для ее перстней. Рука резко опускается вниз, и мраморный подоконник врезается в детскую голову. Это не возмездие, это раскаянье. И в самом конце Оля разглядывает их до конца, противоречащих истине, что чудовищ не существуют. Ее мама говорила, что нет, не существует, все, что вокруг тебя, – это любовь. Но все матери лгут. Наверное, чтобы оправдать собственное прошлое. Или от любви. Шесть влево, четыре вправо, щелчок, жизнь Оли заканчивается.

Она закуривает – Vogue ментол, и на белых подвернутых манжетах легкие капли крови, подносит сигарету к губам и оставляет на ней пунцовую помаду, ее зовут Юлия, как многих античных императоров. На тонких запястьях первая старость. Она сидит на кровати. Что-то скрипит и дышит или они все еще здесь. Юлия зовет их по именам, но они никогда не откликаются на имена. Тисифона, Алекто и Мегера. Она знает, что их зовут так или как-то иначе, но эти имена – наиболее точные из всех. Их невозможно забыть, мы выпиваем их из материнских груди, мы выпили их – много кругов назад – из вымени капитолийской

волчицы. А она слышала, как эти имена шепчет ночь: любовный лесбийский экстаз и легкие опасения. Даже волки знают, что нельзя забегать на северный склон шварцвальда – там, где начинается хребет Алекто, белоснежный исполин изморози, морошки, переливающегося лазурита и черных внутренних рек.

Илья Данишевский
Бумажные грешники

На прошлой неделе – ее правила жизни в Esquire. Одетта Сван, черный лебедь Марселя Пруста, может быть, ей уже больше ста, но кого это волнует. Ее любимая масть – режущие предметы, даже булавки должны причинять боль, даже камеи и все остальное. На прошлой неделе в диджитал, значит – может быть – за месяц до этого напечатана в бумаге, она стала известна. Ей нравятся города, живущие в лесных чащах, ей принадлежит замок с заросшей мхом крепостной стеной, в одной из стен пробоина от какой-то войн прошлого, старость может быть этой войной. Двум старым колокольням отпилила языки. Одно из главных правил – не просто научиться прощать или не находить причин, чтобы принимать прощения, но забыть о такой возможности, не знать – зачем. В главном здании четыре этажа, в каждой комнате острые предметы, ставшие декорацией, и картины, которые она меняет местами, ей нужно инвестировать и поощрять, и она поощряла молодых художников – ее поощрение скупало все их работы и помещало в дом далеко-далеко от глаз реципиента, никогда не получавшие огласки, они как старый лебедь, посасывающий леденец, и они умирали поощренные, никем не узнанные. Эти картины и их художники – как бы ставшие частью ее географии острых предметов, вдали от того, чему можно сопротивляться, они теряли остроту, разверстый угол, старый донжон – центральное место любой крепости – она уничтожила, чтобы сделать замок более современным, наверное, нанимала охотников, чтобы сглаживать пространство и лес холма сделать путеводителем, убивать медведей или – кто в этом лесу? В конечном итоге в лесу была только Одетта Сван и как бы ее дети. Еще раз – старая баронесса (? нет, не знаю) в родовом имении на склоне холма, подножие которого сливается со стеной, фонд помощи детям-сиротам «Вечная жизнь» – неизвестно, законно ли это, но Esquire пишет о ней как о боговолительнице, благоволительнице острых предметов, ангеле барокко, отдавшем родовое гнездо выкинутым из гнезда малышам. Ее правда зовут Одетта, или звали, или должны были звать = справедливость восстановлена.

Все деньги, которые она получила от своего предшественника, были потрачены на «Вечную жизнь», четыреста пятнадцать детей (крупным кеглем, вынос над ее левой бровью, свет в морщины, в глаза до слепоты) воспитаны внутри древнего

замка с пробоиной в стене. Сейчас сорок два воспитанника находятся в заточении, общий тон статьи – как хорошо, что старая баронесса тратит свою жизнь на воспитание наших детей, как прекрасно, что старые стены, детский плач, коллекция картин, предметы убийства находятся в одном месте, предназначены друг для друга. Иногда детей оставляют возле железной решетки – которая раньше соединяла с торговым трактом – сейчас соединяется с лесом и забытыми дорогами. Тот, кто бросает, – преодолевает через лес, истребленные дикие звери, и кладет у кованой решетки, баронесса забирает твое – себе, всем хорошо. Можно не выскабливать, радуйся леденцу с полной самоотдачей, баронесса обо всем позаботится, ей даже в радость, что облепленное плацентой плачет у кованой решетки. Ворота замка должны открываться для войны, теперь они как бы открываются для деторождения. [Почему-то не описано, что иногда она сама выкупает их – намекает, что твое – тебе не нужно, твое – случайно, твое лучше бы – в ее пользу]. Так или иначе, дети оказываются в «Вечной жизни», лес вокруг преимущественно хвойный, запах укрепляет десна, кроме Одетты Сван еще четыре женщины на хорошей зарплате и один охранник-мужчина. Где же те (нет), кто говорят, что это опасно, – никого нет, все хвалят Одетту Сван, что она последняя богоматерь с сердцем радости и добра, а этот охранник-мужчина – нормально, пусть остается рядом с покинутыми детьми, пусть охраняет их дневной сон, ночной сон; главное, чтобы самим собою не прерывал его. Их детский страшный сон: вдали от цивилизации, а в замке есть фамильный склеп, Одетта украшает его свечами, все испачкано воском, воск в ее мире – особый фермент, спасающий от старости и проклятий, воском обрабатываются гениталии детей, чтобы смягчить их взросление и пребывание в замкнутом пространстве.

Я знаю, чем смягчают свой путь, пробыв при ее дворе с четырех до момента, когда государство приписывает нам свободу. И думал, что она уже умерла; когда мы вышли, никто не хотел поддерживать связь друг с другом, мы никогда (наверное, никогда и никто, кроме оловянного сестринства, но и они – это не совсем мы) не возвращался, чтобы навестить ее. Она была отстраненным призраком своего замка, говорится, что его зовут – башня авгуров – так его звали уже тогда, и это не придумала Одетта, этого никто не придумывал, и башня авгуров всегда любила детей, она всегда – так или иначе – звала их к себе. До приюта Одетты в старых стенах было что-то еще, а до этого – еще, что-то другое, но немного похожее, когда-то в самом начале, возможно, там была детская тюрьма – с чего-то все началось, вся

эта коллекция режущего, вся эта страсть к заточению детей. Мы гуляли за пробоиной, там склон и одуванчики, весной воздух над склоном был особенно густым и запах не такой, как в старой крепости. Спускались вниз, и дальше какой-то неведомый детский страх не пускал нас, только до первых деревьев, а ниже – где деревья превращались в лес, уже нет, никогда. И не пытались сбежать, мы вообще мало чего пытались в башне авгуров, как бы подавленные ей, изначально невзрачные, мы развивали свою склонность к бескровности и апатии. Сегодня мы продолжение того дня, когда гуляли за пробоиной, нерешительные исследователи пяти метров до первых деревьев, не больше двух кварталов пешего пути, нелюбовь к общественному транспорту, большому пространству, крохотные квартиры, короткие связи, отсутствие глубокого увлечения чем-либо, все до одного антиманьяки и ненависть к путешествию, все еще – немного дети крепостной стены. Одетта никогда не занималась разговором о том, что будет после приюта, когда мы вырастим и… что-то случится с нами после этого, она никогда не тратилась на то, чтобы объяснить, чем мы должны стать потом и что надо выработать в себе, ее работа над подвижностью воска сводилась к правильной жизнью внутри ее башни, история мироздания – это история, как неизвестный каменщик начал строительство, а затем – однажды – дом, и стена, и колокольня – были закончены, и тогда же появились правила жизни (не совсем Одетты Сван, а той, кто могла бы быть на ее месте – ключницы башни авгуров), и тогда же в доме появились первые дети, сквозь которых правила были пропущены. Мы хорошо знаем, что реальность – это то, что отрезано от чего-то большего верховной властью и что за этой границей – тоже есть реальность, отрезанная от нас так давно, что уже неинтересно. Нет сил найти и освоить ее.

Дальше – все, что она освоила, идет из сказки о Бумажной Грешнице. Она называет автора, но, я думаю, такого автора никогда не было. Беглый поиск тоже так говорит. Одетта тоже не была ее авторам, но Бумажная Грешница между тем была, и мы все это прекрасно знаем. Раз в год она выбирала одного ребенка. Перед сном мы чаще всего говорили о ней, кто-то говорил, что видел ее лицо в вентиляции и что глаза у нее замазаны воском, но врал; или что ночью она гуляет по саду, ходит вокруг старого колодца и не может перестать ходить, до рассвета, или что на четвертом этаже есть ее комната, и что она во всех комнатах сразу и много чего еще. Это нас интересовало – какая она? – больше причины ее присутствия. И места ее назначения – вверх по лестнице, в ту комнату, куда она уводила одного из нас. Там обычный железный замок, на всех комнатах замки, но мало какие

использовались, и вот там был замок, но дверь самая обычная, вряд ли Грешница жила внутри, ее имя объясняло нам, что грешник не запирает себя сам, и его замок – не для того, что охранять и ограждать свой грех, а только для того, чтобы быть узником. Поэтому мы не верили, что она гуляет вокруг колодца, даже прогулка заключенного со связанными за спиной руками была странной; ее преступление было более глубоким, чем этот колодец, и соревноваться с ним в глубине могло только наше с ним детское сродство. Мы слушали только Одетту и преступление Бумажной Грешницы, о котором нам никогда не рассказывалось, и поэтому оно становилось одновременно всеми нашими преступлениями. И поэтому мы принимали ее право выбирать из нас, забирать нас, запирать нас, отрывать от нас кого-то без права свидания и прогулки вокруг колодца, в этой старой крепости одного из детей раз в год, когда начиналась осень, забирали в комнату на четвертом этаже, а потом гроб прятали среди других гробов в мавзолее. Наверное, это законно. Если мы спрашивали, Одетта говорила, что не совсем, но нет руки, которая может по твоему пульсу ответить – от чего он умер? Это всегда были тяжелые формы гриппа, она отделяла их от нас, и для них – это была форма гриппа, а от нас никогда не пряталось, что это Бумажная Грешница.

В конце лета красные цветы распускались у колокольни № 1, нам это не нравилось – это должное; на самом деле нам ничего не нравилось так же, как Одетте, и даже после башни авгуров нам ничего не могло понравится, все свежие эмоции были притуплены этим детским зрелищем красных цветов. Наше либидо для той земли. Наши соки в ее руках, на ее пальцах, никаких слез, медленная скользкая темнота ночи, обвивающейся вокруг колокольни, продолжается внутри, иногда я думал о Бумажной Грешнице, о той тактике безграничной чистоты, которую мы освоили, чтобы избегать ее выбора – это чистота, как кирпичная кладка и коллекция режущих (от двойки до туза режущего), не подразумевает ничего, кроме самого себя; мы выгуливали нашу сексуальность до первых деревьев за пробоиной, и наша сексуальность не хотела большего. Огромные города не воспалили, не подожгли, сладкая лакричная взвесь ночных светильников не кажется нам притягательной, чтение заторможено и инертно, тело с погруженными в сон нервами стареет медленно. В первую ночь осени даже если не спится, нужно лежать с закрытыми глазами и не подсматривать, начинается неделя обхода и выбора. Ты слушаешь, как скрипит старый дом, наконец появляются вкрапления новых скрипов, это не скрипы сами по себе, а движение, и так как никто не двигается

в такие ночи, ты знаешь, что это Бумажная Грешница. В других сказках чудовища являются тем, чем они названы, но ее имя – это титул, осевший и впитавшийся с давних пор, в ту землю, которая по наследству – стала этой землей, когда одна страна закончилась и внутри нее вызрела другая, ведущие катакомбное существование поэты продолжали помнить и транслировать ее сущность – наказывать – а чтящие ее выбирали своим атрибутом жимолость и режущие предметы: булавки из стали в волосы или под кожу, алюминиевые чармы в форме двух слившихся затылком черепов, особого вида канделябры, где свечи нанизываются на тонкий штык, и пламя, касаясь железа, слегка окрашивается в темно-серый. В эту ночь нельзя укутываться в одеяло с головой, даже спасаясь от сквозняков, никаких оправданий, только белая майка, руки должны просторно раскинуться в стороны. Это так вплавлено и переплетено с тобой, что очень страшно случайно шевельнуться и нарушить позу открытости и принятия Грешницы. Мышцы начинают затекать, хочется на бок или даже на живот, изменений. Изменения кажутся необходимыми, всеоправдывающими. Она начинает в одной и той же последовательности – от первой комнаты левого крыла первого этажа, и так далее в течение недели. Слышно, как платье ворочается по полу, ее шаги скрипучие и немного искусственные, затем ручка двери дергается, два-три раза у Грешницы не получается повернуть ее, как бы действует вслепую, потом со скрипом открывается дверь. Тут перед глазами начинает двигаться огонь, космические пятна, о которых Одетта говорит, что они приходят с севера, там, где земная ось не такая, как здесь, где космос в открытой близости. Запах горящего воска с тепло-темным ладаном. Когда она подходит к постели, космос становится еще ближе, но потом от волнения забываешь о нем, становишься не больше собственного тела. Она знает, что грех – внутри твоих глаз, в запястьях и в подмышечных лимфоузлах. Вначале водит по подушке, ища очертания черепа, ее прикосновение к нему подвижно, ладонь Грешницы не может справиться с ясностью границы височной кости, наконец, обхватывает его, и большим пальцем ведет от виска к глазному яблоку, ощупывает веко, надавливает. Космос в одной секунде от сердца, а еще беспримесный детский страх. Убирает руку. Ищет запястье, и крепко сдавливает его в поисках пульса. Грех там, где громче. А потом шарит под мышками. И все, ее вердикт – всегда после. Вначале она осматривает каждого, только потом выбирает. Это тоже беззвучно, мы пытаемся не спать этой ночью, чтобы увидеть, как она забирает, но всегда засыпаем, убаюканные сильным волнением или волей стенного камня, а утром кого-то

уже нет – это не как что-то плохое и это не жалоба.

Мне не очень интересны книги, они ведь должны что-то напоминать мне, но не напоминают. Но я знаю, что Одетта Сван в какой-то степени любовница Пруста, но больше ничего. В своем интервью она называет фильмы, которые произвели на нее сильное впечатление – все они о сексуальном насилии и я посмотрел их за эту неделю, и это тоже нисколько не интересно. Я выбираю сексуальных партнеров – и женщин и мужчин – через ускоряющие поиск приложения, чтобы максимально никаких историй, это путь комфорта, это такая дорожка, которая извивается между западным холмом, где одуванчики, и тем, что по соседству, похожий на череп великана в черной короне. Города, вырастающие из леса, и черепа, которые лес обнажает от себя, сходит с них лоскутами для человека. Очень трудно вначале – это объясняется родовой травмой замкового камня тех ворот, через которые мы вышли из башни авгуров. Иногда простыни под женщиной начинают в темноте или в легком свете напоминать викторианское скомканное платье или саван – таким, каким я представлял его на Бумажной Грешнице, реальность скомкана и за складками ее пограничье. Женское тело не такое, как на полотнах в коллекции Одетты, как будто художник всегда рисует с антинатуры, или его лимфоузлы начинают болеть, когда приходит пора ставить на масляные бедра родимые пятна. А вот поцелуи именно такие, как виделось, когда виделась нам только Одетта, старение и растрата, баронессам нужны дети, чтобы они вырастали каменщиками и продолжали их великую работу, но они растекаются наружу, утраченные ожидания становятся морщинами, а морщины похожи на складки старообрядного кроя платья баронессы. Башня не досталась ей от барона, и никакого барона не было, титул выужен из пересохшего колодца, это просто выдумка, башня передавалась из рук в руки тех, кто готов приводить в замок детей. Это единственная цель, а форма или средство могут быть любыми – в ее фильмах, которые как бы составляют ее ДНК; сканируя, можешь узнать причины своего детства – все сводится к сексуальному насилию, из этого можно понять, что и в башне авгуров оно процветало. Оно не всегда так вульгарно, чтобы умирать, кто-то вполне вынес его за пределы, просто некому и незачем было рассказывать. Там было суммарно пять женщин и один мужчина, каждый со своими потребностями, еще работа оловянных девочек, и запертая комната, куда Грешница отводила избранного – я уверен, что ни один из шести не инсценировал ее выбор, и Грешница жила в башне в неясной параллели насилию, не препятствую, не потворствуя; возможно, в том донжоне – тюремной башне – которую Одетта приказала

снести; может быть, она жила в ней эдиктом неясной силы, и продолжает жить – в башне, которую снесли для нашего взгляда. Но есть и другой взгляд, и другие башни, телам которых не нужны камни.

Все мы были бумажными зверьми ее палисадника, она ласково давала нам другие имена, чтобы ей было проще запомнить, чтобы уничтожить межкультурные и межрасовые различия в нашем дворце. Я был Барсуком, а еще был Жирафик, Зубрик, Тигра и все-все-все; все, что можно вспомнить о животных, было в этой цитадели, у которой крепостная стена заросла мхом. Наши имена не утаивались и не хранились, они плавно превращались в свои аналоги, и я сам себя называл Барсуком без явного сопротивления. У Одетты были железные четки, отсылающие себя к той династии хозяев, к каким она страстно желала примкнуть. Так Esquire получает «баронессу», на фотографии – эти самые четки, вместо бусин на них шахматные фигуры со страшными лицами, у бронзового короля черная корона точно такая же, как на черепе того холма, который похож на великана. Все имеет невидимые связи друг с другом, но среди нас никогда не находились желающие хоть что-либо разгадать. И только одно было разгадано – в самый легкий год нашей жизни в башне, мне четырнадцать – почему Грешница выбрала тогда Зубрика. Когда это только случилось, мы знали, что она выберет его, и после этого до самой осени наша жизнь отклонилась от правил насколько только возможно. В самом конце лета он признался, что она ему снилась: завернутая в праздничную белую сорочку для душевнобольных, на ступенях мавзолея, окруженная пауками и неясной темнотой, она была невестой космоса в этой сорочке одновременно сумасшедшего и королевской крови, ее лицо подготовлено к свадьбе вырезанными мягкими тканями и залитыми мутным воском переливами дельты черепа, ее лицо стало маяком для зябкого космического жениха, и оно горит в темноте, перестав быть лицом и став свечей, отлитой с участием телесного жира и магических трав с восточного холма, – оно горит в темноте. Это похоже на правду, Одетта рассказывала нам о старых королях, лепивших свечи из своих лиц, чтобы власть сияла не только над живым, но и касалась мертвых. Бумажная Грешница могла быть одной из них, и, может быть, ее свет ласкал только грешников. Но мы никогда не обсуждали грех и его проводников, его пути и его употребление было не таким, как у распятых божеств, но монополия на это знание оставалась в руках Одетты до той поры, пока в ее пальцах – железные четки с шахматными фигурами.

Зимой Зубрик изнасиловал одну из оловянных девочек, не

совсем напрямую, но именно так все и было = осенью Грешница забрала его, мы даже не сомневались, он тоже не сомневался. В интервью Одетта рассказывает о тех, кто выносит из башни оловянные кольца на безымянных пальцах – отлитые рукой одного мастера с высокой целью обозначить братство; она рассказывает о кольцах, как о символе глубокой внутренней связи Одетты и ее воспитанниц. Это должно вызывать аплодисменты и умиленные слезы. Но Одетта не может рассказ всего до конца – общественное эмбарго не позволяет говорить о том, чем именно оловянные заслужили свое положение в башне. Никто из нас не расскажет, потому что не видит в этом смысла, признание – может приманить Бумажную Грешницу, а может и нет, но мы все равно ничего не скажем. Раскаяния нет. Многим из оловянных нравилось носить кольца на безымянном пальце, с восьми до двенадцати лет они служили во благо Одетты, а кольца оставались навсегда – по ним прошедшие через службу могли опознать свободных сестер. Общая дань, гекатомба под старой крепостью и единственный источник существования. Когда утро еще холодное, мы выходили к колодцу, чтобы ободрительно похлопать оловянных по плечу и отдать им наше утешение. Это просто вопрос воспитания и вежливости, Одетта рассказывает, что всем ее воспитанникам ответственность и самоотдача впаяны на генный уровень, и это тоже правда. Оловянные никогда не сопротивлялись и очень редко плакали, это не унижение, это зов физической боли. У старой крепости не существует никакого внешнего финансирование, существование фонда «Вечная жизнь» лежит на плечах Одетты и ее воспитанников, а так как они не занимаются фандрайзингом, им приходится заниматься чем-то еще, чтобы привлекать капиталы. Косметический ремонт старины, похороны отобранных Грешницей, ежедневное питание – все это требует или жертв или продуктивной работы. С восьми до двенадцати лет оловянные девочки выставлены на аукцион и продают свою незаконную молодость, капиталы инвесторов стекаются со всех стран. Одетта встречает гонцов у кованых железных ворот и объясняет правила – никаких увечий: это вынужденная служба во благо, а не вертеп. Она запрещает реализацию каких-либо прочих желаний, кроме желания отвратительной юности, дорогостоящей юности и горькой оловянной печали.

Если долго рассматривать крепостную стену, может начаться мигрень, запах старости впивается в мозг. Частью кирпичной кладки является и история Бумажной Грешницы, и тогда грех – это действие, направленное против стен. Все, что угодно, но башня авгуров должна стоять. Бумажные звери с резными-

оригами именами и бумажные соучастники, мы никогда не подглядывали за ночными трудами оловянных. Никогда не перечили, никогда не представляли, не касались этого. Просто вопрос воспитания, Одетта, перебирая железные четки, рассказывает нам, как можно, а как нельзя. Нас оставляли для башни, она находила нас сама, она получала нас, так или иначе мы оказывались здесь, а потом вбирали старый донжон, старый колодец, крепостную стену, западный холм и холм-череп. Многие из фильмов Одетты посвящены снафф-съемке, как известно, придуманной журналистами, вещи максимально далекой от декораций старого замка, но ведь и сам замок сегодня являются какой-то пародией на старины, самой недостоверной ее частью. Она любит города, вырастающие из деревьев, но ее капиталы – из городов, победивших свои сады; когда-то восковые короли пришли из таких городов, а затем стали воском и не смогли принести с собой настоящий город; там, где он – никогда ничего интересного, в поисках интересного жители городов приходят за оловянным сестринством сюда, где законы все еще не запрещают курение или убийство.

Зубрик сказал, мы должны это увидеть, и мы пошли, он любил картины завороженной любовью и отказывался воспринимать их пейзажем, думал поймать намеки на Грешницу в полотнах Одетты, его любопытство заходило все глубже, его время растрачивалось на узоры старой крепости, и поэтому он первый узнал, что в одной из комнат оборудовали лазарет для оловянной. Он позвал нас посмотреть на застывший янтарь, на тело, которое лежит в космическом одиночестве, и мы решили посмотреть, потому что никогда не видели содержимого гробов, в мавзолее все от нас было скрыто каменными и деревянными преградами, чужая смерть в относительной близости, но этого недостаточно. Мы обступили постель, сочувственно держались за ее ногу сквозь одеяло, Зубрик смотрел рассеянно и особенно. С ее пальца сняли оловянное кольцо, как бы уже попрощались, но она еще была здесь в полуприсутствии. Одетта не скрывала, что некоторые умирают от разрыва тканей, а точнее – от болевого шока чаще, чем собственно кровотечений. Но обычно ускользали без нашего взгляда и прощания. Зубрику было важно, чтобы мы попрощались с ней, а не так, как обычно, и мы прощались, жали ее ладонь и гладили по плечу. Потом он спросил, а не хотим ли мы, ведь она никогда не отказывалась и всегда отвечала согласием. Несмотря на то, что она стала молчанием, он может ручаться, что это не изнасилование Мы слишком хорошо знали, через что и ради чего в нее пришла боль, отчего ее молчание, и не хотели быть частью всего этого. Сливаться с ее разрывами и

болевым шоком. Грешница не могла забрать всех, но могла первого, последнего или – наиболее яростного из нас. Мы не то что стеснялись или искренне жалели оловянную, цена ее тела могла быть слишком неясной, не до конца названной. Так что только Зубрик решился и попросил нас выйти из комнаты. Одетта никогда не говорила с нами о сексе и его добровольности, отсутствие формальных согласий – не является грехом – но любая форма присутствия в капиталостроении башни буквально граничила со святотатством. Оловянные – были его гекатомбой и краеугольным камнем, прикосновение олова является особенным прикосновением, почти поцелуем яркого космического всесожжения, это так же, как посягательство на жен верховных политиков. В своем интервью она говорит, что олово – символ подсознательной печали, поэтому раньше невесты получали обручальные кольца из олова, и короны консортов – оловянные короны ненастоящей власти. Зубрик вернулся в нашу комнату потусторонне-потерянным, его рубашка и штаны измазаны кровью, он пытался стереть ее, но не вышло, и поэтому его руки тоже были в крови. Он сказал, что там провал, как в крепостной стене. И больше мы не обсуждали это, он стал очевидным выбором Бумажной Грешницы, кровь впитывается в бумагу без возможности что-то изменить, он даже стал в каком-то роде знатоком Грешницы, теперь все его предположения и гипотезы о ее природе привлекли наше внимание. Он рассказывал о символике воска и олова, о четках с железными шахматными фигурами и разрушенном донжоне – обо всех отпечатках знания прошлого, найденных в коллекции картин. Но потом его предсказуемо забрали, и тело в гробу отнесли в мавзолей, и по новой весне через пробоину мы выходили на склон, где одуванчики и спускались до первых деревьев, не дальше.

В своих правилах жизни Одетта Сван сказала, что никогда не повышает голос на своих подопечных, а их поведение не может спровоцировать ее гнев.

Вера Кузмицкая
Рыжий лес

Солнце медленно завалилось за разлапистую тучу, и во дворе сразу стало зябко и тихо. ветра не было. мокрые простыни, развешенные с утра бабой Лизой, безвольно повисли тяжелыми душными кулисами, в которых бестолково толкались толстые

коты. Где-то вдалеке прогремел армейский грузовик.

– Может, на озеро? – безнадежно предложил Валик.

– Холодно, – равнодушно сказал Пашка и трубно шмыгнул носом.

Снова замолчали. Валик достал из кармана старый телефон и принялся тискать кнопки. Пашка растянулся на бревне, подложив руки под выгоревшую голову. Я ковырял коричневую корочку на заживающем колене и бездумно возил глазами по дому.

У подъезда возились бедовые братья Кобейко из пятой комнаты. С самого конца весны они пытались сделать текилу: таскали из дома обрезки материнских суккулентов, мужественно жевали их и сплевывали кровяно-зеленой кашей в бочку с дождевой водой. Где-то они прочитали, что именно так получилась текила – якобы кому-то на диком западе однажды пришла в голову мысль попробовать забродившую воду из плевательниц. Баба Лиза регулярно вычерпывала воду из бочки и, брезгливо морщась, поливала ею цветочную клумбу (так что дегустация, к счастью, все время откладывалась), а мать регулярно задавала обоим трепку за изуродованные кактусы и рты, но братья не теряли надежды. Вот и сегодня они стояли возле бочки и медитативно месили пыльную, цветущую воду самодельным багром.

– Эй, малые, Нину сегодня еще не видели? – крикнул Пашка.

Братья повернулись к нему и, как по команде, пожали плечами. Пашка вздохнул, поднялся на ноги. Было всего два часа дня. До темноты оставалась целая вечность.

– Ну, до вечера, – неопределенно махнул нам рукой Пашка и побрел к дороге.

– Да, до вечера, – живо отозвался Валик.

Братья Кобейко на секунду перестали греметь багром и внимательно посмотрели на Пашку. Все ждали вечера.

Все ждали Нину.

Нина жила в большом доме в частном секторе прямо на границе с рыжим лесом. Ее отец был большим военным чиновником, мать когда-то преподавала немецкий в центральной гимназии. познакомились они сразу после Старой Войны, но Нину ждали долго – почти тридцать лет. Нина была поздней дочерью, родившейся под занавес отчаявшейся супружеской страсти и надежды завести еще одного ребенка; Нина была

младшей дочерью. У нее был старший брат, который пропал, когда ей было семь. Три раза в неделю она приезжала в город на частные уроки музыки: зимой водитель привозил ее и увозил домой, а летом она отпускала его и обратно шла пешком в сопровождении нашей не самой представительной свиты – но какая уж была.

Ее отец не сильно жаловал нашу компанию и гораздо охотней предпочел бы, чтобы и летом Нину домой забирал лобастый унылый водитель, но мать не была так категорична:

– Девочке нужны друзья, а эти еще не самый плохой вариант.

Я случайно услышал эту фразу, вернувшись за забытой на крыльце сумкой, и гордо передал ее остальным: быть не самым плохим вариантом для Нины – лучший вариант из возможных для нас, мальчишек из разреженных Старой Войной семей и добитого за послевоенные годы городка. Поэтому три раза в неделю по вечерам мы ждали Нину возле музыкальной школы, аккуратно принимали из ее рук кофр со скрипкой и шли за ней мимо озера, осторожно притормаживая всякий раз, когда она останавливалась, чтобы перевести дух: Нина очевидно, но деликатно хромала, изящно подтягивая иссохшую ногу в глухом черном ботинке. Тень авторитетного отца, умиротворенная замкнутость девочки, которую многие принимали за высокомерие, и хромота и вправду не добавляли ей популярности, но мы этого не замечали. Мы были без ума от Нины, от ее тихого мелодичного голоса, нежно-ядовитых шуток, от серых взрослых глаз. А главное – Нина нас пугала.

…Мы приходили в ее дом, садились за накрытый матерью стол – на веранде (если было тепло) или в пропахшей вишневым табаком столовой (в холодные времена, которые становились все длинней), вежливо говорили о книгах и школе, мучительно долго пили горячий сладкий чай, терпеливо обжигая языки, чтобы наконец услышать спокойный голос:

– Спасибо, мама, мы пойдем.

И мы выскакивали из-за стола, кубарем неслись в прихожую, путались в шнурках (если было тепло) или в куртках (в холодные времена), чтобы тут же скатиться с крыльца в сладкий вечерний сумрак.

И ждать, когда Нина начнет говорить.

Ее истории не были похожи на те хрестоматийные

страшилки, которые слышали мы раньше, скитаясь по больницам (в одной из них и познакомились с Ниной той ранней весной) и детским лагерям, отправленные туда своими ошалевшими от усталости, безденежья и одиночества матерями (почти у всех нас отцы не вернулись со Старой Войны, у всех, кроме Валика, – но с тех пор его отец так и лежал в постели, молча глядя в одну точку, и все, что он смог сделать за эти годы, – это проковырять ногтем дыру сквозь стену в соседскую комнату).

Наши прежние истории были безыскусными, наивными и бронебойными, как самогон: зеленые глаза, красные пластинки, девочка-не-подходи-к-телефону, кладбища и трамваи с черными шторками, детский довоенный фольклор. Мы рассказывали их для затравки – идиотскими голосами, подсвечивая лица фонариком, прыгая друг на друга и подпихивая локтями, завывая на кульминационном «отдай мое сердце!», грубо гогоча и постепенно затихая.

И Нина начинала говорить.

Ее истории были по-настоящему страшными – пугающими до холода в надкостнице. Она рассказывала их своим мягким спокойным голосом так обыденно и просто, что порой мне казалось, что если бы нас увидел иностранец, не знающий нашего языка, он бы наверняка решил, что девочка просто пересказывает отрывок из, скажем, учебника по биологии, и искренне не понял бы, почему у четырех мальчишек рядом с ней такие дикие, белые лица.

(Потому что все ее истории были правдой – по крайней мере, они так выглядели, и видит бог, мы бы никогда не стали проверять.)

В тот вечер она рассказала о статуе с тремя дерущимися мальчишками, нашими мраморными ровесниками, которая стояла на кольцевом развороте в тупике у закрытого въезда в рыжий лес. У одного из них был отколот нос, а второму Валик на шортах сзади старательно нацарапал слово «жопа», как будто без уточнений оставались бы какие-то сомнения. Раньше хотя бы раз в день мы проезжали мимо этой статуи на своих ржавых чешских велосипедах, но после того июньского вечера стали держаться от нее как можно дальше. Нина рассказала, что эту статую заказал генерал Мицкевич, бывший сослуживец ее отца, живший когда-то в доме на отшибе: мальчики – сыновья Мицкевича, которых убила

его жена, их собственная мать, потому что ей показалось, что это больше не ее дети, а чужие, которые сначала убили ее мальчиков, а теперь притворяются и хотят убить ее, поэтому она завела их в сарай и по очереди расстреляла из табельного пистолета мужа, а потом повесилась рядом сама. Мицкевич нашел их вечером, вышел из сарая совершенно седой, выбил право закопать их прямо тут, в городе, поставил безымянный памятник, спалил собственный дом и уехал навсегда.

– Вот тут они и похоронены: Петр, Павел, Максим, – голосом деловитой дачницы, показывающей гостям клумбу с гиацинтами, очень буднично сообщила Нина. – Вот тот, у которого нет носа, Паша. Кстати, Пашка, это же ты его отбил?

Пашка блестел влажным лбом в темноте и сосредоточенно смотрел в пляшущее пятно фонарика перед собой. Никто не смеялся – кто знает, в какой истории помянет тебя Нина в следующий раз.

Ее рассказам не было конца: потайная газовая камера Старой Войны под теплицей у пожилых Сесицких, трагическая тайна семи сыновей директора школы (мы знали только об одном его сыне, упыреватого вида дядьке с трясущимися руками, которого контузило за три дня до Старого Перемирия), истинная причина вдовства бабы Лизы (Нина говорила, она застала мужа в постели с собственной племянницей, племянницу спустила с лестницы, а мужу стала трижды в день подсыпать отраву в питье, от которой у него плавились внутренности и чернели конечности, пока однажды он просто не остался лежать в кровати горсткой бесцветного пепла, которую Лора случайно рассыпала по комнате, и теперь она каждый день моет, моет, моет полы и стены и стирает белье, на котором уже давно никто не спит, каждый день стирает, так-то).

Казалось, что о каждой семье, о каждом уголке нашего городка она знает свою, другую историю, узнав которую мы никогда не сможем смотреть на них по-прежнему. Истории эти обрастали именами, датами, деталями, которые бесповоротно делали их реальными и оттого ужасными – настолько, что даже дома, лежа в постели, мы прокручивали их в голове снова и снова, пытаясь успокоить колотящиеся сердца.

И никогда не задавались вопросом, откуда она все это знала: знала, и все тут.

Страшнее Нининых рассказов были только Нинины рассказы

про рыжий лес, на границе которого мы все время отчаянно балансировали во время наших прогулок. Рыжий лес был запретной территорией – во время Старой Войны там творилось черт знает что – какие-то испытания, людей ли, оружия, но перед самым Перемирием он стал ржаво-рыжим, ровно по своей границе: березы, ели, трава, даже вода в лесном ручье – все стало закатно-тусклым, как сквозь стеклышко от пивной бутылки. мы бы не сунулись туда под страхом смертной казни, да никто из города туда не совался – несмотря на то, что раз в полгода по дороге к тупику подъезжали грузовики, из которых выходили какие-то люди в защитных скафандрах, которые делали их похожими на гигантские батарейки, слушали писк в умных машинках и поправляли висящую на въезде табличку с надписью «Безопасная зона». В отличие от Нины, табличке было мало веры.

…В рассказах о лесе Нина отпускала поводья и пускалась во все тяжкие, порой превосходя саму себя: страшные стоны, которые доносятся из леса по ночам, странные следы, остающиеся иногда на песке ровно на его границе, тихо падающий из ниоткуда в июне снег, который видел ее брат, о чем рассказал на ужине, а потом исчез. После таких вечеров мы добирались домой на ватных ногах, малодушно держась за руки (хорошо, хорошо, только я и братья Кобейко держались за руки, а Пашка держал марку и скупо освещал нам дорогу фонариком), и долго лежали поверх застеленных кроватей, считая редкие мелькающие отблески фар на грязных потолках. Уснуть мы не боялись: наша новая реальность оказывалась страшней любых снов. Правда, Валик все-таки стал орать по ночам, а младший Кобейко однажды напрудил в штаны, когда к нему из белых простыней вышла баба Лиза с кружкой компота – мы узнали об этом, подслушав разговор расстроенных матерей, но ничего им не сказали: тогда престижная дружба с Ниной, которой они втайне были так довольны, была бы сведена ими же на нет.

Лето подходило к концу. Через центр потянулись караваны машин, набитых пожитками, – видимо, дачники возвращались в города. Вода в бочке так и не превратилась в текилу – уставшая от борьбы мама Кобейко отнесла уцелевшие кактусы на работу. Валика мать словила на попытке стащить отцовский нож и заперла его дома на все выходные. Нина пропустила уже три занятия музыкой: каждый день мы по привычке собирались у облезшего розового крыльца и ждали ее до самых сумерек, но она так и не появилась.

– Давайте к ней сходим? – на пятый день не выдержал выпущенный из-под стражи Валик.

Мы все посмотрели на Пашку. Он оторвал вихрастую голову от старого телефона Валика, в котором по экрану ползала неповоротливая змея из кубиков, и сказал:

– Да, пойдем. Что-то тут не то.

В первый раз мы шли к Нине так рано. Небо было туго обтянуто серыми низкими облаками, вдали что-то надсадно громыхало.

– Давайте скорее, пока дождь не начался, – заныл младший Кобейко, и мы припустили вперед. навстречу по дороге со стороны рыжего леса стремительно неслась длинная колонна грузовиков вроде тех, на которых приезжали люди в костюмах-батарейках. Мы отпрыгнули в сторону и стали считать грузовики.

– Двадцать пять. Это слишком много – одними губами сказал Пашка и повторил: – Что-то тут не то.

Мы прошли мимо озера. По нему шли мелкие круги, дробно взрывая гладь воды, словно изнутри. Дождя так и не было. Нам стало совсем не по себе.

– Пашка, если ты еще раз скажешь, что что-то тут не так, я тебя ударю, – доверительно сообщил старший Кобейко.

Пашка выразительно молчал.

Наконец мы дошли до Нининого дома. Свет не горел, калитка была открыта. Мы по очереди заглянули во все темные окна. Внутри был полный развал – казалось, что жильцы дома покидали его в спешке.

– Они уехали? – услышал я собственный жалобный голос.

– Нет, их съел генерал Мицкевич, – раздраженно сказал Пашка, – конечно, они уехали, вопрос куда и почему.

Снизу, со стороны леса раздался сдавленный вопль младшего Кобейко. Мы кинулись вниз по склону и едва успели затормозить: прямо на границе с лесом младший Кобейко стоял с безвольно открытым ртом и в ужасе смотрел на обломки ограды и стену деревьев перед собой. Абсолютно черных деревьев.

– Почему они теперь черные, почему они черные, почему они такие черные? – заскулил старший Кобейко. На него никто не смотрел.

За спиной снова громыхнуло – очень близко и отчетливо. Над головой низко пролетел грузный вертолет. С дороги вкрадчиво потянуло запахом паленой шерсти.

– Пошли, – скучным голосом сказал Валик.

Мы молча подошли к разломанной ограде и сделали шаг вперед; лес послушно проглотил нас.

Вера Кузмицкая
К дождю

Покойники обычно приходят на смену погоды, это все знали: Аркадий, Осин дед, приводил затяжные дожди, а за Тархановым обычно тянулся вязкий, изматывающий зной, в который только и можно было, что лежать за покосившейся беседкой и лениво гонять мух ворсистым лопухом. Байкины шумно вваливались всей семьей, однажды не вернувшейся с озера, и могли по пять дней кряду с грохотом гонять по небу чернильные клочья туч, кидаясь то в дождь, то в град, то в лютый ветер (впрочем, и при жизни они не отличались кротким нравом). А потом рыжая Рита приносила затишье, и воздух становился кротким, прозрачным, безмятежным, как когда-то Ритины глаза, и Осе казалось, что если долго всматриваться в это серое небо, то можно словить ее сонный взгляд; и он всматривался, и ловил – у Оси была кровать возле окна и много времени.

Очень, очень много времени.
Кроме тех двух часов в день, когда приходила Клара.

Клара строгим придушенным голосом отчитывала в чем-то Осину маму за дверью, затем входила в комнату, аккуратно вешала шляпку на крючок и, хрустя юбками, усаживалась на сварливо скрипящий стул у кровати, обволакивая Осю облаком пудровых духов.

– Ну, как жизнь молодая? – неизменно спрашивала Клара, будто не видела его еще вчера, такого же бледного и тщедушного, но от этого вопроса по Осиному лицу тонко разливались лужицы свекольного румянца, словно сообщая, что жизнь молодая потихоньку кипит. Не дождавшись другого ответа, Клара удовлетворенно хмыкала и открывала книгу (где мы тут остановились), и бодро рапортовала:

– Вектор есть направленный отрезок прямой, а именно: тот отрезок, для которого указано, какая из его граничных точек является началом, а какая – концом, Ося, не крутись, пиши.

И Ося не крутился (не мог), и писал, и снова заливался румянцем, теперь уже заходясь от кашля, и Клара терпеливо ждала конца приступа, чтоб как ни в чем не бывало продолжить (проекция вектора на ось, Ося, – это длина отрезка и т. д.), а потом решал примеры в ловко подсунутой под руку тетради, лихо

чиркал галками-суффиксами, спрягал, склонял, вычеркивал лишнее – Ося был смышленым парнем, небезнадежным, как говорил о себе он сам с кривой усмешкой, и оттого все было еще тяжелей. А ровно через два часа Клара, словно спохватившись, смешно всплескивала руками, говорила: «Так, что-то я засиделась», быстро шла к двери и хватала шляпку, стараясь проскочить мимо Осиной мамы, которая совала ей какие-то кулечки, конвертики, котомочки, вы ангел, вы наш ангел, Клара, говорила мама и насмерть хватала ее за тонкие смуглые пальцы. Клара легко выскальзывала из цепких благодарных рук и выбегала из дома, а Ося смотрел ей вслед через окно, сколько хватало сил стоять, приподнявшись на шатких локтях. Ося действительно был смышленым парнем и знал, зачем приходит Клара, – вернее, что это значит – и ничего обнадеживающего это не сулило, вопрос был лишь в том, когда, и никакие мамины конверты, кульки и кулебяки не могли этого изменить. Но каждый день Ося до боли в глазах вглядывался в поле, не находя себе места, и успокаивался, лишь рассмотрев черную точку Клариной фигуры, словно вырастающую из неверного горизонта за окном.

До Оси Клара приходила к Рите, Осиной сестре, лежавшей на соседней кровати (теперь заваленной хламом и книгами, которые когда-то были общими) – они рисовали, добиваясь безупречно-прозрачного серого неба, и добились-таки однажды. С Байкиными занималась музыкой – недолго, но они зачем-то очень просили, зажиточному подагрику Петру Тарханову давала танцы, а еще раньше Клара сидела за стенкой в комнате у деда Аркадия, беспощадно выбивая уже из него французские слова – laissez votre main, répétez après moi, votre main, пока наконец ночью, когда зарядил тугой, бесконечный дождь, Аркадий не сказал «Enfin, теперь она довольна» и не закрыл глаза, сам безмерно довольный собой. А теперь Ося рассматривал Ритины акварели, висевшие на кнопках вдоль щелястой стены, и думал, как это будет у него.

– У меня вообще как получается? – однажды спросил Ося, когда Клара читала его сочинение.

– Пока не очень, – жестко сказала Клара и отвернулась к окну, а у Оси по спине пробежал радостный – отчего-то – холодок.

Тем временем прошли душные майские грозы, закончился плаксивый теплый июнь, а за ним и все лето, воздух становился все холодней и прозрачней, пока однажды не стал совсем тонким и ясным, как протертые стекла Осиных очков, и так и застрял в голых ветвях уставшего ждать невесть чего леса. Соседи начали

недовольно перешептываться (что-то она у них и правда засиделась), старики задумчиво кряхтели, глядя на беззащитно блестящую лысину полей, обещавшую голодный год, мама перестала совать Кларе шуршащие свертки, а Ося все дольше стоял на окрепших локтях, высматривая в ранних сумерках Кларину шляпу, и уже почти не кашлял.

В последний раз Клара пришла позже на час, чего с ней не бывало никогда, – почти вечером; как ни в чем не бывало, прошла мимо тихой не поздоровавшейся матери, села у кровати, подмигнула Осе (как жизнь молодая?), и нарочито веселым голосом сказала:

– Сегодня мы будем просто слушать.

Она выудила из горы на Ритиной кровати книгу, раскрыла наугад и стала читать нараспев:

– Я жил недорослем, гоняя голубей и играя в чехарду с дворовыми мальчишками. Между тем минуло мне шестнадцать лет. Тут судьба моя переменилась…

Скоро света за окном перестало хватать, строчки густо поплыли одна на другую; сперва Ося бестолково мотал головой, затем неуклюже завалился подбородком на грудь и затих.

– Спи, спи, – ласково сказала Клара и обернулась к окну: за ним в густом закатном свете толпились резкие темные фигуры, словно вырезанные из бумаги, и стройно качались в такт едва слышному Осиному дыханию. – Спи, – задумчиво повторила Клара, – завтра снега не будет. Спи.

Клара стала между кроватью и окном и принялась ждать, хмуро всматриваясь в щель пыльных портьер, сложив на груди тонкие сильные руки, словно готовясь к драке.

Сап Са Дэ
Овы шкодны пяс

Иван Иванович танцевал пять дней. Иван Иванович пять дней танцевал от боли. В танце Ивана Ивановича не было ни музыки, ни красоты.

Танцевал Иван Иванович без остановки, немного подвывая.

Спать Иван Иванович не мог, спать было бы очень больно. Нужду справлял прямо так, танцуя. Есть первые три дня не мог. На четвертый в мучительном па дотянулся до зачерствевшего батона и нервно повел его, периодически откусывая.

Танцуя, Иван Иванович почти не мог думать. Перед глазами проплывали невнятные образы, какие-то геометрические фигуры складывались в синее сто восемьдесят три в квадрате дальней черноты гвоздь. Иногда становилось понятно, что желтое шесть, но потом наплывало оранжевое треугольник, переплетенное с фиолетовым длинное А и переходящим в ульфировое четырнадцать пик все.

На второй день начало звенеть в ушах, но, если прислушаться, можно было расслышать некоторые звуки, а на третий день звуки начали складываться в слова.

ААБУЭРО, ТААУНЭЙР, ПМЭЛЕНЭК

Постепенно хор окреп, но в то же время как-то упростился, явно скандируя:

МЭРЫФЕЖ, ДВАРРХУГ, НАГГАУР! МЭРЫФЕЖ, ДВАРРХУГ, НАГГАУР! МЭРЫФЕЖ, ДВАРРХУГ, НАГГАУР!

В какой-то момент из хора стали выделяться отдельные голоса: МЭРЫФЕЖ, ДВАРРХУГ, НАГГАУР! АННАРЕ. МЭРЫФЕЖ, ДВАРРХУГ, НАГГАУР! АННИГУРХ. МЭРЫФЕЖ, ДВАРРХУГ, НАГГАУР! АСТИТТО.

Иногда слова внезапно начинали рифмоваться с фиолетовым восемнадцать струна запада. Тогда слышалось понятное и объяснимое АФФАМАУРО Э АННАТАБОМИ, ПРЗДАН, СВУДРАН.

Иван Иванович не чувствовал усталости, ему не было скучно или тяжело. Иван Ивановичу было очень-очень больно. Настолько больно, что он не мог не танцевать, не видеть черно-желтое жажда восход, не слышать ТРУФЛО АХХУРЦ ТУАМУРОЛО.

К концу четвертого дня линии начали складываться в узоры, наполняться светом и совершенно пока абстрактной, но жизнью.

В какой-то момент Иван Иванович понял, что если внимательно всматриваться в эти узоры, то можно увидеть силуэты домов, деревьев, полей, животных, да и силуэты людей тоже можно увидеть. Но как-то невнятно и очень ненадолго. Стоило только сконцентрироваться, силуэт растворялся.

К началу пятого дня Иван Иванович понял, что, если не смотреть прямо, а попытаться поймать силуэты боковым зрением, то они постепенно крепнут, становятся объемными и даже живыми. Иван Иванович уже видел мирно пасущуюся корову, шипящего индюка и даже небольшую стаю бездомных псов на фоне белых деревенских домов.

К сожалению Ивана Ивановича, стоило ему только отвлечься,

как животные и дома, как правило, исчезали и найти их снова уже не получалось. Вместо них Иван Иванович видел уже другой деревенский пейзаж и другую корову с игривым теленком и бестолковой дворняжкой, пытающейся поймать телячий хвост.

Звук тоже менялся, в нем вместо варварской речевки и невнятного бормотания на неизвестном языке постепенно проявлялся уже шум ветра, дальний пастуший рожок, собачий лай и мычание.

Корова исчезла, но теленок и дворняжка остались. Они играли на огромном лугу, вдали виднелась деревня, солнце давно перевалило вершину небесного свода и неторопливо клонилось к закату. Пес первым почуял незнакомца и с лаем бросился к Ивану Ивановичу.

Пес остановился от Ивана Ивановича в нескольких шагах. Лаял игриво и дружелюбно, почти без агрессии.

Но на помощь уже спешил шустрый дед, то ли пастух, то ли просто случайно оказавшийся неподалеку деревенский житель:

– Покойнейше, Влачек, покойнейше, подь ку мне! Не си пристрашить добар човек!

– Спасибо Вам, мил человек, но он меня совсем не напугал.

– Тай шкодны пяс, незнамо шта в главе. Добар дан, а кто си? Как се зовеш?

– Иван. А вы?

– Яков сам, помочь чем?

– Мне бы воды попить.

– А, то добре, воды маемо много.

На этом Яков достал из сумки фляжку и протянул Ивану Ивановичу.

Иван Иванович пил долго и жадно.

– До Каменца йдешь?

– Нет, я даже названия такого не знаю.

– Здалека еси?

– Очень издалека, Яков, очень, даже сам не знаю, насколько издалека.

– А до нас пре чо? Але не знашь?

– Да я вообще не знаю, куда я и зачем.

– Вельми зле взерашь, Йоан, хворый?

– Я не знаю, Яков, по мне так я уже много раз умереть должен, а все вот живой. Кажется.

– Ни, та хвороба не е вельми смертельна. У минулом роци ауто здавило овы шкодны пяс. Пяс танцовал пят дни, та потом спал тиждень.

– Вот и мне бы недельку поспать.

– Тай и найдемо де. Ту е тихо, – и Яков показал на невесть

откуда взявшуюся кучу соломы. – Хочешь воды трохи вяч?

– Да, конечно, спасибо, добрый человек, – отвечал Иван Иванович, а голова его уже проваливалась куда-то туда. И было ему хорошо.

Макс Фрай
Я или ночь

Анна-Алена, Анна-Алена, куда тебя понесло?

Я сижу на груде кирпичей, и руки у меня светятся.

На самом деле ничего страшного. Со мной иногда бывает. Это надо просто переждать. Пересидеть в чужом дворе, где какая-

то добрая душа оставила кирпичи под навесом – почти сухие, условно чистые, как будто специально для меня. Когда так сильно кружится голова, впору и просто на землю сесть, по сравнению с таким вариантом кирпичи – великое благо.

И вот я на этом благе сижу.

У меня кружится голова и светятся руки. И то и другое скорее приятно, чем нет, однако с головой такая проблема, что хрен устоишь на ногах; с руками проще, только желательно, чтобы их никто не увидел. Это не так уж сложно устроить. Перчатки мне невыносимы, в них я чувствую себя почти слепым, зато у всех моих свитеров очень длинные рукава, а летом я ношу штаны с просторными карманами.

Впрочем, если даже кто-то что-то заметит, решит – показалось. И тут же выбросит из головы. В этом смысле с людьми очень легко иметь дело. Во всех остальных… ну, когда как.

Неважно.

Важно, что вот прямо сейчас я постепенно, словно бы приходя в себя после короткого тяжкого дневного сна, начинаю понимать, что происходит. Ну или вспоминать; ай, как ни назови этот процесс возвращения к собственному смыслу, правду все равно не скажешь. Потому что правда этого восхитительного момента – по ту сторону слов, в отчаянном и восторженном вдохе всем телом сразу, когда бесконечный пасмурный мир входит в тебя и говорит: «Привет, я и есть твоя жизнь». И ум сперва потрясенно умолкает, словно бы навек, но буквально миг спустя наконец-то становится ясным. Таким, как надо.

Вот и отлично. Самое время ему проясниться, потому что начинается – на самом деле уже началось – мое очередное дежурство. Немного не вовремя; с другой стороны, а когда оно бывает вовремя? Никто никогда ни к чему не готов. Возможно, растерянность – это и есть готовность – в том виде, в каком она доступна здесь большинству из нас.

– Анна-Алена!

Женщина в сером пальто выходит из подворотни и растерянно оглядывается по сторонам. Вроде бы только что сюда зашла, сфотографировала красиво облезшую штукатурку и сразу же вышла обратно. Но улица выглядит как-то иначе. Получается, я все-таки вышла куда-то не туда? Но как?!

– Анна-Алена! – настойчиво кричит кто-то вдалеке, в соседнем дворе или даже на соседней улице, поди разбери. В этом городе странная акустика, как, впрочем, во всех старых городах.

Надо же, – думает женщина в сером пальто.

Она сама Анна – по паспорту. Имя выбрал отец, маме оно почему-то не нравилось, и она придумала «Алену», такое почти тайное домашнее имя, только для них двоих. А в школе ее, конечно, звали Аней. И в институте, и на работе – везде. Но для лучшей подружки Люси была Аленой, как для мамы. И еще для Марика. И для его сестры Кати, которая быстро стала роднее самой родной. В общем, для близких – Алена. А для чужих – Анна. Имя-щит, в каком-то смысле очень удобно.

И вдруг кто-то здесь в незнакомом городе кричит: «Анна-Алена». Смешное совпадение. Как будто зовут всю меня целиком, – думает она.

Господи, как же мне сейчас хорошо.

Я сижу в незнакомом дворе, на груде кирпичей, руки мои сияют, как два бледных северных солнца, прятать их в рукава больше не обязательно, все равно теперь до окончания дежурства меня никто не заметит. А кто все-таки заметит, того светящимися руками особо не удивишь.

С одной стороны, времени терять мне сейчас не следует. Воздух уже начал синеть, эта жидкая предсумеречная синева почти незаметна глазу, зато явственно ощутима кожей; впрочем, и так известно, что дежурство всегда начинается в сумерках и заканчивается с приходом ночи или наступлением дня. И за это время надо довольно много успеть.

С другой стороны, спешить тоже нельзя, если я встану и пойду прежде, чем закончится сладкое головокружение, оно так и останется со мной до самого конца; это чертовски приятно, но мешает сосредоточиться, все равно что хирургу выйти на работу слегка подшофе. Крайне безответственное поведение.

Лучше еще немного подождать.

Пока все равно сижу, можно выбрать сегодняшнюю линию – в кои-то веки вдумчиво, не спеша.

Женщина в сером пальто снова заходит во двор, откуда только что вышла. Убедившись, что других ворот там нет, возвращается обратно.

Получается, по этой улице я и шла, – растерянно думает она. – Но, по-моему, она выглядела как-то иначе. Дома были повыше… или нет? О господи. Все-таки великое дело – врожденный топографический кретинизм. И куда подевались прохожие? Их же было полно. Почему здесь никого нет?

И даже Анну-Алену больше никто не зовет. Какая тоска.

Теоретически мне известно, что линий бесконечно много, но

я вижу только ближайшие. Точнее, те из ближайших ко мне, что нуждаются в выправлении. Вот прямо сейчас – четыре. Иногда бывает еще меньше, изредка больше. Мой рекорд – четырнадцать, и, честно говоря, не хотелось бы его повторять, потому что внутренний ритм даже одной искаженной линии мира почти невыносим для человеческого сознания, а уж когда их безмолвные вопли сливаются в хор – не дружный, о нет, напротив, абсолютно разлаженный, невыразимо противоречивый – ну, тогда только держись. Сходить с ума на дежурстве не запрещено, но все-таки очень нежелательно. Практика показывает, что безумец редко проходит свой маршрут до конца, тогда вся работа насмарку. Ну и жизнь между дежурствами тоже никто не отменял, а безумцы к ней обычно совершенно не приспособлены.

Я и так-то едва справляюсь.

В общем, чем меньше линий видишь одновременно, тем проще. Тем более, что пройти за дежурство все равно можно только одну. Хочешь не хочешь, а приходится выбирать.

Большинство моих коллег, насколько я знаю, выбирают интуитивно, повинуясь, как говорится, велению сердца. Но мне так нельзя. Повинуясь велению сердца, я всегда, раз за разом буду выбирать серебряную линию, ее красота совершенно меня завораживает, но это, к сожалению, вовсе не означает, что я сумею ее пройти. Пока ни разу не удавалось. А тех, кому удавалось, по пальцам можно пересчитать. Мне до них пока далеко.

Ладно, все, хватит, нет так нет. Серебряная линия мне не по зубам, пусть звенит и горчит без меня. Остаются алая, темно-зеленая и двойная невидимая, внешняя суть которой не цвет, а звук. С невидимой ясно – она не в моей компетенции, без цвета я пока идти не могу. С алой тоже ясно, в ее ритме много беспокойства, но совсем нет боли, значит, можно оставить как есть. Получается, темно-зеленая, без вариантов. Оно и неплохо, с темно-зеленой мы вполне совпадаем по темпераменту, поэтому проходить ее мне обычно скорее приятно, чем мучительно. Даже когда там все из рук вон плохо, это понятное мне «плохо», трудное, но вполне поправимое. Выправить темно-зеленую линию мира – все равно, что утешить себя, а в этом искусстве я давно преуспел, иначе как смог бы жить в промежутках между дежурствами, без связи с собственным смыслом, неприкаянной белой дырой, самой к себе близко подойти не способной.

Встаю, успеваю сделать первый внутренний шаг и даже целых два внешних, а потом обнаруживаю, что на самом деле держусь за серебряную линию, господи боже мой, все-таки за серебряную,

как это я так ловко сам себя обманул?

Вопрос, впрочем, риторический. Ясно же, что на самом деле линии выбирают нас, и если уж я встал, опираясь на серебряную линию, значит, так было надо, без вариантов, мне ли этого не знать.

Ладно, мое дело теперь – не рассуждать, а идти. И как бы потом ни сложилось, эти самые первые шаги по серебряной линии – счастье. Ни с чем не сравнимое, звонкое, горькое, как она сама.

Какая тоска, – думает женщина в сером пальто.

Она уже добрую четверть часа бродит по этой пустынной улице, заглядывает во все дворы в надежде встретить хоть кого-нибудь и спросить дорогу. Но во дворах никого нет – ни старушек, гуляющих с внуками, ни хозяек, развешивающих белье, ни школьников с собаками, ни рабочих, ни пьянчужек, примостившихся с пивом у сараев, ни даже самодовольных дворовых котов.

Это так необъяснимо и глупо, что даже не страшно. Да и чего бояться среди бела дня в самом центре большого красивого города, столицы европейского государства, – утешает себя она. – Просто зашла в такой необитаемый квартал, бывает. Чего только не бывает, ох.

Но господи, какая же здесь тоска. Как будто сердце вынули, подменили, вставили вместо него ледяной кусок бесполезного чужого мяса, не способного даже сжаться от страха, не говоря уже обо всех остальных чувствах – кроме вот этой одуряющей, почти убаюкивающей тоски.

– Анна-Алена, – укоризненно говорит незнакомый мужской голос где-то совсем поблизости, чуть ли не над самым ее ухом. – Анна-Алена, бедняга, девочка моя, куда же тебя понесло.

Женщина в сером пальто оглядывается – неужели это мне говорят? Но рядом, конечно, никого нет. И не только рядом. Вообще нигде.

(Невнятное, но необходимое пояснение: алая линия – линия встреч и разлук, темно-зеленая – это линия прикосновения к тайне, невидимая, по которой мне не пройти, – линия неосознанных, но долговечных преображений; кроме них есть линии пугающих совпадений, деятельного созидания, смеха, благотворных потерь, нечаянных превращений, путаницы, забвения, защиты, страха, ненужных обретений, беспричинной нежности и изматывающей борьбы, линии сохранения зла и умножения смысла, лжи, внезапных порывов, необходимой самозащиты, ясности, исцеления и распада, обретенного

равновесия, бессмысленной скорби, памяти, роста, точных подсчетов, убывания, боли, временного затмения, снов наяву, внезапной вражды, ликования, постепенного узнавания, сопротивления смерти, ремонта старых событий, замедления времени, выхода за пределы, насыщения, успешных начинаний – господи, да каких только нет, пока не увидишь их цвет, не услышишь их ритм, не узнаешь, какое великолепие стоит за моими беспомощными попытками их описать. А возлюбленная моя серебряная – линия вечной границы, рассекающей пополам всякий город и каждое сердце – между сбывшимся и мучительно невозможным, привычным и невыносимым, видимым и неизъяснимым, между всем и всем остальным.)

Пусть что-нибудь произойдет, – думает женщина в сером пальто. – Можно плохое, можно даже совсем ужасное, пусть хоть маньяк с топором из подворотни выскочит, или собака бешеная, или стена рухнет мне на голову, лишь бы случилось уже что-нибудь вот прямо сейчас!

Но стены, конечно, не рушатся, и маньяки с бешеными псами смирно сидят по домам. И даже неведомый голос, звавший Анну-Алену, теперь молчит.

– Анна-Алена, – говорит она вслух, сама, вместо него. – Анна-Алена, дурище ты безголовое, куда тебя занесло?

Удивительное дело, но когда говоришь вслух, тоска отступает.

– Анна-Алена, Анна-Алена! – повторяет женщина в сером пальто. – Анна-Алена – это у нас я, коза безмозглая, топографическая кретинка, бедная зайка, глупое чучело – громко говорит она.

Из подворотни выходит черный кот с белым пятном на груди, неспешно пересекает пустую проезжую часть и скрывается в соседнем дворе.

– Ну хоть одна живая душа, – говорит женщина в сером пальто, глядя ему вслед.

…Если достаточно долго идти, держась за линию мира, сперва начинаешь дышать в ее ритме, потом окрашиваешься в ее цвет, а потом наконец явственно, всем телом ощущаешь, что именно пошло не так. И видишь, как это можно исправить. И, рассмеявшись от облегчения, ускоряешь шаг.

Ну, то есть на самом деле бывает по-разному, но вот прямо сейчас я смеюсь и иду все быстрей, уже практически бегу навстречу Анне-Алене, женщине с двумя именами, каким-то непостижимым образом ухитрившейся вывалиться из

пространства, которое принято условно называть «реальностью», но не в одно из тождественных ему, как это обычно случается, а застряла где-то посередине, можно сказать, запуталась в нитках, соединяющих швы – и что теперь, скажите на милость, с ней делать?

Вопрос риторический, конечно. Что-что – выправлять серебряную линию. То есть идти по ней, как я сейчас иду, легко и стремительно, приплясывая от радости и азарта, размахивая светящимися руками, звать ее разными голосами – авось докричусь. Делать все это – огромное удовольствие; впрочем, получать удовольствие от процесса – моя основная обязанность, главное условие успешного ремонта.

Второе условие – дойти до конца линии прежде, чем наступит ночь. Иначе вся работа отменится раз и навсегда, как будто я даже не начинал ее делать. Как будто не было у меня сегодня никакого дежурства. Как будто эту чертову серебряную линию никто не выправлял.

Для меня это не возымеет никаких неприятных последствий. Я даже угрызениями совести не буду мучиться, потому что, во-первых, честно делаю, что могу, а во-вторых, просто забуду об этой неудачной попытке, как только закончится мое дежурство. Я всегда забываю – все или почти, до следующего раза. Все наши забывают. Говорят, некоторым опытным дежурным удается одолеть забвение, хотя бы отчасти, но лично я с такими счастливцами не знаком.

Впрочем, сейчас важно не это. А ответ на вопрос, существует ли Анна-Алена. Все зависит от того, кто из нас придет к цели раньше – я или ночь.

Если я успею добраться до окончания серебряной линии до наступления ночи, у Анны-Алены будет только одна проблема: сочинить более-менее успокоительное объяснение сегодняшнего странного происшествия. А если я опоздаю, окажется, что такой женщины не было. То есть она вообще не рождалась – нигде, ни у кого, никогда. Даже во сне никто ее не видел. И в воображении не рисовал. Таковы свойства границы между взаимоисключающими равноправными реальностями города – она до такой степени невозможна, что делает абсолютно невозможным существование всякого, кто там оказался.

Но прямо сейчас, пока я иду, а ночь еще не настала, Анна-Алена, женщина с двумя именами, бесспорно есть. Уже неплохо.

Чтобы отвлечься от мрачных мыслей о возможной неудаче, мы с серебряной линией начинаем звенеть. Громко, еще громче. Наперебой. Кто кого перезвенит.

Серебряная линия любит такие штуки – пока мы вместе,

будем играть и веселиться, а там – ай, да гори все огнем, будь что будет! И я тоже люблю такие штуки, потому что вот прямо сейчас я – тоже серебряная линия мира. Неудивительно, что мы одинаково смотрим на вещи, если я – это она.

Сперва подумала, что колокольный звон ей примерещился, очень уж тихий, но вскоре к далекому колоколу присоединился второй, потом третий, минуты не прошло.

Анна-Алена! – насмешливо пели колокола. – Анна-Аленна! Аннннннна-Аленнннннннна!

Дразнятся, – изумленно подумала женщина. – Надо же, колокола дразнятся! Как будто знают, что я заблудилась, как дура, испугалась неведомо чего, с собой начала разговаривать, такой крик подняла, конечно, им смешно!

Ладно, пусть. Зато теперь понятно, в какую сторону отсюда идти. Где колокола – там Старый Город. Самый центр. И какие-нибудь люди там найдутся. И такси. И даже утешительный маньяк с топором, если поискать как следует.

Развернулась и пошла.

Сумерки меж тем синеют и сгущаются; лучше бы мне, конечно, этого не замечать, потому что предчувствие поражения замедляет мой шаг и затрудняет дыхание. На самом деле предчувствие поражения – это и есть поражение, просто заплутавшее во времени, проявившееся прежде, чем осуществилось, но такое то и дело случается – не только с поражением, а вообще со всеми событиями. Ладно, с некоторыми из них.

К счастью, серебряной линии плевать на мои предчувствия. Она вошла во вкус и упоенно звенит за двоих.

И я упоенно звеню за двоих, потому что я – это она. Я – линия мира, которая не захотела быть кривой и наскоро выдумала себе игру: как будто у меня есть помощник, такой специальный волшебный человек, способный пройтись по городу веселой целительной походкой, размахивая руками, подпрыгивая, смеясь и звеня. Смешная идея, совершенно в моем духе: вместо того, чтобы выправиться самостоятельно, придумать себе помощника, который очень старается, делает что может, переживает, что не справится, но все равно идет вперед, потому что твердо решил опередить ночь – такой молодец, но конечно удивительный дурак, если до сих пор не понял: я и есть серебряная линия мира, прямая и звонкая, вся, целиком, от начала и до конца.

Анна-Аленнна! Аннна-Аленнннна! – наперебой звенят

колокола.

Женщина в сером пальто сидит на лавке в сквере на какой-то странной треугольной площади и ревет в три ручья. Что со мной было? – спрашивает себя она. – Куда я попала? Чего испугалась? Почему сразу оттуда не ушла? Откуда столько дурости в одной маленькой голове?

К звону колоколов присоединяется телефон в ее кармане. Женщина достает его, смотрит на экран, улыбается сквозь слезы, нажимает зеленую кнопку.

– Да, Марчик, – говорит она. – Ой, правда? Сколько раз звонил? Прости, не услышала. Да, сделаю звонок погромче. Да, обязательно. Да-да-да, конечно, у меня все хорошо.

Я сижу на лавке, и руки у меня светятся. То есть тьфу ты, конечно, нет, показалось, просто так интересно отражается от кожи тусклый свет притаившегося у меня за спиной фонаря.

Оглядевшись, и постепенно, словно бы приходя в себя после короткого тяжкого дневного сна, понимаю, что сижу в сквере на площади Дауканто… Так, стоп. Дауканто?! Нет, вы это серьезно?

Зачем я сюда приперся – отдельный интересный вопрос. Никаких дел поблизости у меня сегодня вроде бы нет, да и живу я совсем в другой стороне.

Ладно, зачем – дело десятое. Более актуальный вопрос: как? Елки, совершенно не помню. Вроде бы, вышел из книжной лавки на Пилимо и отправился в сторону вокзала, а потом… Что было потом?

Чтобы собраться с мыслями, достаю сигарету, вдыхаю горький дым, закрываю глаза, говорю себе: слушай, хватит придуриваться, все ты прекрасно помнишь, просто почему-то вбил себе в голову, будто воспоминания о дежурствах на линиях мира могут свести с ума, но по-моему, вот эти дурацкие провалы – был там, оказался здесь – сводят с ума гораздо эффективней. Причем в какую-то мрачную и унылую сторону, я туда точно не хочу.

Я берусь за серебряную линию, как за дружескую руку, – эй, помоги подняться, у меня совершенно нет сил. И тут же – не просто встаю с лавки, а натурально взлетаю. Но при этом остаюсь на земле.

Дежурство мое на сегодня закончено, но иногда за линии мира можно держаться просто так, для собственного удовольствия. По крайней мере, серебряная точно не против. Ей нравится вместе гулять.

– Анна-Алена, Анна-Алена, добро пожаловать домой!

Знакомый уже голос снова звучит почти над самым ухом, но рядом никого нет, только высокий мужчина быстрым шагом удаляется куда-то в сторону Университета, полы его распахнутой черной куртки развеваются на осеннем ветру, как нелепые пиратские паруса.

Впрочем, он, конечно же, ни при чем.

Макс Фрай
Голова и лира плыли по Гебру

Kyrie

– Ars subtilior, – говорит Родриго, – в переводе с латыни «тонкое», «изысканное» искусство – это направление западноевропейской музыки, существовавшее примерно до двадцатых годов пятнадцатого века. Историки традиционно рассматривают его как переходный период от средневековой музыки к ренессансной.

И умолкает, пока Рената переводит его речь с английского на литовский.

Лекция, даже такая простенькая – самая тяжелая часть выступления. Родриго – не любитель говорить. И языки ему никогда не давались. Тот же английский – столько лет учил, а все еще чувствует себя неуверенно, когда приходится говорить длинными предложениями. А по-литовски, хоть и прожил здесь несколько лет, до сих пор знает всего несколько вежливых фраз: «добрый день», «большое спасибо», «хорошего вечера», «пожалуйста, счет» и все в таком роде. Этого, впрочем, достаточно. Когда тебе не о чем говорить с людьми, учить языки – напрасная трата времени. А лекции перед выступлениями неплохо бы целиком переложить на Ренату. Рассказывать ей, похоже, нравится даже больше, чем петь. Удивительно, но бывает и так.

Надеюсь, она останется с нами надолго, – думает Родриго.

Вообще-то обычно вокалисты в его ансамбле не задерживаются. Их можно понять.

С нами трудно, – думает Родриго. – Мало кто такое выдержит.

Он не то чтобы чересчур самокритичен, просто честен с собой. И очень хорошо знает, как обстоят дела.

– Многоголосные сочинения Ars subtilior, – говорит Родриго, – отличаются исключительной изысканностью нотации, ритма и гармонии и нередко рассматриваются как феномен музыкального маньеризма.

Едва дождавшись, пока умолкнет переводчица, он с нескрываемым облегчением добавляет:

– А теперь слушайте музыку.

Родриго вынимает из футляра продольную флейту, но прежде, чем поднести ее к губам, смотрит на Роджера – как он? В порядке?

Вроде в порядке. Хоть и выглядит сегодня как черт знает что. Вместо концертного костюма джинсы, серая сорочка и дурацкий

пижонский куцый пиджак, шея замотана дешевой хлопковой шалью, отросшие волосы связаны на затылке узлом. Но все это делает его похожим не на проходимца, случайно затесавшегося в ансамбль, а на специально приглашенную звезду, высокомерно отказавшуюся соблюдать общие правила. Таков уж Роджер, ему все сходит с рук. Заявись он сюда, завернувшись в банную простыню, и публика будет недоумевать, почему все остальные музыканты одеты, как пугала, вместо того, чтобы взять пример с коллеги и явить взорам образец благородной простоты.

Впрочем, неважно. Главное, Роджер – здесь. И органетто при нем. Не забыл на том берегу Стикса, не пропил в одной из бесчисленных забегаловок, которые, можно не сомневаться, круглосуточно открыты теперь и в раю, и в аду, специально для его, Роджера, удовольствия, чтобы не заскучал.

Удивительное дело, – думает Родриго, – и рай и ад всегда казались мне глупой сказкой, из тех, какими лишенные воображения няньки пугают своих великовозрастных питомцев, однако в существование открытых там специально для Роджера кабаков я верую всем сердцем, истово, без тени сомнения. Поразительно все-таки устроен человеческий ум.

Господи, помилуй его и всех нас, – думает Родриго. Он всегда так думает перед началом выступления. Родриго совсем не уверен, что Бог действительно есть. Но без Него было бы слишком страшно даже браться за флейту, не то что играть. Никакое сердце не выдержит.

Поэтому – так.

O Felix templum jubila

Я открываю глаза и сразу снова зажмуриваюсь, потому что слева от меня за окном бешено пылает предзакатное солнце, а справа неумолимо сияют лампы так называемого дневного света. Никогда не видел ничего страшнее их тусклого бледного излучения; понятия не имею, почему оно так пугает меня, зато совершенно точно знаю, что если небытие все-таки существует и в один прекрасный день выйдет поохотиться на бродяжьи души вроде моей, оно станет ловить нас как рыб на блесну, сияющую вот так же, как эти проклятые лампы, белым, тусклым, жутким, прельстительным, обманчиво ясным светом.

Впрочем, хватит. Нет никакого небытия, я сам тому свидетель, готов подтвердить под присягой. Зато существует бесконечное число способов быть; я перепробовал достаточно, чтобы определиться с предпочтениями, и, положа руку на сердце, если бы пришлось выбирать только один, навсегда, оставил бы себе вот эту возможность сидеть слева от Родриго, который сейчас, как нарочно, чтобы меня подразнить, подчеркнуто медленно расчехляет свою драгоценную флейту, слишком долго подносит ее к губам, в последний момент, словно бы передумав играть, убирает, переворачивает страницы партитуры, тянет паузу, но вот, наконец, поднимает руку, посылая прощальный привет человеческому миру, не покинув который, не превратишься в звук, и мы следуем за ним, мы начинаем.

Какое счастье.

Надо же, опять у него новые вокалисты, – думает Айдж.

Он уже не раз слушал эту программу и заранее знает, что по-настоящему его захватит позже, где-то ближе к середине наступит перелом, после которого в голове не останется мыслей, а в теле – никаких ощущений, кроме льющегося снизу вверх, устремленного к небу звука. Никаких специальных усилий для этого предпринимать не надо, музыка сама выбирает момент, когда ворваться в твою крепость, главное – присутствовать. Быть рядом. Там, где ее хорошо слышно. Например, сидеть в концертном зале, во втором ряду – если уж в первом мест не досталось.

Они с Леной пришли на концерт почти за полчаса до начала – когда в билетах не указаны места, а ты любишь сидеть как можно ближе к сцене, имеет смысл явиться заранее. Но на лавке в первом ряду уже лежало чье-то пальто, поэтому им пришлось сесть во втором. Ничего, все равно близко. Совсем близко. Так хорошо.

Владелец пальто, кстати, так и не объявился. Передняя лавка по-прежнему пуста. И это совсем отлично, никто не заслоняет от нас музыкантов. А на них имеет смысл посмотреть.

Такие красивые женщины сегодня поют, – думает Айдж. – Сопрано – вообще слов нет. Королева. Высокая, статная, золотоволосая, исполненная снисходительного спокойствия, которое под стать скорее стихии, чем человеку. Зимнее море, еще не замерзшее, но уже загустевшее от холода может быть таким спокойным. И падающий в него снег. И снежная туча – тяжелая, темная, сияющая, такая огромная, что кажется, будто она и есть само небо.

А вот эта черненькая, которая переводила лекцию, с виду настоящая лесная ведьма. Встретишь такую в майскую ночь на тропе и считай, пропал, никогда уже не вернешься домой, никогда об этом не пожалеешь. Я бы, пожалуй, не пожалел; впрочем, полно, когда я в последний раз бродил по ночному лесу? То-то и оно, что вообще никогда.

Темноволосая ведьма-переводчица – меццо-сопрано. Второе меццо-сопрано – маленькая блондинка, из тех, что почти всю жизнь выглядят шестнадцатилетними, а потом, в самом конце, внезапно превращаются в таких удивительных старушек, о которых сразу думаешь, что они – заколдованные школьницы, и невольно начинаешь прикидывать, как же теперь их спасать, хотя спасать, конечно, никого не надо, все и так хорошо.

У маленькой блондинки удивительный голос, почти контр-тенор, так что впору счесть ее переодетым мальчиком, но зачем бы такой маскарад? Да нет же, девочка, точно девочка. И – внезапно ему становится очевидно – у нее же роман с басом! Или даже не роман, а давний счастливый брак? По крайней мере, нежности между ними явно больше, чем страсти; впрочем, возможно, это просто темперамент такой. Разные люди бывают.

Какой же молодец Родриго, что взял к себе эту парочку, – думает Айдж. – Я бы на его месте их тоже взял – не за голоса даже, хотя у обоих прекрасные голоса – а за эту ясную нежность, которая вплетается в музыку, как дополнительный инструмент. Раньше так не было.

Хотя раньше тоже было очень хорошо, мне ли не помнить. А то зачем бы гонялся за ними по всей Европе, стараясь попасть хотя бы на три-четыре концерта в год. Лучше – больше.

Ut Te Per Omnes Celitus

Все хороши, но господи боже, какой же невероятный мужик руководит этим ансамблем, – думает Лена, любуясь смуглым флейтистом. Маньяк, фанатик, стоик, аскет и мученик, многократно изгонявшийся из ада за избыток страданий, у чертей просто нервы не выдерживали, и их можно понять. Настоящий художник, недостижимый идеал. Эти запавшие, обведенные темными кругами, пылающие, как угли, ликующие глаза, этот скорбный тонкогубый рот, эта яростная устремленность – не то чтобы в неведомое, скорей в невозможное. И черт побери, откуда взялась тень, закрывающая левую половину его лица, когда слева от него окно, а за окном такое яркое солнце, что смотреть невозможно – откуда? Законы природы, физики, оптики, что вы на это скажете, эй?

…И девочка с маленькой арфой, – думает Лена. – Девочка, опоясанная арфой, как герои старинных баллад, так внимательно, строго и ласково смотрит на него из-за тонкой решетки струн, словно она – ангел-хранитель, приставленный к этому горемыке со строжайшей служебной инструкцией: все оставить как есть, не трогать, не вмешиваться, пока у него не разорвется сердце, тогда аккуратно зашить без наркоза, отойти в сторону и продолжать наблюдение. Тяжелая у нее работа, я бы так не смогла. Но я и не ангел.

Gloria

Ты есть, – ликует Родриго, – ты снова есть, и как же ты сегодня играешь! Ты многому успел научиться, пока тебя не было. Или, наоборот, это просто меня не было рядом с тобой? Не знаю, как на самом деле обстоят наши дела, кто из нас жив, а кто мертв, но это совершенно неважно. То есть важно – было прежде и будет потом, когда я снова навсегда останусь один в тишине, но сейчас-то, сейчас, пока мы рядом, пока мы играем, какая нам разница, да?

Un fior gentil

Отправил девчонок занимать места, а сам решил немного посмотреть замок, если уж в кои-то веки до него доехали, ну и заблудился – не всерьез, конечно, быстро сообразил, где тот дворик с лестницами, ведущими в зал, вернулся, но перед тем, как подниматься, покурил, пока Кристина не видит, поэтому изрядно опоздал. Вошел, когда все уже началось, сразу увидел в первом ряду пустую лавку, сел, отодвинув в сторону чье-то чужое пальто, утер с лица пот, всегда обильно выступающий даже от небольших физических нагрузок, отдышался, и только потом понял, как влип.

Кристина говорила: «Концерт, концерт в Тракайском замке, поедем на концерт!» – и Кястас почему-то думал, что на концерте будут петь эстрадные песни, ну или народные, тоже вполне можно послушать. А тут какое-то невыносимое заунывное пиликанье, и девки в длинных платьях поют что-то грустное, как в церкви. Даже хуже, чем в церкви – как будто помер уже, и черти сейчас поволокут меня в ад, а ангелы пришли вежливо попрощаться прежде, чем отступиться от моей грешной души навсегда.

Крисенька, зараза, куда ж ты меня заманила, – добродушно подумал он. Интересно, а сама-то где? Может, хватило ума сбежать с этой панихиды? Тогда чего я сижу?

Оглянулся и сразу увидел Криську и Машку – далеко, в заднем ряду. Помахал им рукой – дескать, идите сюда, девчонки, пересаживайтесь ко мне, места есть, – и заранее задвинул неведомо чье пальто в самый дальний угол, но Кристина сделала такое специальное постное лицо, означающее «веди себя прилично», и приложила палец к губам. Она стеснительная, ни за что не пересядет, чтобы не мешать другим людям, музыкантам и слушателям, и Машку не пустит бегать по залу. И если я вот прямо сейчас встану и выйду, будет потом ныть весь вечер, что нельзя же так, нехорошо, некультурно бегать туда-сюда во время концерта старинной музыки, или как там еще называется эта заунывная поебень. Ладно, ладно, Крисенька, буду сидеть смирно. Только ради тебя.

Любил ее очень. И Машку. Часто спрашивал себя: за что мне такое счастье? Ответа не знал, но старался беречь их как мог.

Venetia, mundi splendor

Когда я играю, я ничего не вижу, только слышу, даже руки и глаза сидящего рядом Родриго я именно слышу, когда сам становишься звуком, весь мир – тоже звук. И я – весь мир. И Родриго. И наша девочка с арфой, кем бы на самом деле она ни была, и наши певцы, все четыре ее голоса, аккуратно помещенные в человеческие тела, пригодные для такой работы; ай, неважно. Сейчас они снова – просто голоса. И правда – именно это, а не все остальное, о чем мы думаем в перерывах между концертами, а мы, конечно, о чем только ни думаем – слаб человек.

Родриго думает: пока я играю, я жив. Для него это главное. Поэтому я никогда не стану говорить ему, что дело вовсе не в этом. А в том, что когда мы играем, вообще не имеет значения, кто жив, а кто мертв. Действительно не имеет, не на словах, а на деле. Есть разные звуки, они сливаются воедино, их сумма превыше всего. А мы – ну что мы? Какое нам дело до нас.

Пока звучит музыка, мы оба не имеем никакого значения, и в этом смысле мы в одной лодке, снова на равных, а значит, все получилось, спасибо, дружище. Надеюсь, я успею сказать тебе это еще раз – словами, после концерта. Я помню, для тебя очень важно, чтобы я успел.

Albane, Misse Celitus

Все бы ничего, но какой же он здоровенный, – с досадой думает Лена, поневоле вынужденная рассматривать потную красную шею мужчины, который мало того что вломился в зал чуть ли не в середине концерта, так еще и уселся в самый первый ряд, прямо перед ними, и тут же принялся пыхтеть, утираться, крутиться, высматривая кого-то в зале, размахивать руками – все то, чего опоздавшим ни в коем случае делать не следует, – сразу. Разве что не высморкался и не пукнул. Уже молодец. Хотя все равно придурок.

Все бы ничего, – растерянно думает Лена, продолжая разглядывать придурка из первого ряда, заслонившего от нее практически весь мир, – но какой же у него трогательный профиль. Совершенно мальчишеский острый нос, выпуклые голубые глаза и растерянно оттопыренная нижняя губа. Захочешь, а не рассердишься на такого. Ладно, черт с ним, пусть сидит. Если немного сдвинуться влево, будет видно музыкантов. А вокалистов… эх, ну и ладно. Лица – не главное, главное – голоса.

– Настоящий средневековый персонаж, – говорит ей Айдж, воспользовавшись паузой между композициями, шумом аплодисментов и тем обстоятельством, что в этом зале вряд ли кто-нибудь еще понимает по-норвежски. – Простой, как деревянный бочонок. И такой же пустой. И, вероятно, очень полезный в хозяйстве. Строго говоря, эта музыка когда-то создавалась именно для таких бочонков, как он. Чтобы заполнить пустоту и хоть немного приблизить их к небесам. А что еще с ними делать?

Лена кивает, смуглый руководитель ансамбля поднимает руку, призывая к вниманию публику и музыкантов, толстяк из первого ряда нетерпеливо вертится, жестикулирует, пытаясь привлечь внимание жены и все-таки убедить ее сесть рядом с ним, Айдж смотрит на его простодушное лицо, исполненное любви, и удивленно думает: господи, да на самом-то деле, какое там приблизить. Некуда уже приближать. Этот простак, похоже, и без того весь, целиком на небесах.

O Rosa Bella

Сейчас, – думает Родриго, – вот прямо сейчас я попробую отдать тебе свою жизнь. Ты ее никогда не берешь, но это не означает, что я не должен стараться отдать. Я должен. Так – честно. Иначе – нельзя.

De toutes flours

На самом деле это, конечно, невозможно.

Невозможно взять чужую жизнь, даже когда тебе добровольно ее отдают. Настойчиво, я бы сказал, насильно всучивают: эй, хватит упрямиться, забирай! Все равно невозможно. Захочешь, а не возьмешь.

Но я никогда не пытался образумить Родриго. Хотя, наверное, смог бы. Достаточно было бы просто сказать ему правду. Признаться, что в тот момент, когда он в очередной раз собирает свою жизнь в один-единственный звук и выдыхает его из флейты, впервые за все время концерта развернувшись ко мне лицом, я не чувствую ничего, кроме боли в тех местах давным-давно несуществующего тела, куда когда-то вонзился его нож.

Хорошо, что тогда обошлось всего шестью ударами. Боль, умноженную на шесть, вполне можно вынести, не переставая играть. А значит, жаловаться мне не на что.

Я никогда не скажу Родриго, чтобы он прекратил бессмысленные попытки, потому что мне-то, положим, от этого только ненужная, надоевшая мука, но для дела очень хорошо, чтобы он продолжал отдавать свою жизнь. Для нашего общего дела. Для музыки – хорошо.

А значит, пусть продолжает.

O Padua, sidus praeclarum

Ты плачешь, Айдж, – думает Лена. – Боже мой, ты умеешь плакать. Что за удивительная новость, какая странная правда о тебе, любовь моя, ты плачешь – здесь, сейчас, у меня на глазах. Какой ты, оказывается… хороший? Дурацкое определение, но похоже, так и есть.

Я плачу, – мог бы сказать ей Айдж, – потому что меня сейчас нет, а тому, кого нет, можно все, в том числе, плакать. Но я рад, что сумел тебя удивить. И что тебе это нравится. И вообще очень рад.

Но он ничего не говорит, потому что нет никакого Айджа. Не беда, он скоро вернется. И, наверное, как-нибудь все объяснит.

Сам толком не понял, почему убежал. Просто не смог больше там оставаться. Дело не в том, что скучно, всякую скуку можно перетерпеть, лишь бы Кристинка потом не ругалась. И честно терпел до тех пор, пока пиликанье, гудение и невыносимые голоса не заполнили его целиком, как будто вдохнул их вместе с воздухом, да так и не смог выдохнуть, и теперь там, внутри, вместо больного, но все еще годного сердца, печени, селезенки, кишок, съеденного на обед жаркого и пирога, вместо привычных мыслей о припаркованной на секретной бесплатной стоянке возле церкви машине, предстоящей обратной дороге, честно заслуженном вечернем пиве, которое, кстати, надо будет купить в супермаркете возле дома и заодно клубнику для Машки, она ее любит до дрожи, даже такую, как продают поздней осенью, безвкусную, парниковую – вместо этих и всех остальных простых и понятных слагаемых, из которых до сих пор состоял, теперь только ласковый шелковый скрежет и ангельский визг, который почему-то считается музыкой, а на самом деле – просто хитроумный старинный способ свести человека с ума.

Мчался вниз по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки, как в детстве, а оказавшись в крепостном дворе, где музыки уже не слышно, не перешел на шаг, так и бежал до самого озера, старый дурак, тебе же врачи даже быстро ходить запретили; ай, ладно, главное – добежал.

Потом сидел на траве, не чувствуя сырости, удивлялся, что совсем нет одышки, привычно вытирал шарфом лицо, совершенно сухое, ни капли пота, ай да я, молодец, есть еще порох в пороховницах, главное – не бояться, а то, понимаешь, привык над собой трястись, оттого и болезни, иных причин для них нет.

Кристина, конечно, его догнала. Села рядом, обняла. Сказала:

– Машка осталась в зале. Сейчас они допоют, пойду ее заберу.

Буркнул, не решаясь посмотреть ей в глаза:

– Извини, Крисенька. Просто там душно. Решил, лучше уйти на воздух, чем у всех на глазах в обморок падать.

И поспешно добавил:

– Но теперь все уже хорошо. Смотри, я даже не потный. И ничего не болит.

Una Panthera

Окончания концерта Лена почти не помнила. Вот только что она сидела, умиленно разглядывая плачущего Айджа, провожала сочувственным взглядом толстяка, сбежавшего подобру-поздорову от ужасов высокого средневекового искусства, а потом… Что было потом? Яркий свет предзакатного солнца, и это, кажется, все. От него веки стали прозрачными, как ни зажмуривайся, все равно продолжаешь видеть свет, льющийся отовсюду, и огненные тени – не то музыкантов, не то просто звуков, сплетающихся в объятиях, и одна из теней в этом хороводе совершенно точно была моя, – думала Лена. – Получается, я теперь тоже только звук, торжествующий, неугасимый, вечно длящийся в тишине, вопреки ей, вместо нее.

Наверное, это уже навсегда. Хорошо, если так.

– Ну ничего себе! – сказала Лена, когда они вышли на улицу и направились к мосту. – Ради этого действительно стоило лететь черт знает куда на все выходные. Понимаю и полностью одобряю. В следующий раз обязательно зови меня с собой. Исполнителей старинной музыки много, но чтобы такое творить… Слушай, а где ты их вообще откопал? В смысле откуда узнал?..

– Совершенно случайно, – откликнулся Айдж. – Несколько лет назад они выступали в Осло, в зале возле книжного магазина, где я работал, а у меня тогда были трудные времена, хватался за любую возможность отвлечься. Увидел афишу, пошел и, как ты понимаешь, пропал.

– Я теперь тоже пропала, – улыбнулась Лена. А про себя подумала: «Надо же, у тебя – и вдруг были трудные времена. Вот уж не догадалась бы».

– Я тогда сильно болел, – сказал Айдж. – Неоперабельная опухоль мозга, куча таблеток, чтобы просто облегчить боль, и уникальная возможность заранее спланировать собственные похороны и даже разослать приглашения. Однако потом внезапно прошло. Само рассосалось, никто толком не понял, как. Врачи неприязненно поджимали губы, им очень не нравится ошибаться, но, к счастью, выращивать в моей голове новую опухоль во имя торжества медицинской науки все-таки не стали, оставили, как есть. И отпустили жить.

– После этих музыкантов прошло? – прямо спросила Лена. И, не дожидаясь ответа, поспешно добавила: – Понимаю. Любому разумному человеку ясно, что музыканты совершенно ни при чем, но все-таки хронологически – сразу после их концерта. Ладно,

принято. Я их сегодня послушала. И, знаешь, совершенно не сомневаюсь, что это чудесное случайное совпадение стоит того, чтобы ловить их по всей Европе. Я бы и без всяких совпадений за ними ездила. И буду ездить. Я теперь – суровый, непримиримый фанат. И собираюсь срочно связать себе фанатский шарф с надписью «Родриго». А если будешь так ехидно ухмыляться, свяжу и тебе. И силой заставлю носить. Твой единственный шанс на спасение – обнять меня немедленно. И отвести куда-нибудь, где нам нальют выпить. Благо я сегодня в кои-то веки не за рулем.

Doctorum Principem

Только не исчезай прямо сейчас, – думает Родриго. – Пожалуйста, постарайся не исчезать.

Не то чтобы от моих усилий действительно что-то зависело. Он в общем и сам это понимает, поэтому никогда не произносит свою просьбу вслух.

Я беру с лавки пальто и говорю:

– Спасибо. Пойдем покурим.

Родриго не курит, но у него в кармане всегда есть хороший табак – для меня. И фляга с вонючим дешевым джином, я люблю именно такой. Всегда успеваю сделать пару глотков и почти почувствовать его вкус, а большего мне и не надо.

– Ты охеренно играл сегодня, – говорю я, получив в свое распоряжение флягу и сигарету. – Даже круче, чем раньше, хотя тогда, я помню, казалось – куда еще.

– Время есть время, – откликается Родриго. – А опыт есть опыт. Я не настолько туп, чтобы они совсем не пошли мне на пользу, только и всего.

Мы сегодня такие храбрые, что не просто вышли из концертного зала на свежий воздух, но даже удалились от него на приличное расстояние. Родриго считает, что вблизи от помещения, где только что звучала наша музыка, мне легче не исчезать; возможно, он прав, но ради счастья немного посидеть на берегу озера вполне можно рискнуть.

И, выходит, не зря рискнули. Озеро – вот оно. И я пока никуда не делся. Родриго очень доволен.

– Если и дальше так пойдет, однажды я смогу угостить тебя кофе после концерта, – говорит он.

– Было бы здорово, – улыбаюсь я.

На самом деле я вовсе не уверен, что так уж хочу кофе. Никогда его не пробовал. Впрочем, какая разница, ясно же, что речь не столько о напитке, сколько о прогулке. Долгой-долгой совместной прогулке до кофейни, где его подают. А потом, возможно, обратно. Я бы совсем не прочь.

– Такое счастье, что ты приходишь со мной играть, – говорит Родриго. – Но мне все равно мало. Я жадный, ты знаешь. Я хочу всю твою жизнь. Не себе, конечно. Просто чтобы она была у тебя. Догадываюсь, что тебе уже не очень-то и надо. Больше неинтересно. Но все равно хочу. Я… Ну, кроме всего, я просто скучаю.

– Да я тоже, – честно говорю я. – Очень тяжело раз за разом

оставлять тебя здесь. Хочется увести. Но я – не ты. Не такой упертый, чтобы силой тащить за собой. Может быть, зря, но каждый из нас таков, каков есть. Поэтому все останется по-прежнему. Это лучше, чем ничего.

– Девятнадцать минут! – поглядев на часы, торжествующе восклицает Родриго. – Уже целых девятнадцать минут, как закончилось выступление, а ты еще здесь. В прошлый раз было семнадцать. А всего несколько лет назад, я хорошо это помню, ты даже порог концертного зала переступить не успевал. Все-таки у меня получается!

Или у меня, – думаю я. Но вслух, конечно, не говорю. Когда в точности не знаешь, кто тут на самом деле жив, а кто мертв, и кто из вас за кем пришел, лучше помалкивать. И улыбаться, потому что вне зависимости от ответов на эти вопросы, я сейчас определенно счастлив. Хоть и устал, как собака. Ну а как иначе. Все-таки концерт только что отыграли. И как отыграли. Я нами горжусь.

Ладно, – думаю я. – Пока ты уверен, что жив, ты жив, пока ты делаешь дело, ты делаешь дело. Пока ты помнишь, что смерти нет, ее нет. Тем более, что ее действительно нет, мне ли об этом не знать.